

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

*На правах рукописи*

Титов Виктор Валериевич

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии

ДИССЕРТАЦИЯ  
на соискание учёной степени  
доктора политических наук

Научный консультант

Зорин Владимир Юрьевич,  
доктор политических наук, профессор

Москва – 2022

## Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Национально-государственная идентичность: теоретико-методологические основания исследования.....	36
1.1 Особенности формирования дискурса идентичности в социогуманитарном знании .....	36
1.2 Нация и национализм в предметном поле социально-политических наук .....	61
1.3 Национально-государственная идентичность: проблема интерпретации в политической науке .....	81
Глава 2 Концептуальная модель и дизайн исследования национально-государственной идентичности.....	111
2.1 Методологические рамки и модель изучения национально-государственной идентичности.....	112
2.2 Алгоритм исследования национально-государственной идентичности в структуре политического сознания .....	126
2.3 Специфика изучения государственной политики идентичности .....	139
Глава 3 Российская национально-государственная идентичность на рубеже XX-XXI столетий: факторы политической трансформации.....	161
3.1 Роль глобализации в трансформации российской национально-государственной идентичности.....	162
3.2 Религиозный фактор в трансформации российской национально-государственной идентичности: особенности и пределы влияния.....	188
3.3 Место этнорегионального фактора в трансформации российской национально-государственной идентичности.....	207
Глава 4 Формирование и эволюция национально-государственной идентичности в политическом сознании россиян.....	233
4.1 Кризис российской национально-государственной идентичности	

в 1991-2000 гг. ....	234
4.2 Эволюция российской национально-государственной идентичности в 2001 - 2013 гг.: между реставрацией и модернизацией.....	256
4.3 Российская национально-государственная идентичность в 2014-2021 гг.: от «крымского консенсуса» к контурам «новой нормальности».....	287
Глава 5 Политика идентичности в Российской Федерации: стратегические направления реализации и совершенствования.....	329
5.1 Политика памяти как системообразующий компонент формирования российской национально-государственной идентичности.....	330
5.2 Образ будущего в России: механизмы государственно- политического конструирования.....	362
5.3 Государственная политика идентичности в России: потенциал оптимизации.....	382
Заключение.....	407
Список литературы.....	414
Приложение А Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России. Гайд интервью.....	465
Приложение Б Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы. Экспертный опрос.....	467

## Введение

**Актуальность темы исследования.** Проблема национально-государственной идентичности в России, её формирования и эволюции, занимает существенное место в современных социогуманитарных исследованиях в целом и в отечественной политической науке – в частности. Интерес к российской идентичности как масштабной и многомерной области научного поиска обусловлен широким спектром следующих взаимосвязанных обстоятельств.

*Во-первых*, радикальные внутривнутриполитические преобразования, происходившие в постсоветской России конца XX – начала XXI веков, являлись всеобъемлющим вызовом для российского общества, его социокультурных императивов и психологического состояния. Глубокий и длительный кризис национально-государственной идентичности в 1990 – начале 2000-х годов, последствия которого не преодолены и сегодня, наложил серьезный отпечаток на институциональное оформление и динамику политической системы Российской Федерации. Этот факт подтверждает необходимость всестороннего научно-политического исследования факторов, специфики и траектории кристаллизации российской национально-государственной идентичности в 1991-2021 гг.

*Во-вторых*, характеризуя политические реалии современной России, следует признать, что стратегическая задача формирования полноценной, устойчивой модели российской национально-государственной идентичности гражданского типа не решена и по сей день. Причем, речь идёт и о состоянии массового сознания – установках и паттернах самоидентификации российских граждан, и о государственной политике идентичности, её концептуальных ориентирах и функциональных основаниях.

Более того, кризисные тенденции развития политической системы Российской Федерации, отчетливо обозначившиеся на рубеже 2010-2020-х годов, олицетворяют собой новые факторы риска для её

идентификационного пространства: пока еще аморфной композиции смыслов, ценностей и символов, на основании которых вырабатываются установки национально-государственной самоидентификации российского общества, его различных этнических, культурных, идейно-политических сегментов. Указанные процессы, безусловно, обостряют значимость проблематики российской национально-государственной идентичности и в политико-управленческом её измерении, и в научно-исследовательском ракурсе.

*В-третьих*, трудности и противоречивые тенденции формирования национально-государственной идентичности гражданского типа, имевшие место в постсоветский период, во многом обусловлены многосоставным характером российского общества. Как известно, современная Россия представляет собой не только полиэтничный и конфессионально неоднородный социум, но и, что не менее важно, характеризуется сложным политико-психологическим ландшафтом, в котором тесно взаимосвязаны и коэволюционируют множество региональных и локальных политических, социокультурных и экономических укладов. Указанная неоднородность, с одной стороны, подчеркивает сложность такой задачи, как формирование общероссийской национально-государственной идентичности, а с другой – актуальность глубокого политологического осмысления рассматриваемой проблемы.

*В-четвертых*, необходимо выделить тот факт, что неустойчивая глобальная политическая динамика начала третьего тысячелетия, радикальная цифровая трансформация социальности во всех её проекциях и формирование контуров «общества риска» (в котором доминирующее положение начинают занимать сюжеты и смыслы виртуальной социально-политической реальности, а также симулятивные идентификационные конструкты) являют собой комплексный – информационно-психологический, социокультурный и технологический – вызов, адресованный и российскому обществу, его политическому «мы». В основании этого вызова лежит зримая

перспектива поэтапного разрушения основополагающих элементов российской идентификационной «матрицы» – образов «нас» и «других» – или их вытеснения на периферию массового сознания.

*В-пятых*, отдельно необходимо отметить, что осмысление российской национально-государственной идентичности как сложного и вариативного макрополитического феномена имеет особую важность с политико-теоретической точки зрения. Для мировой политической науки это связано, прежде всего, с необходимостью дальнейшей концептуализации и проработки понятия «национально-государственная идентичность», главным образом, на основе синтеза методологического потенциала политико-психологического и конструктивистского подходов, в контексте перехода от редуцированных и преимущественно константных аналитических схем к многомерному структурно-динамическому пониманию данного явления. Для отечественной политической науки детализация рассматриваемой проблемы сопряжена с необходимостью более четкой диагностики и глубокого анализа генетически комплексной и внутренне противоречивой специфики пролонгированного постсоветского транзита – политических трансформаций конца XX – начала XXI столетий.

Таким образом, *проблема*, на решение которой направлено диссертационное исследование, состоит в следующем: эволюция политической системы современной России сопровождалась таким общепризнанным в научной среде явлением, как кризис национально-государственной идентичности. Мнение о кризисном характере её развития стало в 2000-2010-е годы определяющим и консенсусным в политологическом сообществе. Однако сегодня, в условиях частичного преодоления этого кризиса, в отечественной политической науке не сформировалось четкого понимания содержательных характеристик и направления трансформации российской национально-государственной идентичности, а также потенциала совершенствования государственной политики идентичности. Поэтому критически важным является научное

осмысление специфики и траектории трансформации российской национально-государственной идентичности как макрополитического феномена. Указанная проблема может быть структурирована в виде *следующих взаимосвязанных вопросов*:

– Что представляет собой национально-государственная идентичность как макрополитическое явление? Какова её структура и особенности репрезентации в массовом политическом сознании?

– Какова траектория трансформации российской национально-государственной идентичности на различных этапах развития политической системы России?

– В чем состоит специфика государственной политики идентичности в современной России? Как эта политика видоизменялась в 1991-2021 гг., и в чем заключается потенциал её модернизации?

Отмеченная лакуарность рассматриваемого проблемного поля рельефно высвечивает необходимость дальнейшего изучения особенностей трансформации российской национально-государственной идентичности (понимаемой не как статическое состояние, а как широкий комплекс взаимосвязанных компонентов массового сознания: образов, установок, символов) на различных этапах её эволюции.

**Степень разработанности темы исследования.** Рассматриваемая тематика в целом характеризуется существенной степенью научной разработанности. Предметом развернутого анализа со стороны российских и зарубежных ученых явились как теоретические аспекты проблемного поля идентичности (включая её макрополитические формы), так и широкий круг вопросов, связанных с осмыслением феномена российской национально-государственной идентичности в её исторической, геополитической и культурно-психологической проекциях.

Совокупность исследований, связанных с проблемным полем национально-государственной идентичности, может быть структурирована путем выделения пяти магистральных направлений.

*Первое направление* – широкий спектр фундаментальных работ в области идентичности, посвященных осмыслению её многогранной психологической и социально-политической природы. В рамках указанного направления можно выделить такие основополагающие группы исследований, как:

– теории личностной (Э. Фромм, Г. Маркузе, Э. Эриксон, Дж. Марсиа и др.) и социальной самоидентификации (Г. Теджфел, Дж. Тернер, Р. Браун, М. Хогг, Б. Саймон и др.);

– конструктивистские теории «Я-» и «Мы-идентичности» (П. Бергер, Т. Лукман, Я. Ассман и др.);

– постструктуралистские, постмодернистские и дискурсивные теории личностной и коллективной самоидентификации (Э. Гидденс, П. Бурдьё, Ж. Бодрийяр, З. Бауман, М. Кастельс, Ф. Бекхофер, Д. Маккрон и др.).

*Второе направление* – совокупность классических и современных зарубежных исследований в сфере национализма и национальной (национально-государственной) идентичности. Представляется, что в рамках данного направления также можно выделить три наиболее значимые группы трудов. Первая группа – концептуальные схемы, основанные на идеях исторического и социально-психологического конструктивизма (Б. Андерсон, Э. Геллнер, К. Калхун, Л. Гринфельд, В.А. Тишков и др.). Вторая – это инструменталистские и дискурсивные трактовки этничности, нации и национализма (Д. Белл, Ф. Купер, Р. Брубейкер, Р. Водак, С. Прайк и др.) Третья группа работ содержит в себе разнообразные концепции «больших» политических идентичностей как синтезных культурно-исторических конструкторов (Э. Смит, С. Хантингтон, И.С. Семенов, О.Ю. Малинова, В.И. Пантин и др.)

*Третье направление* – труды, в которых предпринята попытка концептуализации и комплексного осмысления российской национально-государственной идентичности, различных её вариаций и моделей, как сложного социокультурного и политико-психологического явления.



В данном ракурсе следует, прежде всего, упомянуть таких авторов, как И.С. Семененко, Т.В. Евгеньева, В.А. Тишков, Л.М. Дробижева, В.С. Комаровский, С.П. Перегудов, Э.Ш. Хаметов и др. К указанному кругу исследований тесно примыкают работы, посвященные поиску цивилизационных, геополитических, макроисторических и религиозных оснований российской идентичности (М.М. Федорова, З.А. Жаде, А.Л. Янов, В.Л. Цымбурский, А.С. Ахиезер и др.).

*Четвертое направление* – объемный пласт исследований, направленных на выявление основных содержательных особенностей и вектора трансформации как российской идентичности в целом, так и отдельных её структурных компонентов: символического профиля, образов «нас», «других», пространства, массовых представлений россиян о прошлом и будущем страны. В данном ракурсе наибольший интерес представляют две группы работ.

Первая группа – это политико-социологические исследования, посвященные содержанию и эволюции установок самоидентификации российских граждан (М.К. Горшков, Л.М. Дробижева, Е.Н. Данилова и др.) Вторая группа – публикации, в которых проводится подробный анализ ключевых социально-политических образов, кристаллизовавшихся и циркулирующих в российском массовом сознании (Е.Б. Шестопал, Н.В. Смулькина, И.И. Глебова, Т.Н. Пищева, С.В. Нестерова, Е.С. Крестинина, Ю.Г. Волков, А.Л. Андреев и др.).

*Пятое направление* – труды, в фокусе внимания которых находится *проблема структуризации политики идентичности*, поиска оптимальных инструментов и механизмов её выработки и реализации (И.С. Семененко, О.В. Попова, В. А. Ачкасов, В.Ш. Сургуладзе и др.). В рамках этого направления можно также выделить две основные группы исследований, имеющие особую актуальность в ракурсе данной работы:

– исследования, в которых прорабатываются концептуально-теоретические вопросы *политики памяти*, или исторической политики

(П. Нора, Э. Нольте, Ю. Шеррер, Дж. Олик, Дж. Роббинс, А. Ассман, А.И. Миллер, О.Ю. Малинова и др.);

– труды, делающие акцент на изучение специфики эволюции мемориальных практик в современной России (Г.А. Бордюгов, А.Ю. Бубнов, В.В. Бушуев, В.Н. Ефремова, С.И. Белов и др.).

Помимо пяти магистральных направлений, обозначенных выше и составляющих ядро научного дискурса национально-государственной идентичности, представляется важным отметить ряд смежных кластеров научных исследований, таких как:

1) психоаналитические, социально- и политико-психологические исследования, направленные на концептуально-теоретическое осмысление феномена массовых представлений, политических образов и символов (работы К. Юнга, Т. Адорно, С. Московичи, Д. Жоделе, Ж.-К. Абрика, А.Ф. Лосева, А.Н. Леонтьева, Е.Б. Шестопад, Т.П. Емельяновой, И.И. Глебовой, Л.А. Паутовой, И.В. Самаркиной, Г.В. Пушкарёвой, Н.М. Ракитянского, Т.Н. Пищевой и др.);

2) широкий спектр научных изысканий, в центре которых находится проблема социальных изменений и политической трансформации в её институциональном и социокультурном преломлениях (А. Лейпхарт, П. Штомпка, Х. Линц, А. Степан, А.И. Соловьев, О.В. Гаман-Голутвина, Я.А. Пляйс, Е.В. Бродовская, Л.Г. Бызов, В.Я. Гельман и др.);

3) современные концепции политической коммуникации, глобализации и цифровой трансформации социально-политического пространства (Э. Валлерстайн, У. Бек, А. Бард, Я. Зодерквист, У. Артс, Л. Хэлман, Г. Ариэли, Л. Хадди, М.Г. Делягин, С.Н. Федорченко, В.В. Кафтан, Л.В. Рязанова и др.);

4) исследования центр-периферийных отношений и региональной идентичности в России (М.П. Крылов, В.Д. Нечаев, В.Ю. Зорин, М.В. Назукина, Е.Ю. Мелешкина, Р.В. Пеньковцев, Н.А. Шибанова и др.), а также влияние религиозного фактора на самосознание россиян

(М.П. Мчедлов, А.В. Митрофанова, М.М. Мчедлова, Т.С. Пронина, С.В. Рыжова и др.).

5) работы, в которых анализируются проблема формирования идентичности в контексте политической социализации, теории установок, ценностей и политических поколений (Г. Олпорт, Ф. Знанецки, М. Рокич, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, М.К. Горшков, А.В. Селезнева, Т.Н. Самсонова, А.Л. Зверев и др.).

В то же время необходимо подчеркнуть, что в проблемно-теоретическом поле национально-государственной идентичности существует целый ряд лакун. Прежде всего, речь идёт о необходимости выработки синтезного определения, на основе которого можно осуществить структурную и факторную операционализацию данного явления. Также существенного внимания заслуживают вопросы, связанные с осмыслением траектории трансформации российской национально-государственной идентичности в постсоветский период в её взаимосвязи с содержанием и стратегическими приоритетами государственной политики идентичности.

**Цель исследования** состоит в выявлении специфики основных факторов, тенденций и траектории трансформации российской национально-государственной идентичности в условиях формирования институциональных и культурно-психологических оснований политической системы постсоветской России, а также нарастающей турбулентности глобальных политических процессов.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи исследования**:

1) *выявить* специфику формирования дискурса идентичности в классическом и современном социогуманитарном знании;

2) *охарактеризовать* место теорий нации и национализма в предметном поле социально-политических наук с точки зрения потенциала осмысления национально-государственной идентичности;

3) *сформулировать* авторское определение национально-государственной идентичности на основе синтеза социального конструктивизма и политико-

психологических теорий;

4) *разработать* структурную модель и методiku изучения национально-государственной идентичности как сложного и многомерного политико-психологического конструкта;

5) *детализировать* алгоритм исследования национально-государственной идентичности как структурного компонента массового сознания;

6) *очертить* методологические особенности изучения государственной политики идентичности;

7) *рассмотреть и конкретизировать* характер влияния основополагающих макрополитических факторов (глобализационного, религиозного, этнорегионального) на трансформацию национально-государственной идентичности в современной России;

8) *зафиксировать* особенности развития и характерные черты постсоветского кризиса национально-государственной идентичности в 1991-2000 гг.;

9) *осмыслить* ключевые направления и содержательную специфику трансформации национально-государственной идентичности в посткризисный период (2001-2013 гг.);

10) *диагностировать и систематизировать* наиболее важные тенденции и сценарии эволюции российской национально-государственной идентичности на современном этапе (2014-2021 гг.);

11) *выявить* характерные черты и основные направления реализации государственной политики памяти как базового компонента политики идентичности в современной России;

12) *выделить* проблемные аспекты и очертить перспективы конструирования образа будущего в российском обществе;

13) *охарактеризовать* потенциал и магистральные направления совершенствования государственной политики идентичности в Российской Федерации.

**Объект исследования** – национально-государственная идентичность в

современной России как многомерный макрополитический конструкт.

**Предмет исследования** – факторы и тенденции трансформации национально-государственной идентичности в России (1991-2021 гг.).

*Временные рамки исследования* – 1991-2021 гг. – вытекают из содержания цели проводимого исследования и сформулированного на её основе спектра решаемых задач.

**Область исследования** соответствует п. 15. «Психологические аспекты политических процессов», п. 16. «Процессы и механизмы политического восприятия. Политическое сознание», п. 20. «Механизмы и технологии управления политическими изменениями», п. 21. «Этнополитические процессы и конфликты. Национально-государственное, национально-территориальное, национально-культурное самоопределение», п. 28. «Политическая идентичность: сущность, типы, структура. Механизмы политической идентификации личности и социальных групп» Паспорта научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки).

**Эмпирическая база исследования** состоит из трех взаимосвязанных блоков.

Первый блок – научно-исследовательские проекты, непосредственно направленные на изучение особенностей формирования национально-государственной идентичности. Среди них необходимо выделить:

1) Исследование *«Национально-государственная идентичность в России»* (январь – май 2017 г.), которое предполагало проведение формализованных интервью по методике, прошедшей апробацию ранее. В ходе его осуществления было опрошено 315 респондентов в возрасте от 18 до 82 лет в 22 субъектах Российской Федерации.

2) Исследование *«Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России»* (2012-2013 гг., руководитель – Т.В. Евгеньева). На первом этапе – в ходе формализованных интервью – было опрошено 432 респондента

в 16 субъектах Российской Федерации (ноябрь 2011- сентябрь 2012 гг.). На втором этапе (глубинные интервью и проективные тесты) – 117 респондентов. Гайд глубинного интервью представлен в приложении А.

3) Научно-исследовательский проект *«Формирование национально-гражданской идентичности российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ»* в рамках одноимённого гранта Президента России молодым ученым – кандидатам наук (формализованное интервью – 118 респондентов, февраль-май 2014 г.).

4) Экспертный опрос *«Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы»* (июнь – ноябрь 2021 г.). В рамках двух волн опроса (июнь – август и октябрь – ноябрь 2021 г.) было опрошено 63 эксперта. Гайд экспертного интервью представлен в приложении Б. Пул экспертов формировался, исходя из соответствующих задач исследования, и состоял из трех групп экспертов. Первая группа – ученые, специализирующиеся в указанной проблеме или отдельных её аспектах. Вторая группа – государственные служащие и общественные деятели, представители некоммерческих организаций (деятельность которых также связана с вопросами формирования общероссийской идентичности). Третья группа – представители СМИ и социальных медиа, в которых также освещается указанная тематика.

*Второй блок – вторичные (интерпретированные) результаты количественных и качественных исследований, тесно связанных с проблемой становления и трансформации российской национально-государственной идентичности в 1991-2021 гг.* Прежде всего, речь идёт об изучении картины мира россиян, образов себя и других, массовых представлений о власти и т.д.

В рамках данного блока необходимо особо выделить исследовательские проекты, в которых автор также принимал участие. Среди них важно упомянуть:

– исследовательский проект *«Образ иммигранта в сознании российских граждан: траектории формирования и конфликтный потенциал»*

(май – декабрь 2021 г., грант Российского фонда фундаментальных исследований, руководитель – В.Ю. Зорин);

– проект *«Политическая полиментальность в современной России»* (2012-2013 гг., грант Российского государственного научного фонда, руководитель – Н.М. Ракитянский).

*Третий блок – результаты общероссийских опросов*, проводимых ведущими отечественными социологическими структурами: Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), Фондом «Общественное мнение» (далее – ФОМ), «Левада-центром». Указанный спектр исследований затрагивал важные аспекты трансформации социально-политических предпочтений, идентификационных представлений и установок российских граждан на различных этапах эволюции политической системы России.

*Информационно-правовая база исследования.* Особую важность также представляет массив нормативных источников и официальной информации, проанализированный автором в рамках изучения государственной политики идентичности в Российской Федерации. Наиболее значимыми из них являются: послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию; федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; указ Президента Российской Федерации от 6.12. 2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; указ Президента Российской Федерации от 15.06.1996 № 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации»; указ Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Концепция

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года («Стратегия 2020»), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р и ряд других основополагающих нормативных актов и иных документов, представляющих интерес в ракурсе выработки долгосрочных приоритетов государственной политики идентичности в современной России.

**Гипотеза исследования.** Траектория трансформации российской национально-государственной идентичности в 1991-2021 гг. носила в целом неравномерный и повышательный характер. Идентификационный кризис 1990-х годов был частично преодолен, и в 2000 – начале 2010-х годов кристаллизовались основания конвенциональной конфигурации российской идентичности.

Эти изменения были обусловлены такими факторами, как:

- реставрация идентификационных ориентиров российского общества на основе неоимперских и несоветских реминисценций массового сознания;
- снижение степени глубины и деструктивных последствий идеологических расколов в российском обществе, которые в 1990-е годы определяли логику развития политического процесса в России и выступали мотивационным ценностно-смысловым фундаментом усугубления кризиса идентичности;
- рационализация восприятия сложившейся политической реальности в массовом сознании, снижение остроты переживания (но не масштаба) ностальгии по СССР;
- институциональная стабилизация политической системы постсоветской России и оформление персоналистской конфигурации власти, существенный рост уровня доверия к власти со стороны граждан, имевший место в 2000 – начале 2010-х годов;
- переход от конфликтной и разбалансированной конфигурации государственной политики идентичности к конвенциональным практикам,



нацеленным на формирование позитивного и интегрированного в темпоральном плане образа прошлого.

Дальнейший вектор трансформации российской национально-государственной идентичности будет определяться как спецификой проводимой государственной политики идентичности, так и воздействием социально-политических контекстов на политическое сознание российских граждан. При этом наиболее вероятной представляется пролонгация умеренно-позитивного тренда – медленная реализация сценария поэтапного формирования российской политической нации как симбиотического идейно-политического феномена, на основе сочетания гражданских политических ценностей и традиционалистских установок политического сознания с сопутствующими им историческими – неоимперскими и неосоветскими – реминисценциями.

**Научная новизна исследования** состоит в следующем.

1) *Сформулировано* авторское определение национально-государственной идентичности, опирающееся на синтез положений конструктивистского подхода и современных политико-психологических теорий, базирующихся на принципах когнитивной психологии. Согласно ему, национально-государственная идентичность есть интегративный, многомерный и динамический конструкт – представление о «нас» как о макрополитическом сообществе, поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности.

2) *Осуществлена* структурная и факторная операционализация понятия «национально-государственная идентичность». Выделены такие ключевые ее элементы, как базовая установка национально-государственной самоидентификации и связанный с ней генерализованный образ России; образ «значимого другого»; образ власти; образ «нашего» пространства; образ прошлого; образ будущего; символический профиль идентичности; идентификационные альтернативы. Зафиксированы три ключевых

макрополитических фактора трансформации национально-государственной идентичности – глобализационный, религиозный и этнорегиональный.

3) *Обосновано*, что государственная политика идентичности представляет собой целенаправленную, долгосрочную, алгоритмизированную деятельность институтов государственного управления и связанных с ними структур по формированию устойчивой модели национально-государственной идентичности, конгруэнтной существующим запросам общества и перспективным задачам государственного развития и отвечающей основаниям национальной политической культуры.

4) *Доказано*, что влияние глобализационного фактора на российскую национально-государственную идентичность на современном этапе проявляется преимущественно через механизмы цифровой трансформации и распространение симулятивных идентификационных конструктов, ряд из которых несет в себе конфликтный потенциал в отношении установок национально-государственной самоидентификации российских граждан.

5) *Выявлена* траектория трансформации российской национально-государственной идентичности, которая носит в целом повышательно-стабилизационный характер с проявлением инерционной тенденции. На основе её анализа выделены три этапа эволюции российской национально-государственной идентичности: кризисно-конфликтный (1991-2000 гг.), реставрационно-модернизационный (2001-2013 гг.) и мобилизационно-инерционный (2014-2021 гг.).

6) *Зафиксировано*, что базовая психоэмоциональная установка национально-государственной идентичности – ощущение гражданами собственной принадлежности к России – является резистентной по отношению к разнообразным социально-политическим вызовам и слабо зависит от трансформаций иных компонентов идентификационной структуры: образов и символов, конституирующих российскую национально-государственную идентичность.

7) *Диагностирована и детализирована* специфика формирования

и эволюции образно-символических оснований российской национально-государственной идентичности. Она состоит в частичном преодолении когнитивного вакуума и структурной фрагментации образов и символов, конституирующих национально-государственную идентичность в политическом сознании российских граждан, на основе сочетания исторических реминисценций и постепенной кристаллизации позитивных представлений о постсоветской России, а также всё более активного противопоставления себя образу «значимого другого» в лице «коллективного Запада».

8) *Установлено*, что государственная политика идентичности в современной России характеризуется слабостью институциональных и стратегических оснований, а также избыточными ретроспективными акцентами, призванными частично компенсировать аморфность общенационального образа будущего в политическом сознании российских граждан. При этом траектория государственной политики идентичности в целом сопряжена с траекторией трансформации национально-государственной идентичности в политическом сознании российских граждан.

9) *Доказано*, что функциональным и смысловым ядром государственной политики идентичности на протяжении всего постсоветского периода является политика памяти, содержательные изменения которой детерминируют трансформационную траекторию государственной политики идентичности в современной России. В 1991-2021 гг. политика памяти в Российской Федерации эволюционировала от конфликтных практик к более сбалансированной конвенциональной конфигурации.

10) *Выделены* четыре основных сценария дальнейшей трансформации национально-государственной идентичности в России: фрагментарно-конфликтный, конфликтно-консолидационный, конвенционально-консолидационный и инерционный по своей направленности фрагментарно-конвенциональный. Отмечается, что при сохранении тех тенденций трансформации российской национальной идентичности,

которые обозначились в 2014-2021 гг., наиболее вероятным является последний – инерционный – сценарий.

**Теоретическая значимость работы** заключается в следующих основных аспектах:

– теоретические и методологические разработки концепта и проблемного поля национально-государственной идентичности, предпринятые автором, являются важными в контексте развития фундаментальных идентитарных исследований, конкретизации и возможного симбиоза конструктивистских, политико-психологических и дискурсивных теорий коллективной самоидентификации;

– выводы исследования актуальны в ракурсе расширения теоретических представлений о природе и структуре политического сознания, места идентификационных конструкторов в его становлении и эволюции;

– результаты исследования представляют ценность и могут быть востребованы для более детального анализа особенностей политики памяти в современной России в её концептуально-управленческом, смысловом и структурном измерениях;

– результаты анализа влияния религиозного и этнорегионального факторов на российскую национально-государственную идентичность представляют интерес с точки зрения дальнейшего научного осмысления специфики различных моделей центр-регионального взаимодействия в Российской Федерации, их консолидирующего потенциала и сопряженных с ними социально-политических рисков;

– выводы, полученные автором, представляются значимыми в ракурсе интенсификации такого направления отечественных политических исследований, как изучение особенностей и механизмов конструирования национально-государственного образа будущего в России на различных этапах её политико-исторического развития;

– разработанные автором концептуальная модель и методика изучения российской национально-государственной идентичности могут быть

использованы для анализа других национальных кейсов.

**Практическая значимость работы.** Результаты исследования могут применяться в следующих прикладных областях:

– в различных сферах государственной политики и управления (отраслевых политиках) Российской Федерации, связанных с формированием общероссийской национально-государственной идентичности, её взаимодействия с этнорегиональными и религиозными процессами. К таким сферам, прежде всего, относятся государственная национальная политика, информационная политика, государственная научно-образовательная, молодежная и миграционная политика;

– в целях концептуализации и разработки нормативно-стратегических оснований политики идентичности как полифункциональной управленческой конфигурации – одного из магистральных направлений в рамках комплексной реализации государственной политики России;

– в практиках социального проектирования и управления негосударственного некоммерческого сектора: общероссийских, региональных и местных организаций, деятельность которых направлена на формирование установок национально-государственной идентичности в России, сохранение общенационального и локального культурно-исторического наследия;

– в рамках совершенствования учебной и методической работы, разработки и внедрения в образовательный процесс методических материалов и программ соответствующих дисциплин по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Политология», «Государственное и муниципальное управление», «Социология», «Психология», «История», «Реклама и связи с общественностью».

**Методология и методы исследования.** Методологический фундамент исследования опирается на *теории* социального конструктивизма (Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, Я. Ассман и др.), социальных представлений (С. Московичи, Ж.-К. Абрик, Т.П. Емельянова, Л.А. Паутова и др.), социальных и политических образов (А.Н. Леонтьев, И.И. Глебова, Е.Б. Шестопад,

Н.В. Смулькина и др.), а также исследования дискурсивной и макрополитической идентичности (Э. Гидденс, М. Кастельс, С. Хантингтон, И.С. Семененко, Т.В. Евгеньева, О.Ю. Малинова и др.). При анализе трансформации национально-государственной идентичности в фокусе исследовательского внимания оказались современные теории политической трансформации, разрабатываемые зарубежными и российскими учеными (П. Штомпка, Х. Линц, А. Степан, Е.В. Бродовская, А.И. Соловьев, Я.А. Пляйс, В.Я. Гельман и др.).

Методологическим ядром исследования явился синтез положений и эвристического потенциала *конструктивистского подхода (его культурно-исторической линии)* и *политико-психологических концепций, разрабатываемых в рамках когнитивного подхода – научных школ социальных представлений и образов*. На их основе была сформулирована авторская формально-логическая модель, в рамках которой национально-государственная идентичность понимается как многомерное, динамическое представление-конструкт, вбирающее в себя ряд основополагающих идентификационных компонентов второго уровня – образов, установок и символов.

Для анализа государственной политики идентичности был использован симбиотический *системно-конструктивистский* подход, опирающийся на концептуальные схемы таких исследователей, как Дж. Олик, Дж. Робинс, Ю. Шеррер, И.С. Семененко, О.В. Попова, С.И. Белов, В.В. Бушуев. Это позволило рассмотреть политику идентичности как сложную, эволюционирующую конфигурацию, включающую в себя два магистральных направления – политику памяти и политику конструирования образа будущего.

В ходе исследования использовались следующие методики:

1) *формализованное интервью*, нацеленное на сбор информации об особенностях формирования национально-государственной идентичности в современной России;

2) *экспертный опрос*, направленный на выявление основных проблем и перспектив оптимизации политики идентичности в России;

3) *серия фокусированных интервью*, ориентированных на политико-психологическую диагностику отдельных когнитивных и мотивационных компонентов «матрицы» национально-государственной идентичности;

4) *автоматизированный мониторинг социальных медиа* в целях выявления особенностей зарождения и течения идентификационных конфликтов, характерных для современной России;

5) *анализ доктринальных источников и нормативной базы* реализации отдельных направлений государственной политики идентичности;

6) *методика семантического дифференциала* с целью изучения содержательных характеристик генерализованного образа России в массовом сознании граждан;

7) *проективные политико-психологические методики*, направленные на диагностику неосознаваемых компонентов политического сознания и самоидентификации респондентов;

8) разработанная автором *методика структурного кросс-темпорального анализа* трех сменяющих друг друга темпоральных моделей (этапов трансформации) российской национально-государственной идентичности на основе качественных критериальных оппозиций и сопоставления ключевых компонентов идентификационной структуры.

В процессе проведения эмпирического исследования использовались такие базовые аналитические инструменты, как программа обработки статистических данных SPSS Statistics 17, а также сервисы автоматизированного мониторинга социальных медиа IQ Buzz и «Медиалогия».

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1) *На основе синтезного понимания предложено определение национально-государственной идентичности как сложного и эволюционирующего политического явления.* Аккумулируя положения конструктивистского подхода и современных политико-психологических теорий, можно охарактеризовать национально-государственную идентичность

как интегративный, многомерный и динамический конструкт – представление о «нас» как о макрополитическом сообществе (как однородном, так и многосоставном), поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности (С. 94-107).

2) *Разработана концептуальная модель изучения национально-государственной идентичности* как многомерного динамического конструкта. Указанная авторская модель включает в себя три структурно-аналитических блока. Первый блок – это определяющие макрополитические факторы, оказывающие долгосрочное влияние на национально-государственную идентичность: глобализационный, религиозный, этнорегиональный. Второй блок аккумулирует социально-политические контексты трансформации, а также комплекс взаимосвязанных образов и символов, конституирующих национально-государственную идентичность в массовом политическом сознании. К ним относятся: генерализованный образ России; образ «значимого другого»; образ власти; образ «нашего» пространства; образ прошлого; образ будущего; символический профиль; идентификационные альтернативы. Третий блок – государственная политика идентичности, понимаемая как динамическая, системно-функциональная и инструментальная конфигурация (С. 112-125).

3) *Государственная политика идентичности определяется как целенаправленная, долгосрочная, алгоритмизированная деятельность институтов государственного управления и связанных с ними структур (прежде всего, негосударственных организаций социально-гуманитарного профиля, массмедиа, бизнеса) по формированию устойчивой модели национально-государственной идентичности, конгруэнтной и существующим запросам общества, и перспективным задачам государственного развития, а также отвечающей основаниям национальной политической культуры.* В структуре государственной политики идентичности особое место занимают



два магистральных её направления – государственная политика памяти и государственная политика конструирования образа будущего (С. 147-150).

4) *Влияние глобализационного фактора на российскую национально-государственную идентичность было флуктуирующим и содержательно разноплановым.* Его рост в 1990-е годы сменился рационализацией политического сознания российских граждан в 2000-е годы и установкой на дистанцирование от «глобального мира» в 2010-е годы. При этом глобализация не привела к разрушению когнитивного фундамента российской самоидентификации. Сегодня ключевым вызовом глобального развития, адресованным российской национально-государственной идентичности, является интенсивная цифровая трансформация повседневности, влекущая за собой всплеск симулятивных идентификационных конструктов. Некоторые из них могут иметь существенный конфликтный потенциал по отношению к «матрице» общероссийской идентичности (С. 170-187).

5) *Религиозный фактор первоначально выполнял частично компенсаторную (1990-е годы), а в последующем (2000-2010-е годы) комплементарную политико-психологическую функцию в процессе формирования российской национально-государственной идентичности.* В первую очередь это относится к увеличившемуся в 1990-е годы и в последствие стабильно высокому влиянию православия (включая такую его форму, как «бытовое православие») на самосознание россиян. При этом возрастающая роль иных конфессий и течений, прежде всего ислама, его форсированная политизация была несомненным вызовом для неустойчивой на тот момент российской национально-государственной идентичности, несла в себе значительный конфликтный импульс, который инструментально и конъюнктурно использовался в деструктивных политических практиках 1990-х годов и, в меньшей степени, на последующих этапах развития российской государственности (С. 191-207).

6) *Воздействие этнорегионального фактора на российскую национально-государственную идентичность характеризовалось неравномерностью и серьезными флуктуациями.* В 1991-2000 гг. сложилась конфронтационная модель взаимодействия «матрицы» российской идентичности и этнорегиональных идентификационных проектов. Актуализация последних при этом была вызвана не только компенсаторным политико-психологическим эффектом, вытекающим из ситуации ценностно-смыслового и символического «вакуума» общероссийского идентификационного пространства, но и явилась следствием целенаправленной этнополитической мобилизации. На последующих этапах стали складываться иные модели взаимодействия национально-государственной и этнорегиональных идентичностей: переходная мемориально-автономизаторская и комплементарная (С. 211-230).

7) *Траектория трансформации российской национально-государственной идентичности в 1991-2021 гг. в целом носила повышательно-стабилизационный характер.* Представляется возможным выделить три этапа её формирования: кризисно-конфликтный (1991-2000 гг.), реставрационно-модернизационный (2001-2013 гг.) и мобилизационно-инерционный (2014-2021 гг.). Первый – *кризисно-конфликтный* – этап характеризуется высоким уровнем социально-политической напряженности, фрагментацией и частичным распадом смысловых и символических оснований национально-государственной идентичности. На втором – *реставрационно-модернизационном* – этапе происходит становление фрагментарно-конвенциональной конфигурации национально-государственной идентичности. Оно сопровождалось ренессансом массовых представлений о России как о великой державе, обладающей исторической, социокультурной и геополитической субъектностью, а также формированием контурного образа постсоветской России как в целом привлекательного объекта самоидентификации. Третий – *мобилизационно-инерционный* – этап отличается внутренней

противоречивостью и подвижностью. Повышательный мобилизационный тренд (2014-2017 гг.), связанный с консолидацией общества на основе «крымского консенсуса» и актуализацией политической ценности патриотизма, сменился *инерционной* понижательной *фазой*: ростом социальной фрустрации, политической апатии и накоплением настроений неудовлетворенности социально-экономической и политической ситуацией (С. 233-234; 254-256; 284-286; 320-321).

8) *Можно отметить, что основополагающая аффективная установка национально-государственной идентичности, генерирующая ощущение гражданами собственной принадлежности к России, характеризуется высокой устойчивостью по отношению к разнообразным социально-политическим вызовам и, по существу, не взаимосвязана с траекторией трансформации других компонентов в структуре национально-государственной идентичности – символического профиля, образов власти, «значимых других», территории, прошлого и будущего. На протяжении 2000-2010-х годов генерализованный ассоциативный образ России также сохранял устойчивость, характеризуясь умеренно-позитивной направленностью. При этом наиболее положительно оценивались качества, связанные с его геополитической и ресурсной проекциями (независимая, богатая, влиятельная страна). Параллельно обозначилась пока еще слабая тенденция медленного когнитивного насыщения и дифференциации – увеличения внутреннего разнообразия – символического профиля российской национально-государственной идентичности (С. 235-238; 258-261; 288-292).*

9) *Серьезную трансформацию претерпела психоэмоциональная составляющая образа «значимого другого» в структуре национально-государственной идентичности. Если в 1990-е годы он был преимущественно фрагментарным и эмоционально разбалансированным, то в 2000-е годы обозначилась тенденция его внутренней дифференциации (Запад как социально-культурное пространство и как геополитический*

субъект), рационализации и постепенной поляризации. Резкая негативизация данного образа произошла в 2014 году. В результате этого российская национально-государственная идентичность, особенно в её неоимперской вариации, обрела мощный негативный импульс, стала более активно формироваться, в том числе, через механизм противопоставления себя «коллективному Западу» (С. 238-240; 262-265; 298-300).

10) *Трансформационная траектория образа власти в идентификационных представлениях россиян в целом была повышательно-волнообразной и персоналистски-ориентированной.* Однозначно негативное восприятие власти в 1990-е годы (как слабой и неэффективной) достаточно резко сменилось на позитивное и персоналистско-ориентированное в 2000 – начале 2010-х годов. Начиная с середины 2010-х годов, эволюция образа российской власти постепенно переходит в понижательную фазу: усиливаются тенденции его фрагментации и, что более заметно, негативизации. При этом на всех рассматриваемых этапах восприятие власти российскими гражданами характеризовалось внутренней противоречивостью: противопоставлением сильного персоналистского компонента в лице политического лидера и аморфного административно-управленческого слоя (С. 241-242; 261-262; 292-298).

11) *Динамика темпоральных образов в структуре российской национально-государственной идентичности характеризуется разбалансированностью.* Первый – кризисно-конфликтный – этап протекал в условиях разрушения образа прошлого, второй – реставрационно-модернизационный – сопровождался частичным преодолением его фрагментации и переходом к конвенциональности. На современном – мобилизационно-инерционном – этапе наблюдается усиление значимости представлений о прошлом в формировании общероссийской национально-государственной идентичности. При этом образ общенационального будущего на протяжении всего рассматриваемого периода (1991-2021 гг.) сохранял предельную аморфность и лакунарность, занимая подчеркнуто

вторичное – периферийное – положение в структуре национально-государственной идентичности. Некоторым исключением явились 2000-е годы, когда он, посредством политико-психологического механизма стихийной экстраполяции настоящего в перспективу, на некоторое время обрел умеренно-позитивные очертания (С. 244-248; 272-275; 303-311).

12) *Трансформация образа «нашего» пространства в структуре национально-государственной идентичности российских граждан характеризуется базовой политико-психологической тенденцией прагматизации и движением от фрагментации к консолидации.* Если на кризисно-конфликтном этапе (1991-2000 гг.) он являл собой конгломерат слабо взаимосвязанных конфликтных представлений, то в последующем (на реставрационно-модернизационном этапе – 2001-2013 гг.) на его содержание активно влияли советские и имперские реминисценции. На мобилизационно-инерционном этапе (2014-2021 гг.) он, сохраняя реминисцентную направленность, всё же эволюционировал в сторону прагматизации. Так, число россиян, идентифицирующих Российскую Федерацию в её нынешних территориальных границах, увеличилось с 42% в 2011-2012 гг. до 53% в 2017 году (С. 242-244; 265-272; 300-302).

13) *Государственная политика идентичности в Российской Федерации в 1991-2021 гг. отличалась избыточной ретроспективностью, высоким уровнем дискретности, сохраняющейся слабостью концептуально-стратегических и нормативно-институциональных оснований её реализации.* На протяжении всего постсоветского периода её функциональным и ценностно-смысловым фундаментом выступает государственная политика памяти, которая предопределяет вектор её трансформации в целом. В 2000-е годы произошел переход от предельно непоследовательной конфликтно-фрагментарной модели политики памяти к более продуктивной и сбалансированной конвенциональной её конфигурации. Однако активные попытки генерирования конвенциональных мемориальных практик, предпринятые государством в 2001-2013 гг., не получили масштабного развития в 2014-2021 гг. При этом конструирование

образа будущего носило преимущественно ситуативный характер, связанный с реагированием на текущую социально-экономическую и политическую динамику ( С. 329-356; 360-362).

14) *Представляется возможным обозначить четыре магистральных направления дальнейшего совершенствования государственной политики идентичности в России:* развитие нормативных и стратегических оснований; функциональную настройку и оптимизацию инструментария её реализации; расширение смыслового и символического базиса политики памяти; выработку механизмов конструирования интегративного общенационального образа будущего. Реализация первого из указанных направлений предполагает разработку стратегии формирования национально-государственной идентичности и возможность создания соответствующего интеллектуального центра – института национально-государственной идентичности. Последнее направление является сегодня наиболее сложным и, соответственно, наименее проработанным как в концептуально-стратегическом ракурсе, так и с точки зрения приемлемого ценностно-символического наполнения (С. 383-402).

15) *На основе результатов проведенного исследования очерчены четыре ключевых сценария трансформации российской национально-государственной идентичности:* фрагментарно-конфликтный («большой взрыв»), инерционный фрагментарно-конвенциональный («период полураспада»), конфликтно-консолидационный («назад в будущее») и конвенционально-консолидационный («политическая нация»). Первый сценарий представляется наиболее деструктивным и предполагает распад когнитивных и символических оснований самоидентификации на фоне резкого роста социально-политической напряженности в обществе. Четвертый, конвенционально-консолидационный, сценарий может рассматриваться как благоприятный и предполагает завершение формирования российской политической нации на основе общенациональных символов и представлений, несущих в себе позитивный потенциал политической

консолидации. Отмечается, что при сохранении базовых тенденций трансформации российской национальной идентичности, которые обозначились на рубеже 2010-2020-х годов, наиболее вероятной выглядит инерционная динамика – реализация фрагментарно-конвенционального сценария дальнейшей трансформации российской национально-государственной идентичности (С. 321-324).

**Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования.** Степень достоверности результатов исследования подтверждается тем, что выдвинутые автором теоретические предположения в полной мере отвечают критерию предметности. Диссертация соответствует критериям полноты и проверяемости научных результатов. В предложенной автором концепции не усматриваются внутренние противоречия, также нет фундаментальных противоречий с основными работами в данной предметной области, таким образом, исследование соответствует критерию непротиворечивости. Для проведения эмпирического исследования автором были использованы результаты репрезентативных общероссийских опросов, проводимых ведущими социологическими центрами: ВЦИОМ, ФОМ и др.

Основные положения диссертационного исследования были представлены автором в докладах и выступлениях на 30 всероссийских и международных научных и научно-практических мероприятиях. К наиболее значимым из них относятся: V Всероссийский конгресс политологов «Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы» (Москва, Государственный университет – Высшая школа экономики, 12-15 ноября 2009 г.), VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия» (Москва, МГИМО, 22-24 ноября 2012 г.), Международная научная конференция «Дни науки философского факультета» ( г. Киев, Украина, Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко, 16-18 апреля 2013 г.), III Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина» (Москва, ВЦИОМ, 28 февраля – 1 марта 2013 г.),

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал молодежи: патриотическое сознание и практика гражданского участия» (г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, 8-9 октября 2013 г.), Международная научная конференция «25-е Адлерские чтения. Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности». (г. Сочи, Общество «Знание», 23-27 мая 2014 г.), 37th Annual Meeting of ISPP «Ideologies and Ideological Conflict: The Political Psychology of Belief Systems» (г. Рим, Италия, Международное общество политической психологии, 4-7 июля 2014 г.), VII Всероссийский конгресс политологов «Политическая наука перед вызовами современной политики» (Москва, МГИМО, 19-21 ноября 2015 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Образы будущего России: желаемое – возможное – необходимое» (Москва, Московский педагогический государственный университет, 8-9 июня 2016 г.), Всероссийская научная конференция с международным участием «Славянский мир в условиях современных вызовов» (г. Томск, Томский государственный университет, 4-5 октября 2018 г.), VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика развития, государство и мировой порядок» (Москва, МГИМО, Финансовый университет, 6-8 декабря 2018 г.), Международная конференция «Великая Победа: исторические традиции, современная политика и образы будущего» (Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 3-4 сентября 2020 г.), IX Всероссийский конгресс политологов (Москва, МГИМО, Финансовый университет, 16-18 декабря 2021 г.).

Результаты исследования используются:

1) В практической деятельности Администрации губернатора Пермского края. Материалы исследования были использованы при организации очного этапа VII Всероссийского Форума национального единства, проходившего в г. Перми с 8 по 10 декабря 2021 года, проведении в его рамках Межрегионального экспертно-дискуссионного форума,



панельной дискуссии «Миграционные вызовы современной России», а также конкурса лидеров некоммерческих организаций. Положения, сформулированные в ходе исследования, позволили уточнить и детализировать новые подходы при выработке комплексной стратегии по формированию национально-государственной идентичности, поддержанию межнационального единства в условиях неоднородной социальной конфигурации – полиэтнического и многоконфессионального характера региона.

2) В деятельности Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2021-2022 гг. Результаты диссертации нашли свое отражение при формулировании концептуальных оснований и ключевых задач реализации федерального проекта «Историческая память» в Оренбургской области. Данный проект направлен на формирование устойчивой модели общероссийской идентичности, в том числе, с опорой на региональные исторические и социокультурные традиции, и также призван объединить усилия государства, общественных институтов и граждан в деле восстановления объектов историко-культурного наследия, популяризации исторических дат для россиян. Результаты исследования также были использованы при выработке дальнейших направлений совершенствования проекта «Историческая память»: поиске наиболее перспективных форматов его реализации с учетом культурно-исторической специфики Оренбуржья как цивилизационного и геополитического приграничья. Внедрение результатов исследования способствовало эффективной презентации данного проекта в региональном медиапространстве и привлечению дополнительного числа волонтеров, в нем задействованных.

3) В работе государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Юго-Восточного административного округа». Разработки, представленные в диссертации, способствовали оптимизации инструментов позиционирования

ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО» в динамичной цифровой среде с акцентом на многообразие социализационных траекторий и специфику социального восприятия различных сегментов неоднородной целевой аудитории – подростков и молодежи г. Москвы. Отдельные положения и выводы диссертационного исследования, затрагивающие проблему гармонизации «большой» (общероссийской) и условно малых – локальных – идентичностей в рамках конструирования представлений о прошлом, получили применение в ходе разработки и реализации проектов «Краеведение» и «Культурный центр фронтовых поэтов», успешно осуществляемых ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров ЮВАО». Результаты исследования используются в рамках стратегического планирования и научно-методического сопровождения культурно-просветительской деятельности ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров ЮВАО». Прежде всего, речь идёт о диагностированных автором рисках формирования «виртуальных» идентичностей в цифровой среде, многие из которых являются не только системным вызовом основам общероссийской идентичности, но и нередко аккумулируют в себе деструктивный потенциал повседневного социального поведения. Указанные наработки способствовали оптимизации инструментов позиционирования ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО» в информационном пространстве.

4) При выполнении научно-исследовательских работ по следующим темам:

– «Теория регулирования миграционных процессов» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 20.04.2021 № 0891/о) в части анализа зарубежных подходов и норм, разработанных в сфере регулирования миграции с учетом механизмов нивелирования миграционных рисков и угроз.

– «Неэкономические факторы продвижения российского крупного бизнеса на внешних рынках» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 20.04.2021 № 0897/о) в части подготовки комплекса мер

по информационной поддержке российского бизнеса для противодействия неэкономическим ограничениям, затрудняющим его работу на внешних рынках, а также для создания благоприятных условий для его продвижения.

5) Результаты исследования используются в учебном процессе негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский институт психоанализа» в преподавании учебных дисциплин: «Геополитика», «Политическая психология», «Россия в глобальном мире», «Концепции гражданского общества», «Психология гражданской активности, «Регионоведение», «Технологии манипулирования массовым сознанием и методы противодействия им». Материалы исследования также используются НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» при разработке методического обеспечения образовательной программы магистратуры «Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

**Публикации.** Основные положения диссертации отражены в 53 публикациях общим объемом 83,95 п.л. (авторский объем - 53,76 п.л.), в том числе в 5 монографиях, из которых 2 авторские монографии объемом 22,0 п.л. и 3 коллективные монографии общим объемом 27,8 п.л. (авторский объем - 2,2 п.л.), в 39 статьях общим объемом 26,06 п.л. (авторский объем - 22,92 п.л.), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, из которых 7 статей общим объемом 5,47 п.л. (авторский объем - 3,755 п.л.) входят в цитатно-аналитическую базу RSCI, а также 3 статьи авторским объемом 3,45 п.л. опубликованы в международной цитатно-аналитической базе Scopus.

**Структура и объем диссертации** обусловлены целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 399 наименований и 2 приложений. Текст диссертации изложен на 468 страницах, содержит 20 рисунков и 36 таблиц.

## Глава 1

### **Национально-государственная идентичность: теоретико-методологические основания исследования**

Первым этапом проводимого исследования является анализ теоретико-методологических оснований изучения национально-государственной идентичности.

В параграфе 1.1 *«Особенности формирования дискурса идентичности в социогуманитарном знании»* рассматриваются вопросы, связанные со спецификой становления и трансформации проблемного поля идентичности. При этом особое внимание уделяется социально-психологическим и социологическим теориям, синтез которых играл решающую роль в концептуализации понятия национально-государственной идентичности в политической науке. Параграф 1.2 *«Нация и национализм в предметном поле социально-политических наук»* посвящен анализу ключевых классических подходов к интерпретации феноменов нации и национализма, их современным вариациям. В параграфе 1.3 *«Национально-государственная идентичность: проблема интерпретации в политической науке»* были подвергнуты осмыслению различные подходы к определению национально-государственной идентичности, выработана и детализирована авторская интерпретация данного феномена.

#### **1.1 Особенности формирования дискурса идентичности в социогуманитарном знании**

Рассматривая формирование дискурса идентичности в социогуманитарном знании и фиксируя рамки его теоретической концептуализации в начале XXI века, необходимо обратиться к достаточно объемному кластеру исследований, в которых предпринимались попытки структуризации соответствующего дискурсивного поля. При этом часть

авторов, анализирующих данный вопрос, справедливо, на наш взгляд, отмечают крайне высокий уровень фрагментации проблемного поля идентичности. Они высказывают мнение, что о его существовании можно говорить, скорее, условно, поскольку фактически единственным его конституирующим обстоятельством является полисемантический характер категории «идентичность», множественность разнородных смыслов, знаменателем которых является общий устоявшийся и широко используемый термин [212; 220].

Другие исследователи говорят о сосуществовании двух дискурсов: *внутреннего*, в котором на первый план выходит рефлексия, «самость» и сбалансированность личностной структуры, и *внешнего*, связанного с выстраиванием социальных дистанций и операционализируемого через концепт всевозможных «других» [125; 196]. Отсюда же вытекают попытки если не противопоставить, то максимально разграничить личностные и социальные (групповые) идентичности, а также споры между сторонниками эссенциалистского (примордиалистского) и конструктивистского взглядов; теми, кто указывает на первичность «социальной генетики» и приверженцами концепта «проективной идентичности». Вместе с тем, сегодня третью грань дискурсивного «треугольника идентичности» представляет широкая совокупность синтезных концепций. Она сформировалась в конце XX века на основе симбиотических по своему содержанию психологических, социологических и политических теорий самоидентификации в процессе научной переоценки наследия социального конструктивизма (в его «умеренной» культурно-исторической и «радикальной» инструменталистско-проективистской версиях), структурализма, концептов «эго-идентичности» и социально-ролевого самоопределения [55; 118; 120].

Еще одним научным направлением структуризации дискурсивного поля идентичности является стремление выявить её корреляции с определенными идейно-политическими течениями или историческими

*традициями:* либеральной, «левой», европейской, евразийской, национализмом и т.д. Указанный подход и сегодня востребован в отечественной политической науке, активно используется рядом авторов в работах политико-философского характера [110; 226; 280; 286]. Его серьезное преимущество состоит в устойчивости «линий размежевания» в рамках теоретического поля политической идентичности. Основное ограничение – в условности некоторых авторских оценок и ставшего очевидным в начале XXI столетия размывании «лево-правового континуума» в современных политических системах.

По нашему мнению, весьма продуктивным в методологическом плане представляется обобщенный *процессуальный взгляд*, исповедуемый, в частности, как классиками идентитарных исследований (Э. Эриксоном [107], Дж. Марсиа [310] и др.), так и современными авторами [118; 120; 122]. Например, согласно мнению И.А. Зверевой, каждая фаза самоидентификации, понимаемой как многосоставный и нелинейные процесс, наиболее полно описывается конкретным дискурсом: становление идентичности – психоанализом; её подтверждение – символическим интеракционизмом и когнитивными теориями; «предъявление» (то есть, демонстрация собственного «Я» в социальном пространстве) – статусно-ролевыми концепциями [125, с. 11-13].

*Основные этапы эволюции дискурса идентичности в социогуманитарном знании.*

Опираясь на процессуальное видение дискурса идентичности, можно выделить основные этапы его эволюции в социогуманитарном знании. Учитывая, что само распространение термина «идентичность» началось на рубеже XIX – XX столетий, время, предшествующее данному моменту, *имеет смысл определить как «нулевой этап»*, в рамках которого не велась должная теоретико-методологическая проработка, но закладывались фундаментальные политико-философские основания вызревания

идентичности как научного концепта. В связи с этим следует согласиться с мнением Н.А. Тельновой, что корни философского осмысления идентичности через категории «самости», тождества и различия можно обнаружить в античной традиции [261, с. 25].

Считаем, что *социально-философский – «нулевой» – этап* представляется актуальным в контексте современности в силу ряда взаимообусловленных обстоятельств. Первое такое обстоятельство связано с тем, что именно философская традиция заложила многомерный взгляд на генезис феномена идентичности, сформулировала его понимание на основе сочетания внешних (условно объективных, детерминированных положением человека в обществе, влиянием социокультурных факторов) и внутренних («поиск себя» через индивидуальную уникальность и тождество с определенной социальной общностью) императивов. Таким образом, был предопределен дальнейший симбиоз дискурсивных практик осмысления *«идентичности – принадлежности»* и *«идентичности – самоопределения»* как двух сопряженных научных концептов [127; 261].

Второе обстоятельство, также доказывающее сохраняющуюся актуальность философского взгляда на идентичность, вытекает из попыток рассмотреть природу человеческого «Я» и кристаллизации «нас» как социальной общности сквозь призму ценностно-обусловленной рефлексии. Социальные ценности в их индивидуальном и коллективном преломлениях, специфика их кросс-этнической и межпоколенческой ретрансляции, впоследствии станут одной из главных проблемных ниш идентитарных исследований в XX веке. То есть, философское знание, на тот момент не оперируя понятиями «идентичность» и «социализация», поставило вопрос о ценностных основаниях поиска ответа на вопрос «кто мы?», а также – о создании эффективных институтов и механизмов, обеспечивающих воспроизводство и устойчивость социальной структуры конкретно-исторического типа общества, включая политические отношения.

Третье обстоятельство, также указывающее на важность философской

традиции в становлении дискурсивного поля идентичности, – это обозначившееся понимание связи «я – мы» как вариативного, подвижного социального феномена, в основании которой лежит сочетание рационального выбора и слабо осознаваемых мотивов и импульсов. Такой взгляд выступал теоретико-методологической диспозицией, обусловившей формирования двух магистральных направлений идентитарных исследований XX столетия – *психоаналитического* (в контексте поиска неосознаваемых мотивов самоидентификации) и *психологии масс* – с точки зрения влияния психоэмоционального фактора на формирование социальной общности и осознания человеком своей принадлежности к ней.

Интенсивное развитие социогуманитарных наук в эпоху Нового времени, особенно в XIX столетии, которое характеризовалось симбиотическим взаимодействием традиционной социально-философской и новой на тот момент позитивистской парадигм, предопределило переход к *следующему (первому) этапу – становлению идентичности как научного концепта и формированию вокруг данного понятия междисциплинарного проблемного поля*. При этом крайне показательным является то, что кристаллизация понятия «идентичность» в социальных и гуманитарных науках носила параллельный характер: она протекала в рамках психоаналитической парадигмы, психологии масс, концептуальных положений символического интеракционизма и, отчасти, иных направлений социогуманитарного знания (классической социологии, экономики, политической науки). Представляется, что главную роль на первом этапе выстраивания теоретического фундамента изучения идентичности играли именно психология масс и психоаналитический подход. При этом оба этих направления делали акцент на иррациональной составляющей самоидентификации как процесса «поиска себя», подчеркивая тем самым неустойчивость идентификационных паттернов личности. Однако классики психоанализа и представители психологии масс понимали иррациональный фактор идентификационного выбора принципиально по-разному.



Если первые, начиная с З. Фрейда [97], вели речь о бессознательном компоненте личности человека, а позже, в рамках юнгианской традиции [109] – и о коллективном бессознательном, то вторые фокусировали собственный научный интерес на эмоциональных импульсах и механизмах [69; 78; 92]. Весьма ярко это проявилось в работах «отца» психологии масс Г. Лебона, который рассматривал феномен самоидентификации сквозь призму таких базовых психологических механизмов, как подражание, заражение и внушение [69].

Таким образом, по нашему мнению, наиболее важным вкладом психологии масс *конца XIX – середины XX веков* в развитие проблематики социальной идентичности является детальный анализ иррациональных мотивов группового поведения и установочно-аффективного фактора самоидентификации в трудах Г. Тарда [92], Г. Лебона [69], позже, в 1930-х годах – в работах В. Райха [83], Э. Фромма [98], Х. Ортеги-и-Гассета [78]. Вместе с тем, отмечая системную важность эмоциональной составляющей в понимании идентичности различными направлениями современного социогуманитарного знания, можно согласиться с мнением, что «когда речь идет об идентичности социального бытия или культурных типов, за процессами идентификации часто *оказывается эмоционально окрашенная «оптика позиций», трансформирующая объект идентификации в стереотипы негативного плана – «лицо кавказской национальности», «ватник» и т.д.* [276, с. 146].

Не менее существенным для понимания природы идентичности выглядит значение неопределенности и аналитической психологии. Причем, по нашему мнению, речь идет в меньшей степени об архетипе, а в большей – о подсознательной составляющей личности, некритическом восприятии действительности человеком. Такой психоэмоциональный фрейм («призма» социального восприятия) способствует, в том числе, последующей осознанной идентификационной дифференциации и автономизации на всех уровнях бытия, эмоционально-поведенческой сегрегации «нас» и «других», а

нередко и целенаправленному противопоставлению, поиску разнообразных «чужих» во всевозможных их проявлениях, от социально-бытового повседневного до геополитического [79; 175].

Можно также отметить, что уже на первом этапе эволюции дискурсивного поля идентичности (1890-1950-е годы), несмотря на преобладание психоаналитических и социально-философских императивов в её осмыслении, в фокус внимания исследователей попадает и политическое измерение идентичности. Наиболее ярко оно проявляет себя в вопросах соотношения индивидуальных свобод – автономии человеческого «Я» и авторитаризма политической власти во всех её идеологических проявлениях (Э. Фромм [98], Н. А. Бердяев [46], Т. Адорно [35] и др.), проблеме социальной массы как коллективного актора политической трансформации. Именно тогда происходит достаточно четкая дифференциация двух контуров идентичности как объекта научного анализа:

– *внутреннего, проявляющегося в виде самоощущения личности, её стремления минимизировать собственную политическую ответственность, испытываемого ею целенаправленного давления со стороны социальных институтов и норм («прибавочной репрессии» – в терминологии Г. Маркузе [74]);*

– *внешнего, связанного с проблемами непрерывного морального и политического идентификационно-ролевого выбора личности, её готовности не просто механически принять определенный константный статус в форме «предписанной идентичности», но и моделировать некоторым образом собственное социальное поведение (сообразуясь с данным статусом).*

Переход ко *второму этапу* (1960-1970-е годы) эволюции дискурса идентичности, который может быть назван *структурно-динамическим* (поскольку ведущую роль в этот период играли личностно-ролевые психологические и социально-конструктивистские концепции, ознаменовавшие движение к новой парадигме идентичности, её пониманию

как вариативной структурной композиции), начался психоаналитическим «поворотом к личности», воплощенным в «одномерном человеке» Г. Маркузе [74], и органически завершился «конструкционистским поворотом» в социогуманитарном знании. Своеобразным символом полномасштабного наступления нового этапа в изучении идентичности явилась работа П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», в которой были наиболее рельефно сформулированы ключевые постулаты социального конструктивизма как одной из базовых научных парадигм постижения социального пространства во всех его проекциях: от глубоко персонализированного «я» до транснациональных идентификационных конструктов [45]. Главный из них заключен в том, что коллективная идентичность должна рассматриваться как продукт многовекторного социального конструирования, производства не только оценок и ролевых функций, но и самих смыслов, а также их последующей диффузии и видоизменения в пространствах социального бытия.

При этом важной генетической характеристикой социального конструктивизма является его теоретическая неоднородность и, отчасти, внутренняя противоречивость. Так, «сторонники радикального социального конструктивизма считают, что в социальной сфере нет и не может быть чего-то неизменного, устойчивость и объективный статус социальных феноменов иллюзорны» [203, с. 91]. Представители «умеренной», культурно-ориентированной линии склоняются к пониманию того факта, что выработка и закрепление установок самоидентификации, особенно в больших социальных общностях (нациях, этносах, конфессиональных сообществах) – крайне длительный и нередко реверсивный исторический процесс, сопровождающийся идентификационными конфликтами и обусловленный многочисленными ситуационными и субъективными факторами [120].

В этот же период концепт идентичности продолжает оставаться в центре внимания психологии личности. Знаковыми в данном случае являются теории стадий и кризисов эго-идентичности Э. Эриксона

(изложенная в развернутом виде в его работе «Идентичность: юность и кризис» [107]) и смены статусов эго-идентичности Дж. Марсиа [310]. Последний рассмотрел процесс обретения личностного «Я» в трансформационном разрезе, как смену четырех статусных форматов социального бытия человека: диффузии (смешивания и частичного распада); предрешенности (предписанного характера самоидентификации, обусловленного внешними социальными рамками); моратория («откладывания» поиска эго – идентичности в условиях продолжающегося её кризиса) и достижения (обретения). Финальный этап – обретение идентичности – характеризует факт успешного завершения поиска сбалансированного личностного «я», согласование многообразия неосознаваемых, когнитивных и предписанных ролевых установок человека [310].

Для более детального понимания особенностей формирования дискурса идентичности в середине – конце XX столетия также представляется необходимым обратиться к основным идеям *символического интеракционизма*. Проблема идентичности в рамках данного научного направления первоначально развивается в категориях «характера» и «самости», а в последствие (в трудах Г. Блумера [47], И. Гофмана [116] и других ученых), вращается вокруг двух аспектов: собственно человека с его индивидуальными особенностями и «человека общественного», то есть, личности как субъекта социальных практик, и одновременно – объекта многочисленных и различных по своей тональности социальных оценок и обменов. Представляется, что существенный вклад представителей символического интеракционизма в становление современных идентификационных концепций состоит в постулировании важности коммуникативных взаимодействий как первоосновы кристаллизации социума, его функционирования и обеспечения устойчивости в течение длительного времени. Указанные идеи обрели новое звучание в конце XX-начале XXI веков, в условиях формирования информационного общества

и становления новой – цифровой – архитектуры социальной повседневности.

*Третий этап эволюции идентитарного дискурса (1980-1990-е годы)* может быть охарактеризован как *симбиотический или социально-коммуникативный*. По нашему мнению, две его основные черты – это:

1) смещение исследовательского интереса в сторону групповых идентичностей различного уровня (от малых неформальных групп, трудовых коллективов до национально-политических сообществ), анализа роли социальных коммуникаций в их воспроизводстве и трансформации;

2) утверждение и широкое распространение многофакторных концептов идентичности, инкорпорирующих в себя различные парадигмальные основания и подходы.

Рассматривая данный этап, его содержательные стороны, можно говорить о том, что популяризация идентичности как объекта многочисленных социально-гуманитарных изысканий, имевшая место в 1960-1970-е годы, привела к накоплению определенной «критической массы» знаний в данной области. Это позволило ученым «новой волны» не просто предлагать оригинальные интерпретационные схемы или более глубоко прорабатывать отдельные аспекты рассматриваемого вопроса, но и формулировать принципиально новые теории на основе сочетания элементов разнообразных парадигм и научных традиций.

*Знаковой характеристикой данного этапа стал примат социальности во всех её проявлениях как исходной точки идентитарных исследований*, поскольку «любой человеческий младенец и его психика изначально и всегда социальны. Если бы не было этой исходной социальности, то стала бы невозможной ее извечная органичная, внутренняя, недизъюнктивная взаимосвязь с природным» [75, с. 2]. Точкой бифуркации, свидетельствующей о наступлении рассматриваемого этапа, явилась *теория социально-ролевой идентичности как продукта категоризации реальности*, разрабатываемая Г. Тэджфеллом, Дж. Тернером, Р. Брауном и их коллегами [319]. Социальная идентичность в данном ракурсе предстает

как интегративное следствие категориально-атрибутивной структуризации окружающего мира, его оценки сквозь призму оппозиции «мы – они». Результатом такой оценки являются установочно-поведенческие тактики ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации: позитивная личностная каузальная атрибуция в отношении «своих» и негативная – по отношению к всевозможным «чужим» [319].

По нашему мнению, концептуальное значение третьего, *социально-коммуникативного*, этапа для формирования дискурсивного ландшафта современных идентитарных исследований определяется двумя наиболее существенными моментами.

*Момент первый.* Коллективная идентичность изначально вытекает из символично-смыслового маркирования «картины мира», где ключевое место занимает оппозиция «мы – они», образ «нашего» сообщества в его пространственном и темпоральном измерениях. В связи с этим критически важными являются установки и стереотипы национального самосознания, позволяющие выстраивать как позитивные, так и негативные фреймы восприятия «нашего» социума среди многочисленных «чужих». Подобный взгляд на природу идентичности берет свое начало в социально-философских концепциях первой половины XX века [83; 106; 109], но завершённое концептуально-теоретическое оформление получает в более поздних социально-психологических теориях, представленных в научных работах М. Хогга [306], Х.Маркуса, Ш. Китаемы [311], И. Нойманна [76] и др.

*Момент второй.* Именно в рамках социально-психологических концепций коллективной идентичности окончательно кристаллизуется понимание важности коммуникативного фактора в её становлении. Коммуникации отводилась функциональная роль системообразующего компонента выстраивания системы относительно прочных отношений в обществе (а не только разнообразных дискретных интеракций – обменов). То есть, устойчивость личности оказывалась в существенной мере детерминированной стабильностью социальных процессов. При этом

среднестатистические (если речь не идёт о девиациях) «человек социальный» и «человек политический» избегали ситуации полного «отчуждения»: не только материального результата труда, но и духовного. Человек оказывался не просто инкорпорированным в общество *de facto*, но и в той или иной мере востребован как «коммуникатор смыслов» – субъект воспроизводства и непрерывной межличностной и межпоколенческой ретрансляции социального опыта. Своеобразной квинтэссенцией развития коммуникативной линии в изучении социальных идентичностей выступила симбиотическая теория М. Кастельса, которая, впитав в себя также постструктуралистские и конструктивистские идеи, говорит о сосуществовании трех типов идентичности: легитимирующей, идентичности сопротивления и проективной [113]. При этом показательно, что автор определяет идентичность как «процесс конструирования смысла на основе совокупности культурных признаков, которые обладают приоритетом по отношению к другим источникам смысла» [113, с. 32].

Существенный вклад в понимание идентичности как релятивистского конструкта внесли концепции *структурализма*, *постструктурализма* и социологические исследования в русле идей Постмодерна. Прежде всего, следует отметить, что именно в рамках структурализма активно развивалась такая важная проблема, как восприятие «другого», его влияние на содержание личностного «Я» человека в условиях изменчивой социальной реальности [43; 70]. В дальнейшем эти теоретические разработки были переосмыслены в условиях формирования информационного общества. На наш взгляд, их своеобразной квинтэссенцией стала теория габитуса, сформулированная П. Бурдьё [52, с. 43-47].

В то же время, развитие постструктуралистских и постмодернистских изысканий в их сочетании с теорией дискурса способствовало, с одной стороны, закреплению автономизированного понимания личностной идентичности, а с другой – утверждению предельно релятивистского взгляда на природу макросоциальных идентичностей [115]. Последние предстают

в трудах конца XX – начала XXI веков в виде *дискурсивных* – «плавающих» и *ситуативных* – *конструктов*, проявляющих себя исключительно в пространствах публичной и повседневной коммуникации [55; 118]. Таким образом, предполагается, что в основании этих конструктов находятся не прочные когнитивные элементы, а субъективные по своей генетике, подвижные и эмоционально детерминированные микроструктуры-фрагменты, отличающиеся предельной смысловой размытостью и конкурирующие с «сильными» государство-центричными идентификационными композициями [307]. Представляется, что подвижную и дискурсивную сущность таких изменчивых психологических структур достаточно ярко отражает концепция симулякров, сформулированная Ж. Бодрийяром [48].

По нашему мнению, важность идей постструктурализма и модернизма для изучения национально-государственной идентичности заключена в следующих основных моментах:

- особом внимании коммуникативному фактору: упор делается на формирование принципиально нового информационно-психологического ландшафта повседневности как пространства кристаллизации идентичности;
- акценте на генерировании когнитивной составляющей индивидуальных и коллективных паттернов самоидентификации, процессах преломления и реструктуризации смыслов сквозь призму накопленного социального опыта и конкретных ситуационных рамок;
- учете социализационного фактора в процессе формирования идентичности как сложной мотивационной и навигационно-поведенческой конфигурации;
- признании имманентности и первоочередной значимости такого свойства, как изменчивость идентификационных структур (что особенно актуально в ракурсе понимания национально-государственной идентичности именно как трансформирующегося конструкта).

Вместе с тем, целесообразно говорить и о некоторых важных



методологических ограничениях данного подхода применительно к изучению «больших» – макросоциальных (в том числе, политических) – идентичностей. Первое такое ограничение связано с гиперболизацией индивидуального выбора, в стремлении рассматривать его как центральный элемент всех идентификационных «матриц». Очевидно, что гипертрофированная фокусировка на человеческой «самости» способна привести, если не к отмене, то частичной девальвации компонента социального влияния, его роли в оформлении и функционировании коллективных идентичностей. Второе ограничение связано с проявившейся в 1990-е – начале 2000-х годов тенденцией избыточной «информатизации» идентификационных структур, их перемещения исключительно в дискурсивное поле. Идентичность в такой интерпретации – только лишь производная соответствующего дискурса, его смысловой и психоэмоциональный продукт, а не отражение длительной исторической эволюции социальных практик.

*Новый – четвертый – этап* в развитии дискурса идентичности начался на рубеже второго и третьего тысячелетий и может быть охарактеризован как *фрагментационно-синтезный*. Такая противоречивая формула его описания вытекает из следующего факта: резкий рост идентитарных исследований в различных областях социогуманитарного знания, с одной стороны, открыл *возможности синтеза разнообразных, ранее автономных по отношению друг к другу, парадигмальных оснований*. Тем не менее, всё более отчетливо проявляет себя и противоположная тенденция – *фрагментация рассматриваемого дискурса* [40; 120; 262; 263]. Ей способствует ситуация, когда целый ряд концепций идентичности постепенно отдаляются от системного осмысления данного феномена, эволюционируя в сторону одномерных, аксиоматических формул - детерминант и противопоставляя себя классическим идентитарным теориям, разработанным в XX столетии.

Исследователи констатируют наступление эпохи «двусмысленных идентичностей» – метафора, которой была предложена Э. Балибаром и И. Валлерстайном [40]. Новая реальность проявляет себя как всепоглощающая ситуация неустойчивого «ускользающего мира», в котором девальвируется социальная определенность и предписанные ролевые функции: *идентичность – константа* заменяется *идентичностью – поиском* [115; 118]. При этом заметим, что речь идёт даже не о субъективном выборе, в рамках которого возможна определенная продолжительная стабильность «я-» и «мы-» статусов, а именно о «постоянстве перемен», провоцирующем кризис ключевых институциональных оснований Модерна: от гендерной самоидентификации и семьи до государства-нации как главного субъекта в системе международных отношений «Вестфальской эры» [262, с. 97-99].

Естественно, что ситуация глобальной неустойчивости, кризис традиционных оснований национального самосознания продуцируют аморфность концептуально-теоретического понимания национально-государственной идентичности в социогуманитарных науках. Но вместе с тем, это сопровождается популяризацией данного понятия в ненаучном публичном дискурсе. Как следствие, происходит его расширение, перенасыщение и, в известной мере, метафоризация [43, с. 181-183].

В ходе данного этапа развития дискурса национально-государственной (национальной) идентичности отдельного внимания заслуживает феномен «разорванной страны», рассматриваемый С. Хантингтоном в рамках концепции «столкновения цивилизаций» [101]. Классифицируя и описывая различные типы макроцивилизаций, он, среди прочих, фиксирует существование особой разновидности государственных образований, в которых отсутствуют критические размежевания по культурно-конфессиональному признаку (что, естественно, не подразумевает их полной однородности), но существуют отчетливые линии раскола по линии «политическая элита – социум». То есть, «разорванная

страна...имеет у себя одну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но ее лидеры стремятся к другой цивилизации. Они как бы говорят: «мы один народ и все вместе принадлежим к одному месту, но мы хотим это место изменить». В отличие от людей из расколотых стран люди из разорванных стран соглашаются с тем, кто они, но не соглашаются с тем, какую цивилизацию считать своей» [101, с. 209].

К «разорванным» государствам, согласно С. Хантингтону, относятся, в том числе, Турция, Мексика, Россия. По мнению ученого, такая ситуация имеет, как правило, весьма глубокие исторические корни, но усиливается в результате глобального кризиса идентичности, разразившегося после окончания «Холодной войны» [101, с. 204-207]. Причем важно заметить, что ценностно-политические основания такого отчуждения абсолютно типичны: западно-центричные устремления правящего слоя, стремящегося к интеграции (в той или иной мере) в структуре «глобального мира» наталкиваются на как минимум психологическое отторжение (или латентное политическое противодействие) со стороны большей части общества [39; 101].

По нашему мнению, указанный феномен представляет особый интерес именно в контексте формирования российской национально-государственной идентичности в 1990-е годы, поскольку наличие такого властно-общественного размежевания не только резко снижает эффективность государственной политики идентичности, но и продуцирует рост социального недоверия, затрудняет формирование целостного и позитивного образа «нас» в политическом сознании граждан.

То есть, мы можем наблюдать амбивалентный и, отчасти, внутренне алогичный процесс: расширение возможностей парадигмального синтеза в рамках идентитарных исследований сопровождается фрагментацией соответствующего научного дискурса на уровне отдельных теорий и концепций, ситуацией, когда под «идентичностью» подразумеваются слабо связанные между собой явления. В такой ситуации изучение того или иного

типа идентичности становится в большей мере субъективно-детерминированным, зависящем от изначальной научной диспозиции отдельного исследователя или локальной традиции, оформившейся в конкретном научном сообществе. Однако следует признать, что на сегодняшний день, в условиях роста подвижности индивидуализированных паттернов самоидентификации, остро стоит вопрос если не о разрушении, то, по крайней мере, и о кризисных тенденциях функционирования базовых политических институтов уже эпохи Модерна. Указанные трансформационные особенности дискурсивного пространства идентичности, его эволюции, отражены в таблице 1.

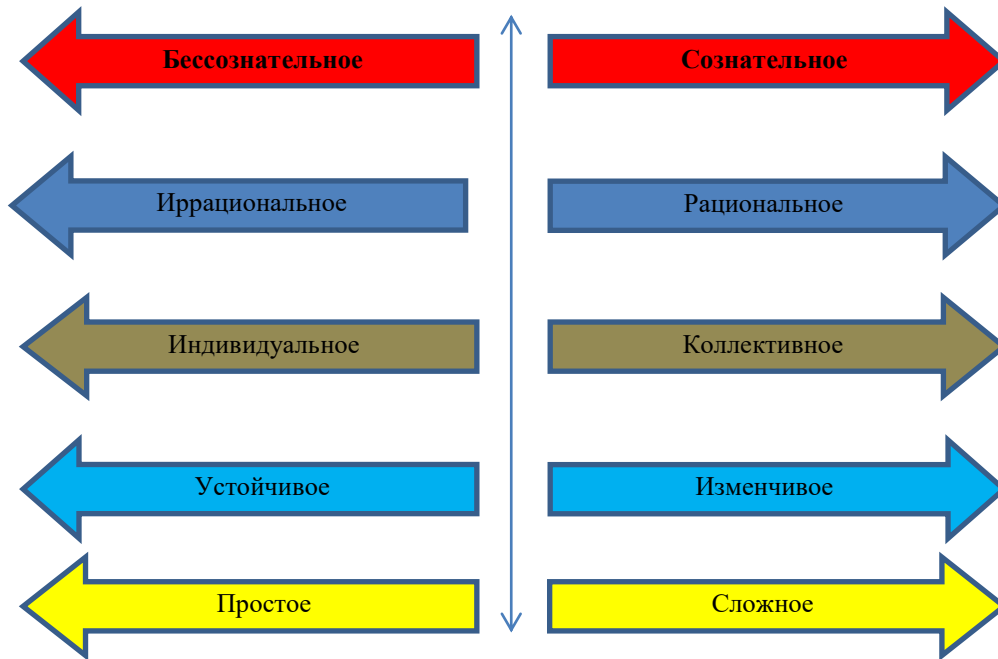
Таблица 1 – Основные этапы формирования дискурса идентичности в социогуманитарном знании

Этап	Темпоральные рамки	Главная дискурсивная тенденция	Содержательный вектор
Формирование предпосылок	До конца XIX века	Зарождение в рамках философского дискурса	Философское осмысление природы индивидуализма и коллективности
Философско-психологический	1890 – 1950-е годы	Кристаллизация дискурса	Параллельное развитие дискурсивных линий аналитической психологии, психологии масс, символического интеракционизма
Структурно-динамический	1960 – 1970-е годы	Парадигмальная инсталляция	Развитие двух концептуальных платформ осмысления идентичности: личностной и социально-ролевой
Социально-коммуникативный (симбиотический)	1980 – 1990-е годы	Парадигмальный симбиоз	Утверждение многофакторных концептов идентичности
Фрагментационно-синтезный	С начала 2000-х годов	Парадигмальный синтез – фрагментация	Эпоха «двусмысленных идентичностей»

Источник: составлено автором.

*Дихотомии дискурса идентичности в социогуманитарном знании XX - начала XXI столетий.*

Суммируя многообразие интерпретаций понятия «идентичность», сложившихся в социогуманитарной традиции XX – начала XXI веков, можно выделить пять основополагающих дихотомий, показанных на рисунке 1.



Источник: составлено автором.

Рисунок 1 – Дихотомии современного дискурса идентичности

В рамках пяти обозначенных критериальных оппозиций происходит научное осмысление и последующее описание феномена идентичности сегодня. Первая дихотомия может быть обозначена как «*бессознательное – сознательное*». Изначально взгляд на процесс идентификации сквозь призму бессознательного утверждается в трудах Г. Лебона [69] и З. Фрейда [97], которые делают акцент на сугубо внутренних, неосознаваемых детерминантах межличностного (мать – ребенок) или коллективного (вождь – толпа) взаимодействия. Но необходимо заметить, что уже на ранних стадиях формирования дискурса идентичности, в рамках психоаналитической традиции происходит своеобразный дрейф в понимании её сложной природы: от интерпретации исключительно в ракурсе

бессознательного – к интегративным биосоциальным подходам. Наиболее четко подобный взгляд обозначен в трудах Э. Эриксона, для которого идентичность – это, главным образом, целостность и непротиворечивость внутренней структуры личности, сбалансированность её когнитивных, психоэмоциональных и поведенческих компонентов [107]. В дальнейшем, благодаря различным теориям структурализма, постструктурализма и культурологическим подходам, на первый план выходит принцип осознания и принятия или, наоборот, отвержения человеком собственного «я в контексте мы» [41; 72; 149; 297].

Дихотомия *«иррациональное – рациональное»* представляется несколько более сложной. С одной стороны, многочисленные социогуманитарные исследования указывают на то, что идентичность имеет выраженную иррациональную составляющую – от архетипического подхода К. Юнга [109] и примордиалистского «чувства крови» до слабо рационализируемого «духа нации» [381]. С другой стороны, общепризнанным является мнение, что в современном мире идентичность как таковая – во многом продукт рационального выбора. Это наглядно демонстрируют политические практики современности, например, миграционные или электоральные процессы.

Дихотомия *«индивидуальное – коллективное»* в понимании идентичности также представляется значимой. Однако в данном случае речь идёт не о противопоставлении, а, скорее, о параллельных методологических диспозициях. Первая характерна для ряда экзистенциально-психологических концепций, вторая – для большинства других социогуманитарных школ и теорий. Идея коллективной идентичности, основанной не только на самом факте социальной интеракции, но и на совместно разделяемых ценностях, интересах, позитивных общественных практиках, берет свое начало в «психологии народов» Г.Лебона [69], императиве социальной солидарности Э. Дюркгейма [62] и окончательно утверждается в трудах Ф.Броделя [50], Дж. Тернера, Г.Тэдджфелла, Р. Брауна [319], Г.Люббе [207] и др. Наиболее

отчетливо разграничивает личностную и коллективную идентичность Э. Эриксона: первая, по его мнению, есть, прежде всего, внутренняя непротиворечивость личности, «тождественность себе», осознание собственной значимости. Вторая – социальная идентичность – согласно Эриксону, представляет собой личностный конструкт, отражающий солидаризацию человека с конкретной общностью [107, с. 218].

Рассматривая проблему сквозь призму *«устойчивое – изменчивое»*, ученые (и «классики идентичности», и современные исследователи) явно склоняются в пользу второго: идентичность интерпретируется как динамический феномен, подверженный трансформациям под влиянием многообразия социальных факторов. При этом современные теории социальной и политической идентичности особо подчеркивают, что такие трансформации носят крайне неравномерный, волнообразный характер [113; 202]. Это, в свою очередь, затрудняет возможность их прогнозирования. Но, разделяя принцип изменчивости в понимании феномена идентичности, конечно, следует учитывать наличие в её структуре и относительно устойчивых элементов (например, таких, как предписанный социальный статус, язык, традиции, религия и т.д.).

Сегодня, как подчеркивает Е.П. Белинская, обращение к проблеме изменчивости (устойчивости) социальной идентичности изобилует «вопросами, не имеющими еще своего однозначного решения. Среди них – вопрос о том, насколько содержание одной социальной идентичности может влиять на актуализацию и содержательные характеристики каких-либо других (социально значимых и персональных) самоопределений человека; проблема субъективной иерархии различных социальных идентичностей, и, соответственно, решение вопроса об их интерференции; вопрос о зависимости субъективной важности тех или иных социальных идентичностей от конкретной ситуации актуализации, а также от особенностей рефлексии человеком своего прошлого и характером ожиданий относительно будущего» [126, с. 3-4].

В рамках оппозиции «простое – сложное» также существуют серьезные теоретические разночтения. Ряд исследователей периодически предпринимают попытки интерпретировать идентичность как одномерный и стабильный во времени результат процесса самоидентификации – финал длительного «поиска идентичности». Но в целом в современной науке доминирует иной подход, рассматривающий идентичность, в особенности в её всевозможных макросоциальных формах, как многомерную структуру – сложный коллективный ответ на вопрос «кто мы?» [102]. Следовательно, именно опираясь на принцип структурной сложности, можно анализировать идентичность как таковую, а также многочисленные её разновидности (в том числе, национально-государственную идентичность).

Представляется важным отметить следующее: осуществляя научный анализ идентичности, включая политологическое исследование национально-государственной самоидентификации, необходимо учитывать ряд принципов. Осознаваемый характер идентичности предполагает *принцип рефлексии*: субъект самоидентификации воспринимает собственную идентичность, вырабатывает определенное психологическое и поведенческое отношение к ней, а также в значительной мере способен корректировать собственную идентичность, соотносясь с различными факторами, как с внутренними мотивами и социальными установками, так и с изменяющейся внешней ситуацией [26].

Принцип *ограниченной рациональности* показывает, что любая идентичность-система возникает как синтез когнитивных, поведенческих и слабо рационализируемых – эмоциональных и стереотипизированных – установок восприятия реальности. Следовательно, различные социальные акторы обладают потенциалом влияния на самоидентификацию отдельного человека или сообщества через разнообразные механизмы социализации, предполагающие воздействие как на когнитивные, так и на эмоциональные элементы «идентификационной матрицы». *Принцип динамизма* позволяет рассматривать идентичность как изменяющееся явление, трансформация



которого обусловлена множеством разнообразных внутренних и внешних факторов, причем, как контекстуальных (социальное самочувствие, политические ожидания, «эмоциональная атмосфера» в обществе, экономические изменения и т.д.), так и более устойчивых социокультурных, таких как традиции, религиозные верования, образ жизни. Особую значимость для дальнейшего изучения национально-государственной идентичности имеет *принцип структурной сложности*, позволяющий интерпретировать её не как одномерное результирующее состояние, а как коллективное самосознание, в основании которого – многомерный и подвижный образ «мы» – рефлексивная совокупность представлений о «нас» в различных проекциях: геополитической, пространственной, социокультурной, лингвистической и т.д.

*Ключевые характеристики дискурса идентичности в начале XXI столетия.*

Анализируя специфику дискурса идентичности в социогуманитарном знании 2000–2010-х годов, следует остановиться на следующих его основных структурных и содержательных характеристиках:

– *насыщенность* (по мнению ряда исследователей – избыточность) *рассматриваемого проблемного поля*. Множество дефиниций, отдельных описательных характеристик, подходов, с одной стороны открывает существенные возможности для выработки целостного, ёмкого и приемлемого в операциональном плане определения национально-государственной идентичности в ракурсе политической науки, а с другой – продуцирует некий «смысловой хаос», преодоление которого представляется одной из важных комплексных задач дальнейшей эволюции научного «дискурса идентичности» в целом;

– *мультидисциплинарность, вариативность подходов и терминологическая подвижность*. На сегодняшний день в социальных и гуманитарных науках не только отсутствуют единое определение

идентичности и вытекающий из него унифицированный терминологический аппарат (что вполне естественно для различных областей социогуманитарного знания, интеллектуальных традиций, связанных с соответствующими парадигмами развития науки), но и доминирует принцип полипарадигмальности. То есть, используются принципиально разные диспозиции научного анализа данного феномена. В результате идентичность описывается как «система» [293], «результат» (самоидентификации, социализация, развития и т.д.) [154], «проект» [115] и т.д.

– *динамичность дискурса идентичности* в современном социогуманитарном знании, на наш взгляд, обусловлена сочетанием трех основных обстоятельств. Во-первых, безусловно, главную роль в этом играет сохраняющаяся (а по ряду оценок – возрастающая) привлекательность идентичности как объекта научных изысканий. Во-вторых, междисциплинарный характер исследований данного феномена, что неизбежно приводит к полифонии интерпретаций и объяснительных концепций. В-третьих, необходимо особо подчеркнуть, что «идентичность» в различных её вариациях, так или иначе связанных с политикой (национальная, государственная, макрополитическая, гражданская, цивилизационная, геополитическая), находится в фокусе внимания не только научного знания, но и устойчивого публицистического интереса. Естественно, что его наличие расширяет пространство интеллектуальных дискуссий, способствует кристаллизации новых, не всегда строгих с научной точки зрения, объяснительных схем.

– *подверженность трансформациям под влиянием современных массмедиа* во многом предопределяет упомянутую выше динамичность проблемного поля идентичности, его неустойчивость, а отсюда – и сложность операционализации термина «национально-государственная идентичность» в рамках современной политической науки. При этом справедливо отметить, что популяризация «идентичности» как смыслового

конструкта (во всех его проекциях: от макрополитической и геоисторической до ситуационного самоопределения отдельного человека) была в значительной мере обусловлена развитием интернет-коммуникации, распространением диалоговых (горизонтальных и диагональных) форматов циркуляции информации в конце XX – начале XXI веков [113; 175; 266].

– *тенденции политизации и идеологического детерминизма* проявляются, когда речь идёт о макросоциальных идентичностях, формирующихся в течение длительного исторического периода и затрагивающих крупные социальные сегменты (цивилизационные, конфессиональные, национальные, этнические, региональные идентичности и т.д.). При этом следует полагать, что политизация идентичностей крупных социальных общностей должна восприниматься как неизбежный и во многом закономерный процесс. С одной стороны, он обусловлен как прагматическими интересами различных политических акторов, так и устоявшейся традицией социальных наук, рассматривающих непрерывную «борьбу за идентичность» – в первую очередь национальную или этническую – в качестве имманентного состояния многих обществ: от архаических догосударственных образований до современности. С другой стороны, попытки рассматривать макросоциальные (включая макрополитические) идентичности исключительно сквозь призму статичных идеологических детерминант неизбежно сужают методологические возможности научного поиска;

– *ценностная направленность дискурса идентичности* в современном социогуманитарном знании проявляется в том, что все социальные и гуманитарные науки, рассматривающие идентичность, обращаются к проблематике ценностей: индивидуальных, коллективных, общенациональных [188; 302]. При этом такой взгляд на проблематику идентичности выглядит несколько упрощенным, особенно, когда в поле зрения ученых попадают макросоциальные идентичности, в силу того, что при декларировании одних и тех же ценностей часто имеет место абберация

заклученных в них смыслов, а также их личностно-обусловленная эмоциональная трактовка;

– *инструментализация дискурса идентичности*: идентичность все более начинает рассматриваться как некий универсальный смысловой конструкт, а priori понятный и способный выступать в качестве одного из объяснительных звеньев более сложных процессов в различных сферах жизнедеятельности человека и общества. Например, в современной российской традиции, когда речь идёт о цивилизационной, геополитической идентичности, сам термин считается многими авторами изначально очевидным: если не синонимичным, то близким по значению таким понятиям и метафорам, как «самосознание», «менталитет», «своеобразие», «особость». Основные содержательные характеристики современного дискурса идентичности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержательные характеристики дискурса идентичности в социогуманитарном знании XX – начала XXI веков

Характеристика	Содержание
<i>Насыщенность</i>	«Полифония» идентичностей: множество дефиниций, концепций и объяснительных схем
<i>Мультидисциплинарность</i>	Идентичность – объект изучения всех социогуманитарных наук, доминирование принципа полипарадигмальности
<i>Динамичность</i>	Расширение пространства интеллектуальных дискуссий вокруг идентичности, активное производство и распространение новых концепций
<i>Подверженность трансформациям под влиянием современных массмедиа</i>	Популяризация идентичности как смыслового конструкта связана с интенсивным развитием различных форматов коммуникации, включая интернет-пространство, в 1990-2010-х годах
<i>Политизация и идеологизация</i>	Двойственный процесс: неизбежность политической составляющей при рассмотрении большинства макросоциальных идентичностей переплетается с искусственными попытками редуцировать рассмотрения данного феномена сквозь призму идеологических установок
<i>Ценностная направленность</i>	Все теории, рассматривающие идентичность, прямо или косвенно обращаются к её ценностному измерению
<i>Инструментализация</i>	Идентичность – понятие, очевидное и необходимое для конструирования объяснительных концепций более высокого уровня

Источник: составлено автором.

*В заключение* параграфа 1.1 можно отметить, что эволюция дискурса идентичности в социогуманитарном знании включала в себя следующие этапы: «нулевой» (до конца XIX столетия), философско-психологический (1890-1950-е годы), структурно-динамический (1960-1970-е годы), социально-коммуникативный (1980-1990-е годы), фрагментарно-синтезный (начало XXI столетия). Проведенное исследование позволяет выделить такие базовые характеристики современного дискурса идентичности, как насыщенность, мультидисциплинарность, динамичность, подверженность трансформациям под влиянием массмедиа, политизация и идеологизация (носящая нередко избыточный характер и приводящая к утрате смыслового потенциала понятия «идентичность»), ценностная направленность и нарастающая инструментализация.

## **1.2 Нация и национализм в предметном поле социально-политических наук**

Следующим важным этапом проводимого исследования является анализ места концепций нации и национализма в предметном поле социально-политического знания. Предваряя указанный анализ, следует сделать две существенные, на наш взгляд, ремарки.

*Первое.* Учитывая большой массив исследований по данной проблематике, акцент будет сделан на отдельные теории, наиболее значимые с точки зрения последующей концептуализации национально-государственной идентичности как объекта изучения современной политической науки.

*Второе.* Политические реалии нового тысячелетия, такие как усиление глобализационных процессов, мировые экономические кризисы, всё более заметный всплеск этнического и регионального самосознания, побуждают сместить фокус исследования в сторону современных объяснительных концепций.

*Ключевые подходы к пониманию феномена нации в социально-политическом знании.*

Проблема комплексного осмысления и терминологической операционализации понятия «нация», связанного с ней идейно-политического течения «национализм», стала особо актуальной во второй половине XX столетия и сохранила свою значимость в начале XXI века. Более того, турбулентная политическая динамика современности, всплеск этнополитических конфликтов в различных макрорегионах планеты, резкая интенсификация транснациональных миграционных процессов, «правый» электоральный поворот в Европе – всё это способствовало «третьей волне» интереса к феноменам нации и национализма.

Так или иначе, можно сказать, что сегодня конструктивистское понимание нации (в различных его вариациях) является наиболее заметным в социально-гуманитарных науках. Однако представляется, что преобладание конструктивизма в современных научных интерпретациях феномена нации не может нивелировать актуальность примордиалистских и прагматических инструменталистских теорий [59, с. 9-11].

Полагаем, что в свете многообразия подходов к рассматриваемой проблеме на сегодняшний день особый интерес представляют работы Э. Геллнера [54], Ю. Хабермаса [282], Б. Андерсона [36], К. Хьюбнера [95], Дж. Армстронга [112], У. Коннора [114], Л. Гринфельд [59].

Не меньшего внимания заслуживают и труды российских авторов, увидевшие свет в 2000-2010-е годы. Так, существенный вклад в систематизацию понимания нации как сложного социально-политического феномена внесли исследования Р.Г. Абдулатипова [34], В.А. Ачкасова [138], В.А. Тишкова [95], В.Ю. Зорина [186].

*Можно отметить, что первая группа теорий нации – примордиалистский подход в его широком понимании – представляет существенный интерес для современного политического знания не только в силу своей временной первичности по отношению к другим научным*

традициям, но и пристального внимания к разнообразным социокультурным импульсам нациогенеза [38; 51; 56; 114; 121]. Разделяя мнение культурно-исторической версии примордиализма о значимости таких факторов, как наличие интегрирующего этнопсихологического ядра, важность эволюционного процесса в становлении нации, необходимо заметить и два момента, вокруг которых сегодня ведутся острые дискуссии.

Первый момент обусловлен феноменом полиэтнических политических сообществ – многосоставных «гражданских наций» – в формировании которых играли крайне существенную роль государство как актор политики идентичности, механизмы политической социализации и ресоциализации человека, стимулирующие (но не предельно детерминирующие) сознательный идентификационный выбор. Второй момент обусловлен вопросом о месте фактора культурно-психологического единства и критериев его верификации в системе координат «*этнос как донациональное сообщество – нация*». По существу, можно наблюдать ситуацию отсутствия какого-либо четко операционализируемого культурно-психологического критерия, на основе которого возможно зафиксировать тот факт, что конкретно-историческая этническая общность достигла определенного уровня психологической консолидации, позволяющего однозначно квалифицировать её именно как нацию. Наиболее очевидный такой критерий находится в принципиально иной, институциональной плоскости, и связан с обретением государственности.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что современная научная традиция наследует из примордиалистских концепций такой немаловажный принцип, как эволюционизм. Как указывает Ю.Хабермас, «*нации изначально являлись сообществами людей одного и того же происхождения, еще не объединившиеся в политическую форму государства, но связанные совместным поселением, общим языком, обычаями и традициями*» [282, с. 365].

Можно полагать, что сегодня позиция, изложенная Ю. Хабермасом, нуждается в некотором уточнении. Во-первых, факт опоры нации на культурную основу представляется очевидным, но не исключает дальнейшей её политической модификации, селекции и усложнения (если речь не идёт об инволюции и, в конечном счете, примитивизации: историческом упадке конкретного политического социума или уничтожении пассионарного импульса нациогенеза внешними силами) – уже в рамках целенаправленного национально-государственного строительства. Во-вторых, в определении Ю. Хабермаса речь идёт *только об изначальном состоянии*, отправной точке дальнейшего внутреннего политического совершенствования (что, в первую очередь, выражается в поиске приемлемых форм институциональной организации социально-властных отношений) и обретения международно-политической субъектности национально-государственного сообщества.

Весьма ярко идеи примордиализма были пересмотрены и подверглись рационализации и, в определенной степени, инструментализации в труде Э. Геллнера «Нации и национализм». Он пишет: «во-первых, два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если их объединяет одна культура... Во-вторых, два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если они признают принадлежность друг друга к этой нации. Иными словами, нации делает человек; нации – это продукт человеческих убеждений, пристрастий и склонностей. Именно взаимное признание такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качества какими бы они ни были...» [54, с. 21].

По нашему мнению, крайне важно, что Э. Геллнер, декларируя дуалистическую культурно-психологическую природу нации, говорит не только об установках личностного самосознания и персонализированных личностных «убеждениях, пристрастиях и склонностях», но и разделяемых традициях, фундаментальном значении общих социокультурных оснований [54, с. 22]. То есть, отсутствие такого фундамента делает расплывчатой и во многом эфемерной личностную составляющую, сводя её



к неустойчивой и потенциально внутренне конфликтной – симулятивной – форме самоидентификации.

Известным выходом из противоречия между нацией как культурной общностью и нацией – государственно-политическим образованием является подход К. Хьюбнера и его последователей, которые разграничивают государственную нацию, культурную нацию и субнацию [105]. При этом культурная нация в понимании этих исследователей близка к «этносу» и «нации» в советской стадияльно-примордиалистской её трактовке. А «государственная нация» оказывается своеобразной «нацией наций», не лишенной генетических ценностно-психологических оснований, но конституируемой посредством института государства [105]. Гражданская принадлежность в этом случае также рассматривается не как формальный атрибут, а сквозь призму совместной идентичности, *конструирование и воспроизводство* которой становится приоритетом государственной политики.

Таким образом, *оформление второй – конструктивистской–парадигмы научного анализа феномена нации* связано с широким спектром исследований, среди которых наибольшую популярность первоначально обрели работы Б. Андерсона [36], позже – Э. Хобсбаума [104], К. Калхуна [65] и других авторов. Так, весьма радикальной субъектно-психологической логики в трактовке нации придерживается Б. Андерсон, формулируя концепцию воображаемых сообществ. По его мнению, такая социальная общность «воображенная» (*de facto* – представляемая в сознании человека), поскольку все ее члены лично не взаимосвязаны, не имеют персонифицированных представлений друг о друге, а оперируют исключительно некоторым «образом общности», который подвержен неизбежной редукции (то есть, частности и второстепенные детали в нём утрачивают свою значимость). Этот конструкт, как правило, эмоционально окрашен и фактически вбирает в себя разнообразные проекции: от макрополитической, репрезентацией которой выступает «мы – государство»

как субъект политики, до повседневно-бытовой, часто опирающейся на широко распространенные в обществе стереотипы [36, с. 47].

Развивая тему нации и национализма, Б. Андерсон говорит о трех исследовательских «парадоксах». Первый – это противоречие между «объективной современностью» нации как предмета изучения историков и её «субъективной древностью» в представлениях практически мыслящих националистов. Второй парадокс состоит в том, что универсальность национальности как «социокультурного понятия» соседствует с партикулярностью её форм и конкретизированных проявлений. Суть третьего парадокса заключена в следующем: сила национализма как политической доктрины уживается с его «философской нищетой и внутренней несогласованностью» [36, с. 45-46].

По нашему мнению, безусловно, сильными сторонами концепции «воображаемых сообществ», важными с точки зрения дальнейшего изучения феномена национально-государственной идентичности, являются:

– акцент на дульный синтез собственно психологической и культурно-исторической составляющих их формирования. Таким образом, национальная идентичность предстает перед нами не как одномерный продукт только лишь субъективной психической деятельности, а как эволюционирующее явление, имеющее ценностно-смысловые «точки опоры» в социокультурной плоскости;

– признание динамизма нации как конструкта, её изменчивости и модифицируемости под влиянием многообразия факторов, различных по своему генезису, и не сводящихся к внутренней, эмоциональной природе человеческого сознания;

– констатация зависимости характера формируемой политической общности и её самосознания от исторической трансформации коммуникативного ландшафта социума, изменение которого выступает драйвером нациогенеза («печатный язык» как механизм формирования современных наций).

Справедливо полагать, что одной из наиболее обсуждаемых сторон концепции «воображаемых сообществ» стало стремление её критиков приписать ей излишнюю психологизаторскую направленность, свести нацию к «образу» и «репрезентации», в которых теряется её генетическое начало, в том числе историческое и цивилизационное своеобразие. При этом также неоправданно увеличивается роль субъективного фактора как основы кристаллизации национальной идентичности. Поэтому, на наш взгляд, сегодня известным методологическим импульсом сдерживания «крайних» форм конструктивизма является систематическое обращение к теориям политического менталитета как устойчивого, наследуемого культурно-психологического базиса общественной эволюции [245].

Безусловно, следует признать, что последователи Б. Андерсона часто гиперболизируют свойство «воображаемости» как центральный момент национального самосознания, вплотную подводя нас к утилитаристским и, по сути, инструменталистским интерпретациям данного явления. В таком случае «нация» оказывается не исторически самоценной, но постоянно или эпизодически «выгодной» правящим элитам для консолидации общества и укрепления собственной политической власти. Исходя из такой логики, чем менее сложным и более однозначным по своему содержанию окажется исходный «материал» для стимулирования воображения (контент, предлагаемый для структуризации образа нации и его закрепления в массовом сознании), тем более жизнеспособным окажется «воображаемое сообщество». Такое видение в чем-то оказывается близким к идее М. Кастельса о сущности проективной идентичности, с той разницей, что идентичность как проект, в его понимании, хотя и инструментальна по своей сути, но не синонимична политико-технологическому продукту [113, с. 8-9].

Важным теоретическим вопросом современной политической науки является соотношение *конструктивистских и инструменталистских подходов* к пониманию нации. Если в советской и, первоначально, в постсоветской традиции этносоциальных исследований превалировал

взгляд, согласно которому они разграничиваются и относительно автономны по отношению друг к другу, то сегодня в политологическом сообществе всё более утверждается мнение, что инструменталистские трактовки нации – есть в большей степени следствие радикализации и избыточной (а иногда и конъюнктурной) политизации положений социального конструктивизма, его редуцированных версий (в рамках которых первоочередную роль играет идея субъективной «самости - воображаемости»).

Не отрицая и сам факт активной политизации, и попытки отдельных исследователей вписаться в соответствующие публично-политические дискурсы, следует всё же отметить, что инструменталистская призма рассмотрения нации как многогранного политического явления сохраняет и фундаментальное значение, и актуальность в свете современных процессов *nation building*. В частности, *историческая политика* в государствах Центрально-Восточной Европы, на постсоветском пространстве (ставшая агрессивной модификацией традиционной для западноевропейских стран «политики памяти») может быть всесторонне переосмыслена только с учетом концептуальных положений инструментализма [14; 155]. Вместе с тем, тезис о том, что «государство создает нацию», а не наоборот, не может восприниматься как некая аксиома, быть универсальным объяснительным принципом, позволяющим свести к минимуму фактор самоорганизации политического сообщества и представить его исключительно в качестве аморфного объекта манипулятивного воздействия со стороны различных субъектов политического управления.

Важно отметить, что среди ученых-политологов по-прежнему серьезные дискуссии вызывает вопрос о соотношении политического сообщества и институтов государственной власти в процессе конструирования нации. Суть его состоит в следующем: в российской научно-политической традиции преобладает акцент на природу нации сквозь призму государства (которое в этом случае и атрибут завершенного её строительства, и главный субъект конструирования), тогда как западные

ученые отводят центральное место процессам гражданской самоорганизации [138, с. 71]. На наш взгляд, следует зафиксировать тот факт, что сегодня речь идёт скорее о *пропорциях участия*, степени влияния государства и социума на процессы строительства нации и генерирования устойчивых императивов национального самосознания.

Таким образом, в рамках современного конструктивистского видения нации можно выделить ряд ключевых моментов, важных с точки зрения дальнейшей концептуализации понятия «национально-государственная идентичность».

Во-первых, говоря о конструктивистском понимании феномена нации, безусловно, следует отказаться от радикальных инструменталистских версий. Нация не может трактоваться моноцентрично: только как результат деятельности политической власти по внедрению установок национальной идентичности в массовое сознание посредством технологий политического манипулирования. И тем более, она не должна представляться как продукт глубоко персонализированного процесса, поскольку «воображаемая нация» не формируется в сознании каждой отдельной личности изолированно от других. Очевидно, что нация-конструкт презентует себя миру не одномоментно, как «большой» геополитический проект, а постепенно вызревает в рамках «времени больших длительностей» – в терминологии Ф. Броделя [50]. Она, таким образом, представляет собой квинтэссенцию долговременного исторического синтеза, ибо традиции, даже «изобретенные», согласно Э. Хобсбауму [104], нуждаются в серьезном темпоральном ресурсе, чтобы обрести понятный и устойчивый межпоколенческий статус.

Во-вторых, нация – а *ргіогі* коммунікативна и, следовательно, имеет общественную природу на основе симбиоза ряда элементов массового сознания [36; 88; 282]. Более того, цифровая трансформация современности позволяет говорить о том, что значимость коммуникативного фактора сегодня, в условиях наступления «эпохи постправды», только

возрастает [266; 268]. Следовательно, политическая коммуникация важна как механизм поддержания жизнеспособности и консолидации национального сообщества, но она не может сама по себе заменить национальную идентичность как таковую, выступить в роли эрзац-государства: стержневого института политического управления, обеспечивающего социальную устойчивость и развитие.

В-третьих, в целом разделяя идею сложности национально-государственного строительства как коэволюционного процесса, в основе которого лежит исторически длительное взаимодействие институтов политической власти и социума, можно согласиться с позицией, что, в конечном счете «нация объединена посредством государства» [79, с. 76]. Более того, «нациогенез – сущность любой идеологии, а не обязательно национализма» [79, с. 76]. То есть, государство – есть главный продукт выработки национального самосознания, его структурно-управленческое и геополитическое оформление. Но в то же время именно институты государственного управления формулируют стратегии, разрабатывают и внедряют инструменты, а также определяют векторы воспроизводства национального самосознания.

Безусловно, идея неотъемлемой сопряженности государства и политической нации неоднократно подвергалась вполне обоснованной критике, прагматическим основанием которой выступал феномен так называемых «наций без государства» (курды, уйгуры, каталонцы и др.), – крупных этносов, обладающих высоким уровнем саморефлексии с точки зрения противопоставления себя «титальной нации». Начало XXI века явило нам целый ряд таких политических сообществ, которые могут быть охарактеризованы как «протонациональные» – либо активно стремящиеся обрести собственную государственность, либо ограничивающиеся высоким уровнем этнорегиональной автономии и отдельными символическими атрибутами государства [263, с. 100].

Обобщая базовые подходы к пониманию нации и их ключевые вариации в таблице 3, можно очертить их методологический потенциал с точки зрения изучения национально-государственной идентичности.

Таблица 3 – Основные парадигмы осмысления нации и их вариации в классическом и современном социально-гуманитарном знании

«Парадигма»	Вариация	Основная идея	Методологический потенциал
Примордиализм	-	Подчеркивает важность «врожденных» особенностей нации	Возможность использования политико-культурного анализа и методов исторической науки
Конструктивизм	Радикально-психологизаторская	Примат психологической функции воображения коммуникации в конструировании нации – нация как дискурс	Возможность использовать анализ дискурсивных практик для выявления особенностей идентичности
	Социокультурная	Культурное конструирование нации – есть многомерный процесс, в котором важную, но не единственную роль играет государство	Возможность синтеза новых концепций на основе сочетания политико-культурного, макроисторического и психологического анализа идентичности.
Инструментализм	Негативная	Политическая нация и гражданский национализм – механизмы подавления этничности	Возможность анализа отдельных психологических механизмов и технологий «продвижения» идентичности
	Позитивная (проективная)	Государство целенаправленно конструирует гражданскую нацию и защищает национальные интересы	Открывает дополнительные возможности для изучения и алгоритмизации «нациестроительства» и государственной политики идентичности

Источник: составлено автором.

*Национализм: многообразие интерпретаций и научных подходов.*

В рамках данного раздела исследования особый интерес представляют два вопроса. Первый – системный – носит теоретический характер и заключается в осмыслении природы национализма *именно* в контексте его взаимосвязи с национальной идентичностью. Иными словами, «что такое национализм?» и «как он связан с национальной идентичностью?» Второй – частный вопрос – лежит не только сугубо в области политической теории, но, отчасти, и в практической плоскости. Он состоит в следующем: оправданно ли использование понятия «российская нация» в современных социогуманитарных науках?

Пожалуй, наиболее заметный вектор интерпретации национализма в политической науке может быть охарактеризован как *негативно-идеологический*. Он опирается на устоявшееся мнение, что национализм во всех его звучаниях и реинтерпретациях – прежде всего, есть идеология превосходства одной (собственной) нации над другими. Распространенность такого понимания в социогуманитарном дискурсе второй половины XX столетия способствовала прочному закреплению негативной коннотации вокруг самого термина и его многочисленных производных («национал-шовинизм», «этнократический национализм», «гражданский национализм» и т.п.).

Однако подобные интерпретации национализма подверглись критике со стороны значительной части научного сообщества. Например, Дж. Бройи указывает, что не находит в идее негативизации национализма какой-либо «аналитической ценности» [148, с. 203]. Э. Смит также противопоставляет формирующийся в течение длительного времени культурный и целенаправленно конструируемый этнополитический национализм, опирающийся на массовые фобии и идеи превосходства «своей» нации над другими, указывая при этом на теоретическую узость попыток рассматривать феномен национализма исключительно сквозь призму негативизации [88, с. 34-35].



Среди многочисленных исследований, в которых предпринимается попытка классифицировать различные подходы к пониманию национализма на относительно строгой критериальной основе, можно отметить *темпорально-функциональный* взгляд Дж. Бройи [148, с. 207], суть которого представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Основные подходы к изучению национализма согласно взглядам Дж. Бройи

Подход	Содержание
Примордиалистский	Национализм – есть проявление слабой, фрагментированной и лишенной институциональной поддержки этнической идентичности, существовавшей еще в догосударственных обществах
Повествовательный	Национализм сквозь призму национальных историй: официальных и неофициальных интерпретаций
Функциональный	Национализм рассматривается как совокупность функций, активизация которых связана, в том числе, с потребностью в коллективной самоидентификации
Современный	Интеграция, синтез, упорядочивание предшествующих подходов

Источник: оставлено автором по материалам [148].

Вместе с тем, анализируя представленную выше классификацию, нетрудно заметить, что первый (примордиалистский) и, в особенности, последний подходы выделяются, исходя из установления темпоральных границ, и являют собой, скорее, попытку обобщения разнообразных концепций и интерпретаций, чем целостные теоретические системы. В свою очередь, повествовательный и функциональный подходы также демонстрируют не содержательную разность трактовок и базовых принципов, а различие стилей описания проявлений национализма в повседневной жизни.

На наш взгляд, среди российских авторов особый интерес представляет классификация национализма на основании источников его происхождения, предложенная Л.М. Дробижевой и её коллегами. Они выделяют следующие классические формы: политический национализм (часто проявляющийся в движениях за независимость), экономический

национализм (связанный с борьбой отдельных этносов за преференции в рамках полиэтнического государства); культурный национализм, защитный национализм. [91, с. 39]. Фиксируя несомненную значимость подхода Л.М. Дробижевой, его востребованность в современных реалиях, необходимо остановиться на специфике такого противоречивого явления, как «защитный национализм». Опыт позднего СССР на рубеже 1980-1990-х годов и ряда постсоветских государств (прежде всего, государств Прибалтики, Грузии, отчасти – Азербайджана) наглядно показал и другие грани трансформации национального самосознания. Первоначально кристаллизуясь как ответ на политическое доминирование центра – условной «Москвы» – и приобретая всё более выраженные националистические черты, оно в последствие достаточно быстро трансформируется в радикально-агрессивные формы.

По нашему мнению, одну из наиболее интересных и эвристически продуктивных классификаций национализма разрабатывает П.В. Осколков. Опираясь критериями «предельной лояльности» и «объекта негативизма», он выделяет следующие пять видов национализма: этнонационализм; гражданский национализм; расизм; цивилизационный национализм; нативизм (объект лояльности – широко понимаемые «свои», объект негативизма – расплывчатые «чужие») [231, с. 112-114]. При этом П.В. Осколков акцентирует внимание на двойственной психолого-идеологической природе рассматриваемого явления. То есть, национализм выступает и продуктом социальной фрустрации (в результате относительной депривации) и порождаемой ей агрессии, и идеологией «с разреженным центром» – важной составляющей в композиции более крупных идеологических и политических систем [231. с. 114].

Соглашаясь с подходом, представленным выше, следует отметить два вытекающих из него дискуссионных вопроса, которые имеют серьезное значение в прикладном измерении. Первый связан с расплывчатым, на наш взгляд, пониманием нативизма как психологического явления. По существу, при таком взгляде объектом отторжения – «чужими» и даже «врагами» –

могут стать случайные субъекты вне зависимости от стратегий их поведения по отношению к «нам» и «нашему» сообществу, а исключительно в контексте эмоциональной и предельно стереотипизированной субъективной оценки действительности. Второй вопрос обусловлен необходимостью понимания степени предельной лояльности в каждом конкретном случае, а также особенностей её согласования с иными ролевыми статусами личности. То есть, характеристика «предельности» в данном случае – признание доминирования одного идентификационного конструкта, но не как не всепоглощающее свойство, способное аннигилировать, впитать в себя или заменить иные идентичности.

Представляется, что достаточно продуктивную исследовательскую схему описания дискурса национализма в его современном состоянии формулирует Н.В. Омелаенко. Она, оценивая популярные подходы к осмыслению данного явления, предлагает следующие принципы анализа национализма: трехмерный взгляд на его природу: доктрина, содержание практической политики и «массовое чувство», указывая на важность разграничения «доминирующих» и «маргинальных» его проявлений и невозможность реализации принципа универсальности в ходе осмысления национализма [230, с. 598-599].

Следует отметить, что о трехмерной природе рассматриваемого явления также подробно писал К. Калхун, выделяя три измерения национализма как «дискурсивной формации»: собственно дискурсивное («производство культурного понимания и риторики»), проективное и «национализм как способ оценки» [65, с. 32-33]. Соглашаясь с изложенным выше взглядом, можно заметить, что концептуализация национализма с учетом современных тенденций его научного осмысления приводит нас к весьма очевидной *трехзвенной структуре*. Первое звено – национализм-идеология (или несколько более узко и прагматично, *национализм как политическая доктрина*) – и по сей день является ключевым в понимании его генезиса. Второе звено – *национализм как политический курс* – является

более расплывчатым, поскольку ставит вопрос практического соотношения идейно-доктринальных взглядов акторов такой политики (как правило, речь идёт о государстве) и их прагматических интересов в конкретных политических ситуациях. То есть, речь идёт о следующем: «национализм» в различных его вариациях может выступать базовой идейной платформой государственной политики, но ни в коей мере не способен заменить её в контексте долгосрочного стратегического управления.

На наш взгляд, в рамках указанных двух направлений серьезное внимание следует уделить такому феномену, как «экономический национализм», который, согласно С. Прайку, должен пониматься как набор «практик создания, поддержки и защиты национальных экономик в контексте мировых рынков» [316, с. 281]. Необходимым условием реализации «экономического национализма» на уровне проводимой политики является, по мнению Т. Накано, «сильное государство», опирающееся на общенациональные интересы и нацию как коллективный субъект политической деятельности [313, с. 211]. При этом заметим, что речь идёт не только о выборе стратегического вектора государственной экономической политики (нацеленного на поддержку внутренних рынков, национальной промышленности и форсированное развитие высокотехнологичных секторов экономики), но и о формировании устойчивого императива доверия в системе координат «власть – общество», предотвращении тотального политико-психологического «отчуждения» правящих элит от социума. В этом смысле можно согласиться с мнением, что экономический национализм в первую очередь затрагивает нацию, её способность к осознанию собственных интересов [315]. В то числе – её самосознание в контексте существующих глобальных вызовов и формирования консолидированного (а не предельно фрагментарного, сегментированного на основе внутриэлитарных и корпоративных интересов) общенационального образа будущего. Указанный момент видится особенно

значимым с точки зрения комплексного анализа потенциала государственной политики конструирования образа будущего в России.

Третье звено – *национализм как «чувство» или доминирующее социально-политическое представление* – на наш взгляд, в наибольшей мере связано с проблемой национальной самоидентификации. Можно полагать, что в процессе поиска социумом, отдельными его сегментами, устойчивой политической идентичности ему отводится двойственная роль. Во-первых, *это диспозиционное предназначение – функция фрейма*, сквозь призму которого отдельные социальные группы или общество в целом выстраивает идентичность негативного типа через оппозицию по отношению к разнообразным «чужим». Во-вторых, национализм выполняет *функцию идейно-политического (когнитивного) оформления* национально-государственной идентичности, её перевода из первоначального состояния аффективной установки (используя терминологию теории социальных представлений) в новую качественную плоскость политической идеологии, характеризующейся определенным набором взаимосвязанных ценностей, стереотипов и разделяемых моделей поведения.

В то же время невозможно игнорировать тот факт, что в современном публично-политическом дискурсе (и в меньшей степени – в современной науке) предпринимаются последовательные попытки расширить понимание национализма, предать ему обобщающий *метаидеологический характер* (сделать тем, что в терминологии Ж.-Ф. Лиотара фигурирует как *метанарратив* [72, с. 9-10]).

Таким образом, на повестке дня и в России, и в европейских странах обозначился вопрос о кросс-идеологической интегративной функции национализма в современных условиях, его способности выступить «идеей идей», минимизирующей этнические, религиозные, социально-экономические противоречия в обществе. Следует отметить, что указанная выше тенденция расширенной «зонтичной» интерпретации национализма как естественной производной национального самосознания не нова. Она

проявила себя еще в доктринальных практиках различных авторитарных режимов XX столетия, имела как прагматическую инструментальную направленность, так и была призвана обозначить смысловой разрыв с классовыми теориями того времени (интегральный национализм в Испании, новое государство в Португалии, хустисиализм в Аргентине и т.д.). Можно заметить, что в общих чертах публичная и, отчасти, научная «реабилитация» национализма на теоретическом уровне связана с идеей ценностно-мировоззренческого ответа на агрессивные импульсы из вне («гражданский», «защитный», «национального возрождения», «постколониальный» и т.д.). На прагматическом уровне *real politic* она проявляет себя в тезисе о необходимости национально-гражданской консолидации перед угрозой со стороны агрессивных «чужих» – *геополитических* (как, например, в России, где актуальны темы конфликта с «коллективным Западом» и «войн памяти» на постсоветском пространстве) или *этнокультурных* (в европейских странах, где стержневым компонентом идеологии «евронационалистов» стала антимигрантская проблематика).

Безусловно, ситуация, при которой концепт «национализм» характеризуется все нарастающей смысловой полифонией и множественностью позитивных референций (национализм «в хорошем смысле слова»), провоцирует его перемещение из идеологического дискурса политической науки в идентитарный. Иными словами, *национализм-идеология* все более регулярно подменяется *национализмом-самоидентификацией*. И всё же, по нашему мнению, такая подмена выглядит на сегодняшний день несколько искусственной, поскольку:

– национализм, несмотря на претензии на собственную идейно-политическую универсальность (метанарративный характер), так и не превратился в доминирующую матрицу национального сознания, девальвирующую значение всех остальных идеологических систем. Поэтому она не может выступать унифицированной когнитивной репрезентацией идентичности *всего* политического сообщества или подавляющей его части;

– очевидной тенденцией эволюции публично-политического пространств в современном мире является прагматизация националистических доктрин, стремление связать их с конкретными острыми проблемами, которые испытывает национальное политическое сообщество на определенном этапе своего развития (миграция, межрелигиозные противоречия, геополитические вызовы), а не с фундаментальными ценностно-смысловыми основаниями его исторического функционирования и эволюции.

*Нация и этнос в российском социогуманитарном дискурсе: предпосылки компромисса.*

Одной из частных аналитических задач является анализ соотношения понятий «этнос» и «нация», что актуально в рамках российской научной традиции. Как известно, в советском социально-гуманитарном знании сложилась развернутое понимание этноса (преимущественно в его эволюционной примордиалистской трактовке) и нации как стадий развития социальной общности. При этом, начиная с 1960-х годов, именно теория этноса прочно занимала ведущее положение и выступала эвристическим полем соответствующих научных дискуссий [51; 153; 247]. Тем не менее, в постсоветской науке «этнос» с присущим ему набором критериев (включая «самосознание») подвергся серьезной, а подчас и радикальной критике: «что такое «этнос»? Мировая наука этого не знает. Такого слова нет ни в мировых энциклопедиях, ни в мировых словарях, ни в мировом политическом языке...» [367].

Представляется, что обозначенное выше противоречие, заключенное в правомерности использования самого термина «этнос», всё же не приобрело радикально острого характера по трем причинам. Первая состоит в том, что в публично-политическом дискурсе (как и в повседневных коммуникативных практиках) в качестве смысловой квинтэссенции двух указанных понятий активно употребляется слово «народ» и его ситуативные

аналоги-эвфемизмы: «население» (если речь идёт об экономической географии и демографии), «этническая группа», «народонаселение».

Вторая причина обусловлена следующим: еще в советской традиции общественных наук вопрос различий в системе координат «этнос – нация» был проработан достаточно глубоко даже в рамках стадияльного понимания последней (то есть, нация, если её существование все же теоретически предполагалось, подразумевалась как некая высшая стадия вызревания этноса и этничности).

Третья и, как нам представляется, главная причина заключена в том, что во второй половине XX века в отечественной этнологии и этнополитологии сложились базовые критериальные схемы, позволяющие различать этнос и нацию [153; 247]. Тот факт, что указанные схемы не носят унифицированного характера и, как правило, не постулируют универсализм в качестве своего методологического императива, подчеркивает только незавершенный и динамический характер научного поиска в области данной проблемы, но не как не избыточность терминологического поля, необходимость отказа от «этноса» или «нации» как понятия политической науки.

Следует заметить, что в рассматриваемом контексте серьезный интерес представляют дискуссии о правомерности употребления такого термина, как «российская нация». Если в публичном дискурсе 1990 – начала 2000-х годов он использовался редко и занимал в целом маргинальное положение (что объяснялось постсоветским кризисом идентичности и фактическим отсутствием в Российской Федерации самой «нации» как политического явления, речь шла о «многонациональном народе» [1] и «россиянах» как собирательном семантическом клише), то с середины 2000-х годов ситуация меняется. Идеологема «российской нации» начинает привлекать всё большее внимание научного сообщества и, так или иначе, проявляет себя в публичном дискурсе власти (не напрямую, а, например, в отдельных символических действиях, таких как национальные проекты,



премия Президента России «за вклад в укрепление единства российской нации», учрежденная в 2016 году [11], и т.д.). Таким образом, сегодня, несмотря на резкую критику и попытки противодействия со стороны ряда радикальных представителей этнократических кругов, можно зафиксировать тот факт, что понятие «российская нация» начинает закрепляться в публично-политическом дискурсе и поэтапно входит в активный научный оборот.

*В заключение параграфа 1.2 можно сделать вывод, что с точки зрения концептуализации национально-государственной идентичности наибольшую теоретико-методологическую ценность представляет конструктивистское понимание нации как политической общности. Однако при этом речь идёт о многомерном культурно-ориентированном конструировании, а не об исключительно вертикальном воздействии государства на социум. Диагностируя точки соприкосновения национализма и национально-государственной идентичности, можно заметить, что пересечение данных явлений возможно, главным образом, в плоскости понимания первого как эмоционального состояния (массово испытываемого и внутренне регенерируемого «чувства»). В таком случае национализм выступает результатом активации психоэмоционального потенциала, заложенного в национально-государственной идентичности.*

### **1.3 Национально-государственная идентичность: проблема интерпретации в политической науке**

Проблема терминологической операционализации национально-государственной идентичности напрямую связана с определенной методологической диспозицией, вытекающей, в свою очередь, из выбора соответствующего теоретического подхода к понятию «нация». Как было отмечено в параграфе 1.2 наиболее теоретически проработанным в рамках мировой политической традиции и продуктивным с точки зрения

дальнейшей эволюции российского «дискурса идентичности» является концепт политической нации.

На наш взгляд, в среде российских политологов наиболее ёмко (и в какой-то степени безапелляционно) содержание данного концепта выразил В.А. Тишков. Согласно его мнению, нация представляет собой не что иное, как политическое сообщество, консолидация которого обеспечивается не этническими основаниями, а «более значимыми» связями – территориальными, экономическими, психологическими и политическими [95, с. 42-43]. Соглашаясь с таким взглядом и, в то же время, признавая значимость этнокультурной составляющей, следует констатировать, что именно политическая интеграция (в которой определяющей является роль государства), гражданственность, общность коллективных смыслов и сопутствующих им макрополитических представлений являются теми стержневыми конструктами, на которые опирается национально-государственная идентичность.

*Национально-государственная идентичность: дискурсивные линии интерпретации.*

Сама традиция активного использования термина «национально-государственная идентичность» в российской политической науке относительно нова и восходит к работам конца 2000-х - начала 2010-х годов политико-психологической школы МГУ имени М.В. Ломоносова во главе с Т.В. Евгеньевой [173; 174; 176; 177]. В данном случае необходимо сделать существенную ремарку и отметить, что близкие терминологические конструкции – национальная идентичность, государственно-гражданская идентичность, геополитическая идентичность и т.д. – стали употребляться намного раньше и также представляют несомненный интерес для исследователей. Так, в этот же период О.Ю. Малиновой и её коллегами в российский политологический дискурс был введен термин «макрополитическая идентичность» [209; 210]. Не меньшего внимания в

контексте концептуализации рассматриваемого понятия заслуживают и труды, в которых речь идёт о «российской» и «общероссийской» идентичности [158; 187].

По нашему мнению, ходе анализа многообразия терминов и описательных характеристик, представленных в рамках дискурса национально-государственной (национальной, гражданско-политической) идентичности, можно выделить пять генерализованных и взаимосвязанных подходов (дискурсивных линий), ключевыми критериями дифференциации которых являются:

– *характер генезиса нации* как политического явления (*замкнутый*, статичный – имманентное чувство и его актуализация; *вертикальный* – продукт государственного нациестроительства; *горизонтальный* – продукт конструирования «снизу»; *диагональный* – продукт совместного общественно-государственного конструирования);

– *оценка роли государства* в процессе кристаллизации идентичности (*системообразующая* – *навигационная* – *вторичная*).

*Первая* и наиболее ранняя – *ценностно-эмоциональная* – линия базируется на западной историко-философской традиции и ставит в центр внимания идеи вызревания именно ценностной составляющей обществ, политической интеграции «снизу», на уровне общности самосознания, чувства солидарности, эмоционально окрашенной политической картины мира, разделяемой большинством граждан [62; 381]. Данный взгляд отчасти близок примордиалистскому пониманию нации (хотя и не тождественен ему) и весьма вариативен, поскольку может видоизменяться от трансцендентальных, аморфных по своему содержанию концептов («душа народов» и т.п.) до вполне рационализируемых идей осознанной социальной солидарности и разделяемой гражданской ответственности за общенациональное будущее, проявляемой на поведенческом уровне (например, в форме активного участия в выборах и низкого уровня электорального абсентеизма граждан). Роль государства в данном случае

может быть описана, скорее, как вторичная. Оно – не обязательно лишь «ночной сторож», функционирующий в жестко очерченных границах идеологии *laissez faire*, и «поставщик услуг», но всё же, *институциональная и функциональная производная* от нации и национальной идентичности.

Существенные методологические ограничения данного подхода связаны с неизбежными избыточными психологизаторскими (национальная идентичность как «чувство», имманентное психоэмоциональное состояние) и символизаторскими (поиск некоего «сверхсобытия» – общего «триумфа» или общенациональной «трагедии» – пробудившего национальное самосознание) тенденциями [37; 381]. Второй тренд – избыточная символизация – и сегодня активно эксплуатируется большинством государств в рамках национальной *политики памяти или исторической политики*, где центральное место в официальном историческом нарративе часто занимают мифы об «отце-основателе» и «судьбоносном событии». Последнее при этом, как правило, носит военный характер. Так, С. Хантингтон, затрагивая вопрос становления национальных государств в Европе, отмечает: «войны также сделали неизбежным формирование национального сознания у жителей новообразованных государств» [102, с. 18].

С политологической точки зрения наиболее эвристически значимой представляется та составляющая рассматриваемого подхода (дискурсивной линии), которая ориентирована на выработку и внедрение в массовое сознание системы политических ценностей. Сегодня она успешно используется целым рядом исследователей для анализа различных типов самоидентификации, в том числе, национальной, национально-государственной и цивилизационной [64; 188; 194; 286].

Очевидно, что акцент на некоторой совокупности ценностей («центральных диспозиций» – в терминологии Г. Олпорта [111]) и вытекающих из них императивов политического бытия (а также связанной с ним саморефлексии национальной общности) подводят нас к пониманию национально-государственной идентичности *как особой формы*

*макросоциального самосознания, а, следовательно, к попыткам осмысления идентичности в политико-психологическом ракурсе.*

Таким образом, именно *вторая, политико-психологическая линия* (подход) определения такого явления, как национально-государственная идентичность, представляется одной из наиболее продуктивных как с концептуально-теоретической точки зрения, так и сквозь призму инструментального арсенала прикладного изучения когнитивных, психоэмоциональных и символических паттернов политической самоидентификации социума. Более того, ее симбиотический характер позволяет не только сформулировать развернутое и обладающее внутренним аналитическим потенциалом определение, но и вплотную подойти к вопросу о структурных элементах идентичности. Это обусловлено хотя бы тем, что именно в рамках политико-психологического направления осуществляется переход *от одномерного понимания к многомерным форматам: от идентичности – состояния или идентичности – связи (сознательной, как у Дж. Тернера, или неосознаваемой, как, например, у З. Фрейда) к идентичности-структуре.*

Сегодня политико-психологическая линия в интерпретации феномена национально-государственной идентичности опирается на две базовые теоретические платформы: *концепции социальных представлений и коллективного образа.*

Теории образов и картины мира («образ мира» – А.Н. Леонтьев [204], «образ страны» – Е.Б. Шестопал [291], «политическая картина мира» – И.В. Самаркина [87] и др.) исходят из того факта, что в основании поиска любой макросоциальной идентичности помещен интегративный образ «нас», который актуализируется через механизм конструирования образов разнообразных «других»: антропологических, лингвистических, конфессиональных этнокультурных, геополитических. «Другие» важны, поскольку «люди формируют ощущение национальной идентичности в сражениях за дифференциацию с теми, кто говорит на другом языке,

исповедует другую религию, хранит другие традиции или просто живет на другой территории» [102, с.61].

Теория социальных представлений кристаллизовалась в работах западной школы: С. Московичи, М. Заваллони [312], Ж.-К. Абрика [294], В. Вагнера [320], Д. Жоделе [308] и др., а затем и российских исследователей (Т.П. Емельяновой [63], И.Б. Бовиной [144], Л.А. Паутовой [234] и др.). Согласно Л.А. Паутовой, социальные представления – это «особая форма социального знания, возникающая в результате соотнесения индивидуального и коллективного сознания с реальностью и одновременно являющаяся важным фактором социального конструирования реальности» [234, с. 33]. При этом специфической разновидностью социального представления является представление политическое. А.В. Селезнева, анализируя массовые представления различных политических поколений в постсоветской России, отмечает, что в основе формирования национально-государственной идентичности находятся социально-политические представления о «золотом веке», «друзьях» и «врагах» конкретной политической общности [251, с. 152-153].

На наш взгляд, предельно конкретную дефиницию национальной идентичности, соприкасающуюся с концепцией социальных представлений, формулирует В.А. Тишков. Он трактует национальную идентичность не как абстрактный результирующий продукт симбиоза разнообразных социальных фрагментов и практик, а именно как *«общеразделяемое представление граждан о своей стране, ее народе и как чувство принадлежности к ним»* [274, с. 28].

Однако следует констатировать, что при всей своей глубине и научной проработанности политико-психологический взгляд на национально-государственную идентичность, её определение, всё же не является исчерпывающим. Это обусловлено следующим обстоятельством: иногда предпринимаются попытки (как представляется, искусственно) поместить в психологический дискурс или, более того, последовательно

игнорировать социокультурные и политико-управленческие компоненты трансформации массового сознания. В обоих случаях на периферии научного внимания оказываются и государственная политика идентичности в целом, и конкретные политические механизмы, используемые правящими элитами для конструирования и воспроизводства ключевых элементов общенациональной самоидентификации. Поэтому наиболее оправданным с точки зрения интерпретации и последующего изучения особенностей формирования национально-государственной идентичности выглядит поиск *приемлемой синтезной оптики*, способной интегрировать возможности не только политико-психологической традиции, но и иных направлений: конструктивизма, современных теорий коммуникации и постструктурализма.

*Третья дискурсивная линия*, также заслуживающая особого внимания ученых-политологов, может быть охарактеризована как *государственно-гражданская*. В её основе находится императив гражданственности как субъективного психоэмоционального статуса по поводу гражданства. Связь или, наоборот, отстройка от гражданственности является отправной точкой политологического осмысления национально-государственной идентичности. В таком разрезе она выступает как *государственно-политический конструкт*, противопоставляемый «конструируемому снизу» этнокультурному сообществу или, по крайней мере, существенно отличающийся от него.

Пример такой оптики в рамках разграничения понятий «этнонациональная» и «государственная» идентичность приводит С.П. Перегудов. Он пишет о роли государственной (гражданской) идентичности следующее: «ее главное «назначение» – идейно-политическое сплочение всего совокупного социума, которое именуется страной или государством. Но государством, понимаемым не как институт, а как государство – территория и государство – сообщество граждан» [236, с. 142]. При этом далее следует важное, на наш взгляд, пояснение: «для государств-наций ...оба эти измерения – этнонациональное

и государственно-политическое, как правило, совпадают, или, точнее, дополняют друг друга, а чаще всего составляют единое целое. Однако для многонациональных, полиэтнических сообществ, каковым является Россия, эти два типа идентичностей могут где-то совпадать, накладываться один на другой, а могут и не совпадать и даже вступать в противоречие друг с другом» [236, с. 142-143].

Справедливо полагать, что взгляд на идентичность сквозь призму гражданственности, выражающийся в концептуальной проработке понятия «национально-гражданская идентичность» [137; 169], открывает широкие возможности дальнейшего научного поиска, позволяет рассмотреть вопрос о «позитивной совместимости» гражданского и этнического типа самоидентификации, поскольку «проблема совместимости национально-государственной и этнической идентичности, их динамика актуальна не только в России. Особая важность ее для нашей страны связана с переживаемым историческим этапом» [169, с. 215].

Однако следует оговориться, что понимание национально-государственной идентичности как исключительно гражданской, состоящей не в самом факте наличия гражданства, а в доминировании партисипативной политической культуры, всё же выглядит редуцированным, поскольку самоидентификация с нацией и государством неизбежно предполагает присутствие и патерналистских установок, власть-ориентированную конформистскую модель поведения части общества (в различных странах). Это позволяет, следуя традиции научной школы Л.М. Дробижевой, обозначить на данном этапе исследования контуры как минимум двух моделей (разновидностей) национально-государственной идентичности: *национально-гражданской* и *государственно-национальной*. В первом случае стержневым является «горизонтальное» чувство социальной солидарности и готовность к участию в политическом процессе; во втором – акцент на власть и выстраиваемую ею управленческую вертикаль в качестве системообразующего субъекта-интегратора политического сообщества.



В ракурсе комплексного изучения национально-государственной идентичности необходимо также обратиться к метафоре «гражданской религии», популярность которой в рамках политической науки XX столетия была обусловлена попытками осмысления опыта национально-государственного строительства в западных странах, прежде всего США. Согласно мнению Р. Беллы «каждая нация и каждый народ достигает некой формы религиозного самопонимания» [140, с. 64]. При этом «гражданская религия, не только отражает «подлинное понимание трансцендентальной и универсальной» реальности, раскрывающееся в национальном историческом опыте, но и вовлечена в текущие политические процессы [140, с. 175].

Исследователи, анализируя опыт США, тесно связывают гражданскую религию и проблему конституционализма, размышляют о наличии в её структуре не только соответствующих «догматов» (в виде неформальной ценностно обусловленной иерархии нормативно-правовых актов), но и ассимилятивной функции – способности обеспечить симбиоз религиозных и конституционалистских начал массового сознания. Суммируя различные интерпретации данного феномена, В.Р. Легойда говорит о трех подходах. Первый трактует её в качестве «набора сакральных идей, символов и ритуалов» [359]. Второй – как «культ государства, в центре которого находится идея избранности американской нации» [359]. Третий подход рассматривает её как «поверхностный» и, по существу, «квазирелигиозный» конструкт – условный компромисс между традиционными верованиями и гражданской идентичностью [359].

Считаем, что отдельные положения концепции «гражданской религии» представляют интерес в связи с активным присутствием в практиках государственной политики *элемента сакрализации*. В современной России таким единственным и безусловным объектом сакрализации – и государственной, и массовой – является Великая Победа, выступающая символической квинтэссенцией национального триумфа во всех его ипостасях [329; 342]. Но, на наш взгляд, концепция «гражданской

религии» имеет и некоторые существенные ограничения применительно к оценке состояния и трендов конструирования российской национально-государственной идентичности. Они состоят в следующем:

– теоретические разработки в области «гражданской религии» в большей мере заостряют внимание на опыте США XIX – середины XX веков, который не всегда релевантен состоянию массового сознания и задачам политики идентичности в сегодняшней России;

– базовая идея, что каждый народ достигает некоторой религиозной формы самопонимания, выдвинутая Р. Беллой, всё же не может рассматриваться в аксиоматическом ключе, в частности, применительно к современной России. Наличие весомого религиозного компонента в совокупном российском образе «нас», тем не менее, не исключают как его дефицита у значимых сегментов общества (не являющихся приверженцами данной «гражданской религии»), так и присутствия в структуре национально-государственной идентичности иных – более подвижных – элементов (например, образов «значимого другого» или «нашего» пространства);

– важной составляющей «гражданской религии» выступает «конституционный патриотизм», который предполагает безусловное уважение к системообразующим нормативным актам, конституирующим государственность. В российских реалиях такой императив уважения отсутствует, причем, как со стороны общества, так и власти;

– трактовки «гражданской религии» как компромисса «старых» (религиозно-традиционалистских) и «новых» (либеральных или постмодернистских) ценностно-смысловых доминант общества представляются весьма дискуссионными в контексте формирования устойчивой модели национально-государственной идентичности. Последняя, безусловно, предполагает ситуативные компромиссы и моратории, но не может быть выстроена исключительно на них;

– генерирование и распространение «гражданской религии» (в её изначальном понимании) не рассматривается как цель политики государства, даже в контексте вероятного (но далеко не предрешенного) формирования гражданско-политической модели российской идентичности.

*Четвертая дискурсивная линия* интерпретации национально-государственной идентичности, её генетических черт, может быть условно обозначена как *макрополитическая*. Она представляет собой не упорядоченную систему близких по своей сути взглядов и методологических диспозиций, а попытки осмысления данного феномена в контексте разнообразных ракурсов «большой» сверх-национальной самоидентификации: цивилизационного (В.Л. Цымбурский [286], А.Л. Янов [110] и др. ), глобального и геополитического ( Ф. Фукуяма [99], Э. Валлерстайн [53], М.М. Фёдорова [280], И.С. Семененко, В.И. Пантин, В.В. Лапкин [253], З.А. Жаде [126] и др.), политико-символического (О.Ю. Малинова [210], В.Н. Ефремова [180] и др.). То есть, рассматриваемое явление предстаёт в этом случае элементом или производной некоторой более объемной идентификационной структуры, способной быть «знаменателем» по отношению к нему [126; 210; 286]. При этом речь может идти как о конкретных территориально-исторических пространствах (например, ареалы распространения религий, «русский мир» как геокультурное явление), так и о собирательных теоретических концептах (макрополитическая идентичность, «глобалистская идентичность» и т.д.).

Так, О.Ю. Малинова формулирует следующее определение макрополитической идентичности: «данный термин охватывает все основания идентификации рассматриваемого сообщества, присутствующие в публичном дискурсе, позволяя анализировать возникающие между ними смысловые конфликты. В то же время его можно рассматривать в качестве общего знаменателя для понятий, с помощью которых *«российская идентичность»* описывается в научном дискурсе – таких, как *«политическая нация»*, *«гражданско-государственная* (национально-гражданская)

*идентичность*», комбинация «этнического и наднационального (цивилизационного) начал» [210, с. 90-91]. Она также отмечает: понятие «макрополитическая идентичность» указывает на идентификацию с более широким сообществом, которая предполагает наличие солидарности поверх границ, связанных с политическими и идеологическими предпочтениями» [210, с. 90].

Неоспоримым плюсом данного подхода является его комплексность – стремление аккумулировать потенциал социального конструктивизма, теорий коммуникации и социальных обменов, а также современных постструктуралистских и дискурсивных концепций самоидентификации. Однако в данном случае остается открытым принципиальный вопрос не о частностях и внутривидовых разночтениях (национально-государственная идентичность как разновидность и часть какого-то большего геополитического, цивилизационного или религиозного пространства), а о поиске наиболее важных сущностных характеристик изучаемого нами явления. Помимо этого, возможное упрощение макрополитического подхода – стремление связать национальную идентичность с геополитическим и, тем более, «цивилизационным» выбором правящих элит – влечет за собой признаки чрезмерной инструментализации и нивелирование определяющего факта смыслового наполнения массового сознания: тех ценностно-смысловых, символических, психоэмоциональных компонентов, которые и задают качественные параметры и перспективы эволюции национальной идентификационной «матрицы».

*Пятая – политико-конструктивистская – дискурсивная линия* интерпретации национально-государственной идентичности основывается на рассмотренном нами выше *конструктивистском подходе*. Её фундаментальным принципом является положение о возможности конструирования наций как особого типа политических сообществ, имеющих над-этнический характер [36; 38; 105]. При этом важно отметить, что более приемлемой представляется идея многомерного, исторически длительного

конструирования как «сотворчества»: совместной деятельности различных, причем, не только сугубо политических, акторов в рамках создания, поддержания и воспроизводства определенного типа социальной реальности (включая политическую сферу). В этом случае конструирование и последующая трансформация национально-государственной идентичности мыслятся не как некий проект правящих элит, а как симбиотический процесс, включающий в себя «конструирование снизу», на уровне горизонтальных коммуникаций и социальной памяти [38].

Резюмируя в таблице 5 содержание рассмотренных дискурсивных линий интерпретации национально-государственной идентичности, можно представить их следующим образом.

Таблица 5 – Основные дискурсивные линии интерпретации национально-государственной идентичности в политической науке

Дискурсивная линия (подход)	Характер генезиса идентичности	Роль государства	Интерпретация идентичности
<i>Ценностно-эмоциональная</i>	Горизонтальный	Вторичная	Продукт особого психоэмоционального состояния («чувства нации»)
<i>Политико-психологическая</i>	Горизонтальный	Вторичная (навигационная)	Результат трансформации массового сознания, представление о «нас» как политической общности
<i>Государственно-гражданская</i>	Вертикальный	Первичная	Продукт целенаправленной государственной политики по формированию гражданственности
<i>Макрополитическая</i>	Диагональный	Навигационная / вторичная	Разновидность (или производная от) других макро-идентичностей
<i>Политико-конструктивистская</i>	Диагональный	Навигационная	Результат совместной деятельности государства и общества

Источник: составлено автором.

*«Национальная» и «национально-государственная» идентичность: линии (не) совпадения.*

Одним из, несомненно, важных аспектов проводимого исследования является вопрос о разграничении (или совпадении) понятий «национально-государственная идентичность» и «национальная идентичность». На наш взгляд, его значимость обусловлена двумя основными моментами. Первый – связан с терминологической нечеткостью обоих рассматриваемых понятий (о размытости и проблеме операционализации понятия «национально-государственная идентичность» речь шла выше). Второй момент – с доминированием в зарубежной научно-политической литературе термина «национальная идентичность». Кроме того, необходимо подчеркнуть, что преобладание и широкое распространение в начале XXI века в западной политической науке термина «национальная идентичность» периодически интенсифицирует в российском политологическом сообществе дискуссии о целесообразности активного введения в научный оборот схожей терминологической единицы «национально-государственная идентичность». В связи с этим представляется необходимым выделить ряд подходов, хотя и носящих сегодня контурные очертания, но, тем не менее, позволяющих проанализировать соотношение рассматриваемых терминов.

*Первый подход – эквивалентный* – весьма популярен в российских идентитарных исследованиях и опирается на идею совпадения (или крайне близкого смыслового содержания, нивелирующего необходимость терминологического разграничения) указанных понятий [129]. Представляется, что главным методологическим и практическим (с точки зрения политико-публицистического дискурса сегодняшней России) достоинством данного подхода является его логическая завершенность и отсутствие искусственных теоретических ограничений для включения широкого спектра зарубежных работ, посвященных национальной идентичности, в российский идентитарный дискурс.

*Второй подход*, характеризуемый нами как *институциональный*, базируется на признании исключительного места института государства в воспроизводстве национальной идентичности. Большинство исследователей идентичности связывает важность государства с теми основополагающими функциями, которые выполняют государственные институты *политической социализации*, главным образом, системы образования, СМИ, культуры [266]. Сюда же примыкают и формально негосударственные институты, тем не менее, являющиеся объектами государственного регулирования: массмедиа (а не только государственные СМИ, которые также входят в их число), семья, «третий сектор».

На системообразующую роль политической социализации в становлении общенациональной идентичности гражданского типа также указывают целый ряд современных российских исследователей, работающих в концептуальном русле политико-психологического и политико-социологического [181; 250; 256] направлений. Так, известный российский исследователь проблем политической социализации Т.Н. Самсонова уделяет особое внимание роли гражданского воспитания в становлении национально-государственной идентичности. По её мнению, для обеспечения эффективного развития российского общества (например, модернизации, которая была лейтмотивом политической повестки дня в конце 2000-х – начале 2010-х годов) критическое значение имеет именно становление полноценной гражданской модели идентичности [249].

Опираясь на данный подход (учитывающий значимость государства как интегративного института формирования и воспроизводства общенациональной идентичности), представляется оправданным говорить именно о национально-государственной идентичности не только как о синониме *national identity* (обосновывая существование рассматриваемого нами понятия исключительно «трудностями перевода»), но и как о самостоятельном политическом явлении, нуждающемся в соответствующей операционализации.

*Третий подход к соотношению понятий «национальная» и «национально-государственная» идентичность может быть условно определен как культурно-исторический. Он предполагает, что национально-государственная идентичность есть не исключительно продукт общественного развития, кристаллизации определенного типа социального самосознания (образа «нас», менталитета и т.д.), а тесно связана с политико-культурной традицией государственности, вызревания и эволюции различных её исторических моделей в условиях тесного и многогранного цивилизационного (в том числе, межцивилизационного, если речь идёт о государстве-цивилизации) взаимодействия с внешней средой: геополитического, геоэкономического, информационного, технологического, миграционного и т.д.*

Очевидное преимущество данного подхода состоит в признании определяющей роли социокультурного фактора в формировании национально-государственной идентичности, развернутом диахроническом взгляде на проблему: как ретроспективно-историческом, так и в ракурсе конструирования общенационального образа будущего. Помимо этого, он подразумевает и две базовые, по нашему мнению, теоретические диспозиции. Первая заключена в том, что nation в лингвистическом поле западной (и во многом мировой) политической науки всё же автоматически («по умолчанию») включает в себя и «государство». То есть, речь идёт о «государстве-нации» или уже упомянутой «политической нации». Вторая диспозиция состоит в расширенном культурно-ориентированном понимании «государства» не только как «аппарата управления» общественными процессами, совокупности основных институтов, вертикально интегрированных и обладающих определенным, преимущественно формализованным, набором функций [265, с. 48]. Государство в контексте данного подхода – исторически обусловленная форма макрополитической организации социума, проявляющая себя как в сугубо институциональной форме, так и в сфере культурно-исторических практик, в процессе



кристаллизации общенациональной политической картины мира, центральное место в которой занимает образ «нас» [65; 246; 263].

По нашему мнению, именно *третий, культурно-исторический*, взгляд на особенности национально-государственной идентичности, её рассмотрение сквозь призму конкретной политической культуры, является наиболее продуктивным и в контексте развития современной политической науки в целом, и в рамках российской школы идентитарных исследований. В целом специфика трех рассмотренных подходов отражена в таблице 6.

Таблица 6 – Подходы к соотношению понятий «национально-государственная идентичность» и «национальная идентичность» в политической науке

Подход	Содержание
Эквивалентный	Национально-государственная идентичность – синоним национальной идентичности или близкий по смыслу термин
Институционально-ориентированный	Национально-государственная идентичность есть национальная идентичность, поддерживаемая государством через политику идентичности и институты социализации
Культурно-исторический	Национально-государственная идентичность – продукт коэволюции политического сообщества и традиции государственности

Источник: составлено автором.

*Национально-государственная идентичность: определение и теоретические следствия.*

Таким образом, можно заметить, что, несмотря на присутствие термина «национально-государственная идентичность» в современном научном дискурсе, на сегодняшний день отсутствует его развернутое синтезное определение, которое бы раскрывало его с точки зрения генезиса и особенностей внутренней структурной композиции. Недостаточно используется теоретический и методологический потенциал конструктивистского подхода к её комплексному осмыслению. Трактовки национально-государственной идентичности, имеющие место в современной политической науке, во многом носят либо одномерный эмоционально

ориентированный характер («чувство»), либо функционально-инструменталистскую направленность (говоря о том, для чего она нужна и почему её формирование является важным), или ограничиваются выделением отдельных её значимых элементов (образы, символы и т.д.). В известной степени это противоречие снимают современные политико-конструктивистские концепции. Однако и в их рамках не было сформулировано многомерного структурно-психологического понимания идентичности.

В связи с этим, основываясь на рассмотренных выше пяти дискурсивных линиях интерпретации национально-государственной (национальной) идентичности, а также подходах к соотношению данного понятия с «национальной идентичностью», можно сформулировать следующие основные положения *синтезного подхода* к определению и анализу национально-государственной идентичности.

*Во-первых*, очевидно, что наиболее продуктивным в теоретико-методологическом плане выглядит синтез принципов социального конструктивизма, политико-психологических теорий, а также расширенного макрополитического взгляда на национально-государственную идентичность (концепции Б. Андерсона [36], Я. Ассмана [38], М. Кастельса [113], И.С. Семененко [253], О.Ю. Малиновой [209] и других ученых). *Во-вторых*, национально-государственная идентичность в современном мире, вне всякого сомнения, может рассматриваться как полисубъектный и многомерный конструкт. При этом изменение коммуникативного ландшафта современности позволяет активно вмешиваться в процесс конструирования идентичности не только традиционным (государство, СМИ, семья и ближайшее социальное окружение, институты образования), но и новым субъектам. Прежде всего, к ним относятся социальные медиа, функционирующие в интернет-пространстве, а также многочисленные негосударственные структуры: от правозащитных организаций и транснациональных консалтинговых

компаний до неформальных «виртуальных» сообществ в социальных сетях. *В-третьих*, многомерная конфигурация национально-государственной идентичности предполагает сложность её структурной композиции.

Опираясь на приведенные выше положения, можно определить национально-государственную идентичность как *интегративный, многомерный и динамический конструкт – представление о «нас» как о макрополитическом сообществе (как однородном, так и многосоставном), поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности.*

Сформулированное определение нуждается в некоторых пояснениях.

*Первое.* Присутствие в нём «интегративного представления» подчеркивает два ключевых момента. Первый заключен в имманентной психологической природе данного явления как элемента социальной реальности (о чем писал еще Б. Андерсон [36], поскольку «воображаемое сообщество» – в определенной мере продукт психической деятельности индивидуального или коллективного сознания). Второй момент состоит в том, что такое представление носит сложноорганизованный и в каком-то смысле метаструктурный характер, выступает как стержневой «комплекс представлений» о национальной общности.

*Второе.* Признание динамического характера национально-государственной идентичности подчеркивает не только её серьезную подверженность внутренним эволюционным (инволюционным) изменениям, но и подвижность под влиянием более широкого спектра трансформирующих факторов, которые могут иметь различный генезис. В целом необходимо зафиксировать тот факт, что «на сегодняшний день в политической науке не сложилось какого-либо явного понимания «границ трансформации» национально-государственной идентичности: подходы, трактующие идентичность как незыблемую историческую «самость», переплетены с концепциями «утраты» и «потери» идентичности. Последние связаны с пониманием процесса самоидентификации в рефлексивном ключе,

когда на первый план выходит «поиск себя», развернутый и аргументированный, а не номинальный ответ на вопрос «кто мы?» [94, с. 20-21].

Вместе с тем, можно констатировать и другое немаловажное обстоятельство: динамика национальной идентификационной матрицы, безусловно, имеет нелинейный флуктуирующий характер и фактически предопределяет высокую историческую вероятность периодических *масштабных кризисов идентичности и её последующих реконструкций* в обновленном виде. Данное замечание существенно в свете того, что период 1990-х годов характеризуется многими исследователями именно как кризис национально-государственной идентичности в России [93; 160; 172].

*Третье.* Подчеркивается, что речь идёт не только о государстве как о сложноорганизованном политическом институте, но и симбиотической культурно-исторической традиции государственности, под которой подразумевается ретроспективное многообразие моделей и форматов организации политической власти в обществе [65, с. 242]. Причем, по нашему мнению, в процессе поиска приемлемой оптики историко-политического анализа эволюции государственности (включая кризисные её периоды), фундаментальным является выявление смысловой и эмоциональной *специфики конкретных форм взаимодействия «власть – социум»* («вертикаль», «партнерство», гибридный навигационный формат - условная «управляемая демократия», минимальное вмешательство) на различных этапах этого исторического движения.

*К проблеме структурной операционализации национально-государственной идентичности.*

Взаимосвязанные принципы структурной сложности и многомерности национально-государственной идентификационной конфигурации порождают вопросы: *какова структура национально-государственной идентичности* как представления-конструкта? Если речь идёт о

многомерном конструируемом феномене, то каковы *основные измерения* национально-государственной идентичности?

Можно констатировать, что проблема структурной операционализации национально-государственной идентичности разработана недостаточно: среди авторов преобладает *неиерархический, условно «матричный» психологически-ориентированный* взгляд на структуру национально-государственной идентичности.

Например, В.С. Комаровский фиксирует три устойчивых «кластера общих представлений и убеждений: коллективное «мы», значимые другие и историческое прошлое» [193, с. 21]. Несколько иное – *вертикально организованное «инфраструктурно-институциональное»* – видение структуры национальной идентичности предлагает Д.В. Драгунский. Он выделяет инфраструктурный, институциональный, повседневный и вербальный (ментальный) уровни идентичности. Рассматривая каждый из этих уровней применительно к российским практикам, он констатирует: «высокая национальная самооценка не соответствует (или, наоборот, «парадоксально соответствует») слабости её инфраструктурного обеспечения» [344].

По нашему мнению, безусловно, методологически плодотворным является темпоральный подход И.З. Герштейна и М.А. Казакова. Они, опираясь на концепцию культурной памяти и идею «канона» (социокультурного образца, устанавливаемого и ретранслируемого государством) Я. Ассмана [38], рассматривают историческую эволюцию государств как смену традиционалистской, теологической и гражданской моделей идентичности [163, с. 38-41]. Однако представляется, что темпоральный подход к описанию различных моделей национально-государственной идентичности при всей своей эвристической ценности, как правило, игнорирует собственно момент структурного анализа.

То есть, если вести речь о «моделях» самоидентификации как неких матрицах, то возникает вопрос поиска структурных констант – неизменных

«элементов-ячеек», которые наполняются разным смысловым, ценностным и символическим содержанием в зависимости от национального исторического и социокультурного контекста (условно говоря, об «архетипах», но не в юнгианском смысле, а в расширенном историко-культурном их понимании).

На наш взгляд, наиболее детализированную структуру «государственной идентичности» как сложной композиции и продукта соответствующей государственной политики предлагает О.В. Попова. По её мнению, в рамках «матрицы государственной идентичности» выделяются три основных блока-параметра: «образ нашего государства»; образ «мы – граждане» и образ «они». *Первый параметр* – образ «нашего государства» – аккумулирует такие восемь измерений, как «правильные» границы страны; «правильное» время создания государства; символика; эталонный исторический лидер-герой; образ прошлого «нашего» государства; образ будущего и т.д. *Второй параметр* («мы – граждане») включает в себя определенный тип цивилизации; способ обозначения общности и её самоопределение относительно «значимых других». Третий параметр («они») ставит во главу угла доминирующую модель идентификации «других», а также дифференциацию «внешние они – внутренние они» [241, с. 97].

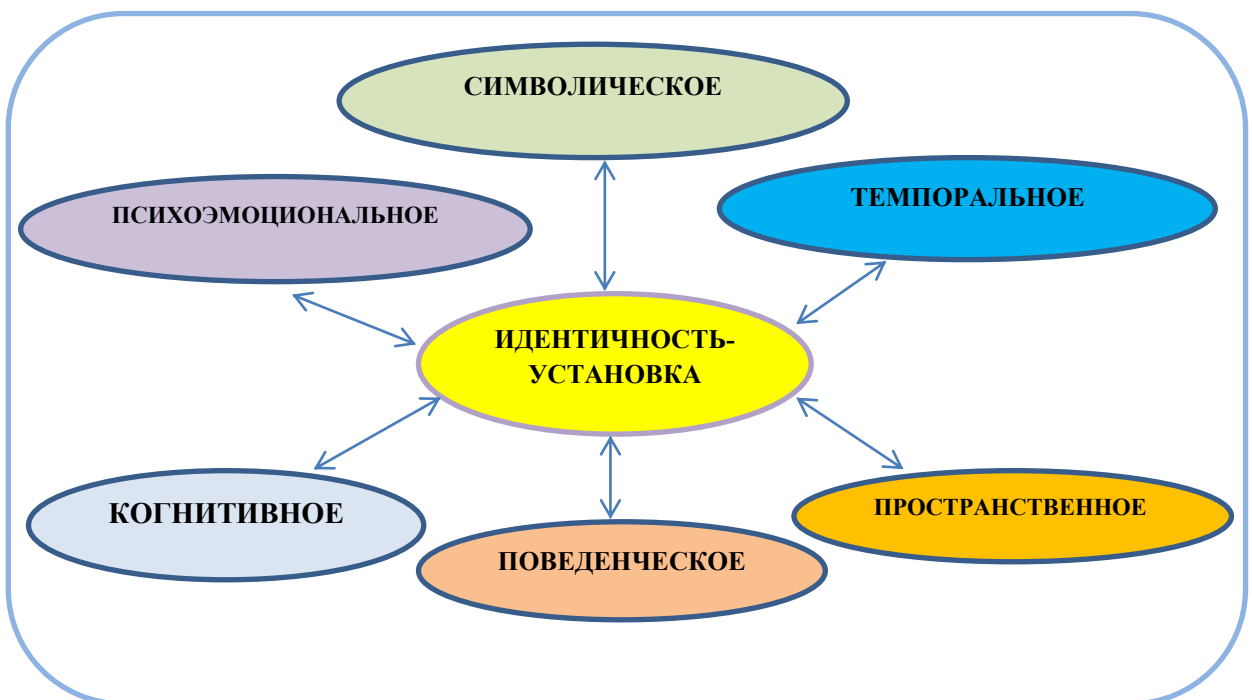
По нашему мнению, указанная модель, хотя и описывает структуру «государственной идентичности», может быть использована и для продуктивного осмысления идентичности более широкого плана – национально-государственной, которая, в свою очередь, интегрирует в себя элементы государственного проектирования, но не сводится к ним исключительно.

В рамках подготовки ряда публикаций, в которых отражены основные результаты данного диссертационного исследования, автором также была выработана структурная композиция национально-государственной идентичности. Она носит иерархический характер и основана на выделении трех базовых уровней идентичности: импринт-уровня, фрейм-уровня и операционального (поведенческого) уровня. Первый вбирает в себя

подсознательный фундамент самоидентификации. Второй уровень обусловлен выстраиванием системы смыслов и оценочно-эмоциональных компонентов национальной самоидентификации. Третий структурный уровень непосредственно связан с инструментальным потенциалом национально-государственной идентичности, адаптивными возможностями её носителей [93].

*Структурные измерения и уровни субъектной репрезентации национально-государственной идентичности.*

На наш взгляд, проведенный выше теоретико-методологический анализ феномена идентичности в целом, а также выработанное понимание концепта *национально-государственной идентичности как многомерной конфигурации* позволяет выделить шесть её структурных измерений, которые нашли свое отражение на рисунке 2.



Источник: составлено автором.

Рисунок 2 – Ключевые измерения национально-государственной идентичности

Функциональные роли указанных измерений национально-государственной идентичности суммированы в таблице 7.

Таблица 7 – Структурные измерения национально-государственной идентичности

Структурное измерение	Функциональная роль
Ценностно-смысловое (когнитивное)	Воспроизводство базовых смыслов, разделяемых национальным политическим сообществом
Психоэмоциональное	Генерирование индивидуальных чувств и массовых убеждений и настроений по поводу собственной национально-государственной принадлежности на основе выработки идентификационных смыслов и их последующей оценки
Пространственное	Формирование вариативного образа «нашего» и «чужого» пространства («чужие здесь не ходят»)
Темпоральное	Формирование вариативного образа «нас» в контексте исторического «времени больших длительностей» («откуда есть пошла русская земля?»)
Символическое	Репрезентация и ре-актуализация ключевых смысловых и психоэмоциональных конструктов идентичности Маркирование «своей» общности в пространственной и темпоральной её проекциях
Поведенческое	Воздействие идентитарных установок и связанных с ними эмоций на модели поведения различных субъектов – носителей идентичности

Источник: составлено автором.

Как известно, общепризнанным в современном социогуманитарном знании, включая политическую науку, является разграничение индивидуальных («Я-уровень») и коллективных («Мы-уровень») идентификационных конструктов. При этом национально-государственная идентичность неизбежно рассматривается как одна из разновидностей – результатов коллективной самоидентификации. Констатация её макрополитического статуса является доминирующей в российском научно-политическом сообществе. Тем не менее, это не снижает актуальности вопроса о ней еще и как *об иерархии*, позволяющей интегрировать идентификационные установки отдельного гражданина и национально-государственной общности в целом, если не напрямую, то через многочисленные групповые (субнациональные) уровни представлений о «нас» и «других» [93; 246].



Обобщая результаты соответствующих исследований, полагаем, что можно выделить *пять базовых уровней её репрезентации*: индивидуализированный, микросоциальный, сегментарный (мезосоциальный, субнациональный), общественный и государственно-политический.

*Первый уровень – индивидуализированный* – отражает преломление национально-государственного идентификационного конструкта сквозь призму личностного восприятия, особенностей социализации человека.

*Второй уровень – микросоциальный* – связан с актуализацией и трансформацией представлений о «нас» и других в конкретных социальных группах, отличающихся разным уровнем интеграции и устойчивости (от территориально оформленных местных сельских и городских сообществ до малочисленных, аморфных и быстро распадающихся групп по интересам в интернет-пространстве).

*Третий – сегментарный – уровень* есть проекция национально-государственной идентичности на политическое сознание различных социальных сегментов, значимых с точки зрения консолидации всего гражданско-политического сообщества (например, миноритарных этнических социумов, отдельных регионов, конфессиональных меньшинств, сторонников определенной политической партии и т.д.).

*Четвертый – общественный – уровень* отражает особенности проявления национально-государственной идентичности в национальном массовом сознании в целом.

*Пятый уровень – государственно-политический* – представляет собой не что иное, как воздействие национально-государственной идентичности на стратегии государственной внутренней и внешней политики, включая самопозиционирование конкретного государства в глобальном информационно-политическом пространстве, стремление занять то или иное место в системе международных отношений.

Базовые характеристики выделенных уровней отражены в таблице 8.

Таблица 8 – Уровни субъектной репрезентации национально-государственной идентичности

Уровень репрезентации	Субъект репрезентации	Проявление репрезентации
Индивидуализированный	Отдельный человек	Поиск баланса между личностным «Я» и национально-государственным «Мы»
Микросоциальный	Группа людей, взаимодействующих в рамках общего «пространства повседневности»	Поиск баланса между микросоциальной «мы-идентичностью» и установками национально-государственной идентификационной матрицы
Сегментарный (субнациональный)	Значимая часть макрополитического сообщества, способная влиять на его устойчивость	Согласование сегментарных установок и вытекающих из них интересов с установками и вектором развития всего сообщества
Сообщественный	Социум как интегративное политическое пространство	Кристаллизация базовых компонентов «матрицы» национальной идентичности в массовом сознании
Государственно-политический	Государство как субъект внутренней и внешней политики	Реализация политического курса с учетом особенностей национально-государственной самоидентификации «социального большинства»

Источник: составлено автором.

Таким образом, в параграфе 1.3 нами было сформулировано следующее определение национально-государственной идентичности: *интегративный, многомерный и динамический конструкт – представление о «нас» как о макрополитическом сообществе (как однородном, так и многосоставном), поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности.*

В рамках предложенного авторского подхода, основанного на понимании национально-государственной идентичности как многомерной конфигурации, было выделено шесть её *структурных измерений*: когнитивное, психоэмоциональное, пространственное, темпоральное, символическое и поведенческое. Проведенный анализ позволил также

зафиксировать *пять уровней субъектной репрезентации национально-государственной идентичности*: индивидуализированный (на уровне политического «Я»), микросоциальный (на уровне «пространств повседневности»), сегментарный (субнациональный), общественный (на уровне нации как гражданско-политического образования) и государственно-политический.

### *Выводы по главе I*

1) Необходимо констатировать, что эволюция дискурса идентичности в социогуманитарном знании включала в себя ряд этапов. «Нулевой» этап (до конца XIX столетия) был связан с попытками переосмысления человеческого «Я» во всех его ипостасях, стремлением выявить его ценностную и психическую природу. *На первом – философско-психологическом – этапе* (1890-1950-е годы) происходило внедрение термина «идентичность» в научный оборот и параллельное развитие таких основополагающих линий формирующегося идентитарного дискурса, как аналитическая психология, психология масс, символический интеракционизм. *На втором, структурно-динамическом этапе* (1960-1970-е годы) происходила концептуализация двух базовых парадигмальных платформ, предопределивших дальнейшее развитие и дуализм дискурса идентичности – личностной (идентичность как эволюционирующее непротиворечивое «Я») и социально-ролевой (идентичность как результат сложного взаимодействия человека и социальной реальности). *На третьем, социально-коммуникативном этапе* (1980-1990-е годы) наблюдался своеобразный парадигмальный симбиоз и усложнение теорий идентичности, а также смещение акцентов научного поиска в сторону многофакторных моделей социальной идентичности.

*Четвертый – фрагментарно-синтезный – этап* эволюции дискурсивного поля идентичности (начало XXI века) характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, продолжается начавшийся в 1990-е годы активный синтез и усложнение парадигмальных

оснований изучения идентичности как сложного феномена. С другой стороны, можно наблюдать расширение терминологических рамок идентичности, что способствует распространению одномерных и редуцированных её трактовок. Таким образом, сегодня идентитарный дискурс, вступив в эпоху «двусмысленных идентичностей», отличается многогранностью, усложнением, и одновременно – неустойчивостью и тенденцией фрагментации.

2) Структуризация дискурсивного поля идентичности, сложившегося в социогуманитарном знании XX – начала XXI веков, может быть осуществлена в рамках следующих ключевых дихотомий (бинарных оппозиций): бессознательное – сознательное, иррациональное – рациональное, индивидуальное – коллективное, устойчивое – изменчивое, простое – сложное. Проведенное исследование позволяет выделить такие базовые характеристики современного дискурса идентичности, как насыщенность, мультидисциплинарность, динамичность, подверженность трансформациям под влиянием массмедиа, политизация и идеологизация (носящая нередко избыточный характер и приводящая к утрате смыслового потенциала понятия «идентичность»), ценностная направленность, инструментализация.

3) Наиболее существенную теоретико-методологическую значимость в контексте концептуализации национально-государственной идентичности представляет конструктивистское понимание нации как политической общности. Однако важно особо отметить, что речь идёт о разнонаправленном культурно-ориентированном конструировании, а не об исключительно вертикальном воздействии государства на социум. Рассматривая точки теоретического соприкосновения национализма и национально-государственной идентичности, можно заметить, что пересечение данных явлений происходит, главным образом, в контексте интерпретации первого как специфического эмоционального состояния – массово испытываемого «чувства». В таком случае национализм выступает результатом активации

психоэмоционального потенциала, заложенного в национально-государственной идентичности. Указанный потенциал может носить как преимущественно позитивный, так и негативный характер, и связан с рефлексией массовым сознанием многомерного образа «нас» в целом или отдельных его составляющих.

4) На основе синтеза положений конструктивистского и политико-психологического подходов, а также макрополитического понимания, нами было дано следующее определение: национально-государственная идентичность – есть *интегративное, многомерное и динамическое представление-конструкт о «нас» как о макрополитическом сообществе (как однородном, так и многосоставном), поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности.*

Понимание национально-государственной идентичности как интегративного конструкта-представления позволяет в дальнейшем анализировать её как систему взаимосвязанных образов – репрезентаций восприятия различных аспектов эволюции национально-государственной общности (исторического, территориального и геополитического, этнорелигиозного, в ракурсе изменчивой системы отношений «власть – общество») на основе определенных политических ценностей и установок, складывающихся в массовом сознании.

5) Многомерность национально-государственной идентичности предполагает возможность выделения в ней ряда ключевых измерений, точка пересечения которых и есть отражение состояния сформированной («обретенной») идентичности. На основе проведенного теоретического анализа нами было выделено шесть ключевых измерений: когнитивное, психоэмоциональное, пространственное, темпоральное, символическое и поведенческое. Представляется, что некоторые из этих измерений – например, психоэмоциональное и поведенческое – являются эластичными и в большей мере подвержены ситуативным изменениям. Они напрямую зависят

как собственно от макрополитического контекста, так и от информационно-психологической и социально-экономической динамики общества. Другие (когнитивное, а, тем более, пространственное и темпоральное) обладают большей резистентностью к влиянию внешних факторов.

б) Следует особо подчеркнуть многоуровневый характер национально-государственной идентичности как конструкта. Проведенный анализ позволил выделить следующие пять уровней её субъектной репрезентации (в зависимости от субъекта – носителя идентичности): индивидуализированный, микросоциальный (на уровне отдельных микрогрупп), сегментарный (поколенческий, этнорегиональный, религиозный и т.д.), общественный (на уровне нации как целостного политического образования) и государственно-политический. Поскольку указанное исследование рассматривает национально-государственную идентичность именно как макрополитический феномен, то в центре его внимания находятся общественный и государственно-политический уровни российской национально-государственной идентичности.

## Глава 2

### Концептуальная модель и дизайн исследования национально-государственной идентичности

В данной главе на основе проведенного выше теоретико-методологического анализа осуществляется разработка и детализация концептуальной модели исследования национально-государственной идентичности.

В параграфе 2.1 *«Методологические рамки и модель изучения национально-государственной идентичности»* акцент сделан на рассмотрении данного явления как сложной структурной композиции, активно взаимодействующей с внешней социально-политической средой и сочетающей в себе многообразие взаимосвязанных массовых образов (с заключенными в них смыслами и символами), политических ценностей и установок. Отдельный аспект проводимого научного поиска – выделение ключевых макрополитических факторов, наиболее существенно влияющих на паттерны национально-государственной самоидентификации российского общества. Также в центре внимания оказывается разработка методики анализа трансформации моделей национально-государственной идентичности, формировавшихся в постсоветской России.

В параграфе 2.2 *«Алгоритм исследования национально-государственной идентичности в структуре политического сознания»* конкретизирована специфика и представлена последовательность изучения национально-государственной идентичности в массовом сознании российских граждан. При этом особый интерес представляют методологические возможности анализа содержания соответствующих образов («мы», «значимые другие», образы власти), символов и темпоральных политических представлений (образов прошлого и будущего). Соответствующий алгоритм исследования, выработанный нами

в рамках данного параграфа, последовательно используется в главе 4 при изучении особенностей трансформации национально-государственной идентичности на различных этапах развития современной России.

Параграф 2.3 «*Специфика изучения государственной политики идентичности*» посвящен рассмотрению методологических оснований *государственной политики идентичности*. В ходе анализа различных теоретико-методологических диспозиций было сформулировано её развернутое определение. Предложена авторская структурная модель государственной политики идентичности и очерчен методологический базис изучения двух её ключевых функциональных направлений, имеющих особую значимость в реалиях сегодняшней России – политики памяти и конструирования образа будущего.

## **2.1 Методологические рамки и модель изучения национально-государственной идентичности**

Следующим этапом проводимого научного исследования является выработка концептуальной модели исследования. Разрабатываемая модель призвана отразить структурную сложность национально-государственной идентичности как макрополитического конструкта, а дизайн – последовательность проводимого научного поиска. Можно констатировать, что наиболее продуктивным в методологическом плане (с точки зрения последующей алгоритмизации национально-государственной идентичности как системно-динамического явления) является симбиоз конструктивистского подхода и политико-психологических теорий. Основополагающее значение *конструктивистского* подхода обусловлено тем, что именно в его рамках идентичность понимается как исторически формирующийся, но изменчивый конструкт-представление, который является продуктом длительной динамики и результатом воздействия (целенаправленного или, например, спонтанного, если речь идёт о семье и её



влиянии на политическое сознание ребенка) различных субъектов политической социализации. То есть, перед нами открывается картина многоуровневого и разнонаправленного (а не механистического властно-политического) конструирования идентификационных элементов – символов, образов, инкорпорирующих в себя ценности и смыслы, и связанных с ними установок. В зарубежной науке элементы данного подхода представлены в трудах Б. Андерсона [36], Я. Ассмана [38], И. Нойманна [76], К. Калхуна [65]. В российской научно-политической традиции основания такого развернутого и полипарадигмального понимания конструирования идентичности были заложены, прежде всего, в работах В.А. Тишкова [95], Л.М. Дробижевой [168], В.Ю. Зорина [185], О.Ю. Малиновой [210], О.В. Поповой [240] и ряда других ученых.

При этом, говоря о возможности такого национально-государственного конструирования, (и, соответственно, о первостепенной функции государства в этом процессе), большинство из указанных авторов полагают, что речь идёт именно о многосоставной нации. Её формирование не предполагает игнорирования и, тем более, искусственного подавления этнического и религиозного разнообразия общества. Наоборот, на первый план выходит генерирование *комплементарных и симбиотических практик* межуровневого взаимодействия этих типов идентичности: национально-государственной гражданского типа, религиозных (на макрорегиональном и сегментарном уровнях, где конфессиональные общества рассматриваются как значимые части социума), региональных (на уровне конкретных территорий).

На наш взгляд, можно особо выделить два следствия данного подхода, актуальные применительно к осмыслению национально-государственной идентичности:

– «Конструирование» интерпретируется как весьма длительный, многовекторный и полисубъектный процесс, тесно связанный с содержанием и динамикой социальной памяти. То есть, его субъектом выступает как

государство (которое играет центральную роль в воспроизводстве национально-государственной идентичности), так и иные социальные акторы. Причем, необходимо говорить как о макрополитических «агентах конструирования», так и о микросоциальном его измерении – разнообразных «пространствах повседневности», в которых протекает первичная и вторичная политическая социализация человека [150; 181].

– Конструирование национально-государственной идентичности (если речь идёт о развернутой символической и смысловой структуре) не предполагает отрицания, или тем более, целенаправленного демонтажа генетических (примордиалистских или историко-культурных) её оснований. По существу, именно опора на существующий в обществе культурный фундамент позволяет полноценно реализовать конструктивистский потенциал различных акторов, участвующих в процессе формирования национально-государственной идентичности.

Важность *второго – политико-психологического – направления* вытекает из необходимости обращения к национально-государственной идентичности, прежде всего, как к элементу массового политического сознания, сложности её внутренней конфигурации [172; 173; 174]. В рамках такого подхода особое место занимают методологическое наследие школы социальных представлений и современные политико-психологические концепции политической идентичности и образов. Именно обращение к аналитическим изысканиям теории социальных представлений позволяют нам рассматривать национально-государственную идентичность как многомерный феномен-представление – *интегративное, динамическое и коммуникативное* [95; 251].

Акцент на принцип интегративности приводит к пониманию идентичности как сложноорганизованной конфигурации, основанной на взаимодействии разнообразных ключевых *социально-политических образов*. Принцип динамизма имеет критическое значение для отказа от одномерных константных интерпретаций (в рамках которых идентичность мыслится как

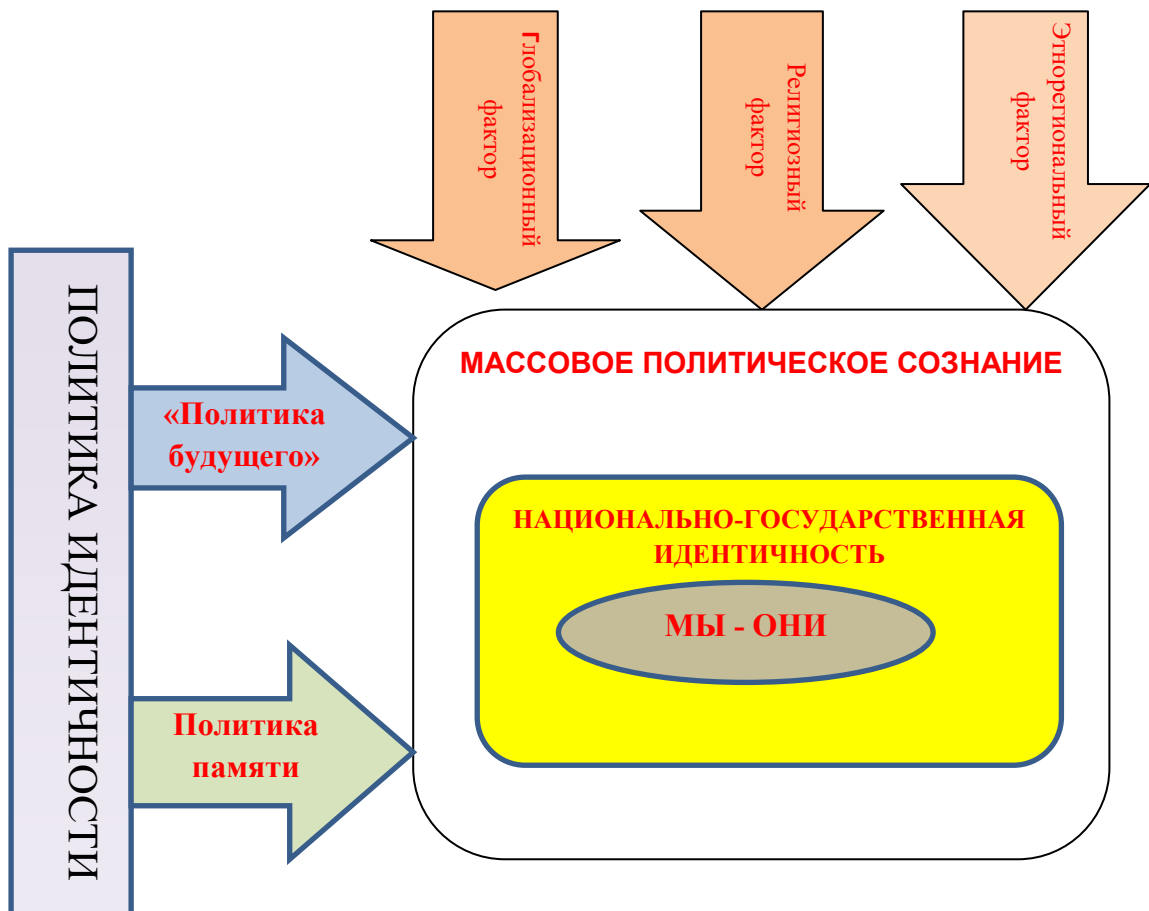
идеология – аксиоматический набор императивов и когнитивных схем, которые необходимо имплантировать в общественное сознание), а также открывает возможность рассмотрения национально-государственной идентичности как изменчивого и трансформирующегося конструкта. Опора на теоретико-методологический потенциал современных политико-психологических исследований (Е.Б. Шестопап [291], Т.В. Евгеньева [173], А.В. Селезнева [251], А.Л. Зверев [182], Т.Н. Пищева [238]) позволяет эффективно структурировать идентичность-представление как сложную, эволюционирующую систему взаимосвязанных элементов политического сознания, выделив в ней ключевые компоненты – образы, символы и установки.

*Третья* составляющая используемого методологического базиса – *современные дискурсивные теории самоидентификации* – важна и в ракурсе понимания идентичности как крайне вариативной, сложносоставной в генетическом плане и активно меняющейся темпорально-пространственной структуры [221; 277]. По нашему мнению, особого внимания заслуживают работы, стремящиеся к комплексному пониманию феномена идентичности за счет преодоления ряда ограничений структурно-функционального, конструктивистского и постструктуралистского подходов. В частности, интерес представляет теория Э. Гидденса, который мыслит идентичность как «самоструктурирующуюся структуру», заключающую в себе функциональную способность воспроизводить определенной «биографический нарратив» [115]. На уровне национально-государственной идентичности «биографией» политической нации выступает целенаправленно конструируемый образ прошлого [115].

Однако следует отметить два нюанса такого субъектно-динамического понимания идентичности, которые всё же требуют дополнительного уточнения. Во-первых, на наш взгляд идентичность, определяемая как изменяющийся конструкт и «рефлексивный проект», всё же не может быть редуцирована исключительно до функциональности – базового системного

качества воспроизводства и ретрансляции некоторой суммы социальных представлений. Она, несомненно, имеет более сложную природу. Во-вторых, общепризнанная важность ретроспективной («биографической») составляющей не отменяет необходимости производства смыслов, ориентированных в будущее.

Опираясь на указанные выше методологические диспозиции, считаем возможным предложить следующую концептуальную модель национально-государственной идентичности. В генерализованном виде эта модель, фиксирующая рамки и приоритетные проблемные ниши проводимого исследования, представлена на рисунке 3.



Источник: составлено автором.

Рисунок 3 – Концептуальная модель национально-государственной идентичности

Представляя указанную исследовательскую модель, следует охарактеризовать наиболее важные её составляющие.

*Во-первых, существенный аспект исследования связан с факторной операционализацией – оценкой характера и валентности макрополитических факторов (позитивное или негативное воздействие), влияющих на трансформационную динамику идентичности. Учитывая многообразие таких факторов, представляется возможным демаркировать два факторных поля: устойчивое долгосрочное и изменчивое контекстуальное (социально-политические контексты). Анализ существующей научной литературы, а также мнений, полученных в ходе авторского экспертного опроса «Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы», позволяет выделить в рамках устойчивого поля три ведущих длительных фактора, воздействующих на формирование и видоизменение российской национально-государственной идентичности: глобализационный, религиозный и этнорегиональный.*

При этом считаем нужным подчеркнуть, что указанные факторы различны по своему генезису, долгосрочности и степени влияния на идентификационную «матрицу» современной России. *Первый – глобализационный – фактор* имеет внешнюю природу и был обусловлен кардинальными изменениями планетарного характера, прежде всего в области информационных технологий и цифровизации социальных процессов, а в дальнейшем – в экономической, политической и культурной сферах [113; 202].

Тем не менее, его воздействие на сознание российских граждан нельзя рассматривать как линейное или, например, только нарастающее. Его характер во многом зависит от преломления глобализационных трендов сквозь *двухслойную политико-психологическую призму*, включающую в себя текущий социально-политический контекст и соответствующие препозиции российского массового восприятия: готовность принимать инновации или скептически относиться к ним; установка впитывать или отвергать условные «западные ценности» и т.д. [181; 291].

Два других фактора – *религиозный и этнорегиональный* – носят преимущественно константный характер для российской цивилизации, детерминированы её политико-исторической траекторией. Но, говоря о детерминированности, следует понимать, что речь идёт, главным образом, о *неизменном присутствии и существенном влиянии* на кристаллизацию национально-государственной идентичности, что а priori произрастает из изначально полиэтнической сущности и многовекового (по крайней мере, с XVI столетия) многоконфессионального облика российской государственности. При этом сила и валентность данного влияния (позитивный – поддержка идентификационных основ многосоставного российского общества VS негативный – запуск кризиса идентичности) серьезно варьировались, в том числе, и в постсоветское время.

Также необходимо принимать во внимание, что рассматриваемые факторы являются структурно *дифференцированными*, то есть, включают в себя ряд факторов «второго порядка». Например, это в полной мере относится к глобализации, которая не может быть сведена к одномерной вестернизации, а предполагает анализ таких ключевых её проявлений, как транснациональная миграция и тотальная цифровая трансформация повседневности [273]. При рассмотрении влияния религиозного фактора на формирование российской национально-государственной идентичности отдельно нуждается в осмыслении роль двух наиболее крупных конфессий России – православия и ислама – в этом процессе. Более сложная панорама вырисовывается при изучении этнорегионального фактора, который с одной стороны, симбиотичен по своей природе (предполагает совмещение этнической и региональной идентичностей), а с другой – крайне вариативен и зависит от специфики конкретного региона. Поэтому в параграфе 3.3 авторский интерес ограничен выделением нескольких основных *моделей взаимодействия* между формирующейся российской национально-государственной и этнорегиональной идентичностью (которые бы градуировались по степени комплементарности к первой).

*Во-вторых*, комплексное политологическое осмысление трансформации российской национально-государственной идентичности включает в себя такой важный момент, как структурный и кросс-темпоральный анализ *государственной политики идентичности*, её доктринальных оснований, инструментов и соответствующих им механизмов, а также оценку уровня её эффективности (в том числе, на основе результатов экспертного опроса). Подробной методологической проработке указанной проблемной ниши посвящен параграф 2.3 данного исследования. Содержательное изучение основных компонентов государственной политики идентичности – политики памяти и конструирования образа будущего – проведено в главе 5 диссертации.

*В-третьих*, отдельный аспект исследования связан с изучением *трансформационной траектории* российской национально-государственной идентичности. Серьезный интерес в рамках данного направления представляют теоретические интерпретации и методологические принципы, представленные в зарубежных трудах по вопросам политической трансформации и модернизации (Р. Инглхарт [117], Т. Карл, Ф. Шмиттер [189], Х. Линц, А. Степан [360], П. Штомпка [292]). Также особое значение имеют изыскания ведущих российских ученых. В центре внимания их работ находится проблематика изменений российской политической культуры, политических институтов и массового сознания в постсоветский период (М.К. Горошков [58], Е.В. Бродовская [147], О.В. Гаман-Голутвина [161], Я.А. Пляйс [239], А.И. Соловьев [257], Л.Г. Бызов [156], В.Я. Гельман [162]).

На наш взгляд, релевантным и продуктивным в рамках данной работы является развернутое понимание политической трансформации, сформулированное Е.В. Бродовской. По её мнению, политическая трансформация – «процесс стадийный ... вбирающий в себя три взаимосвязанных направления: *инновационное* (связанное с созданием новых более эффективных элементов системы), *инерционное* (стабилизирующее,

ограничивающее радикальные преобразования) и *дисфункциональное*», выражающееся в кризисе и распаде структурных и ценностно-смысловых основ предшествующей политической системы [127, с. 21].

При этом следует уделить внимание вопросу о сопряженности эволюции российского массового сознания и проводимой государственной политики идентичности. Как указывает А.И. Соловьёв, массовое сознание «представляет собой агрегированный показатель социально-экономического, политического и культурного развития общества... Оценка его состояния и динамики способна стать если не в полной мере надежным, то удобным измерителем ключевых событий, характера взаимодействия власти и общества, вектора государственной политики» [258, с.187].

Опираясь на представленный выше пласт научно-политических исследований, можно особо выделить такие базовые черты постсоветской политической трансформации (наиболее существенные для понимания логики эволюции национально-государственной идентичности), как:

– *нелинейность и склонность к реверсивным практикам*, нередко носящим неоавторитарный характер, то есть, речь идёт о своеобразном «поставторитарном синдроме», репрезентациями которого могут служить и нивелирование ценности политических свобод, и периодически возникающий гипертрофированный запрос «на сильную руку», и избыточные (превалирующие в некоторых сегментах российского общества) неоимперские реминисценции;

– ориентация на *воспроизводство* устойчивых межпоколенческих фреймов – схематизированных установок восприятия ключевых идентификационных образов: власти, пространства, «других» и т.д. В ряде источников указанные установки нередко именуется «архетипами», «менталитетом» (как правило, с добавлением ценностного компонента), «цивилизационным кодом» (если речь идёт об образах прошлого) и т.д.;

– *полицентричность и многовекторный характер*: состоит в том, что постсоветская социально-политическая трансформация изначально протекала



в ситуации «России разных скоростей» – неравномерного вовлечения в эти процессы различных территорий и сегментов общества, плюралистического пространства политических практик и порождаемых ими смыслов. Это многообразие и вариативность были предопределены широким спектром факторов, в том числе, и кризисом советского типа идентичности, который стал очевиден в конце 1980-х годов, еще до фактического разрушения СССР;

– *ценностная обусловленность* – проявляется в том, что политические ценности и заключенные в них смыслы, безусловно, не предрешают характер трансформации политической системы как таковой (и российской в том числе), но задают диапазон вариаций, в рамках которых возможно выстраивание эффективных политических институтов, прочных и позитивных связей в системе отношений «государство – социум – человек». Здесь важно подчеркнуть, что ценностная платформа, её определяющее значение в трансформации политических институтов и практик не является чем-то эксклюзивным и свойственным только современной России. Однако очевидно, что когда переход к принципиально иному типу политической системы (имевший место после распада СССР) сопровождается фундаментальным ценностно-психологическим кризисом, разрушением идеологических основ и соответствующего им строгого «символического пантеона», а также распадом государства как единого территориально-политического образования, важность ценностного компонента как фактора трансформации серьезно возрастает.

Особенно актуальным указанный аспект представляется в ракурсе изучения проблемы конструирования образа будущего, практическое решение которой предполагает взаимосвязь ценностей, формулируемых государством, ценностных ориентаций отдельных сегментов социума и многообразия индивидуальных ценностей – как политических, так и повседневных прагматических. В данном контексте существенное значение имеют и фундаментальные зарубежные исследования ценностей (работы Ф. Знанецки [123], Ш. Шварца [318], М. Рокича [119]), и научные труды

российских исследователей: В.А. Ядова [90], М.К. Горшкова [58], Г.Г. Дилигенского [166], Е.В. Бродовской [147] и ряда других авторов. Важно, что в указанных исследованиях речь идёт именно об осмыслении ценностного профиля постсоветской политической трансформации, глубоких изменениях установок и смысложизненных ориентаций граждан России в условиях турбулентного политического перехода к принципиально новым форматам институциональной организации российской политической системы.

Можно отметить, что некоторые исследователи, помимо указанных выше черт, выделяют и такую политико-культурную особенность постсоветского транзита, как патернализм и сопутствующий ему *высокий уровень сопротивления инновациям* [205]. Этот феномен, по нашему мнению, в большей степени связан не со всевозможными историко-географическими детерминантами (и «псевдодетерминантами», периодически обсуждаемыми в рамках отечественного идентитарного дискурса) российской политической реальности (сильная центральная власть, большая территория, многовековое крепостное право, многочисленные войны в прошлом и т.п.), а с негативными, не до конца изжитыми последствиями радикальных преобразований 1990-х годов, невысоким уровнем как вертикального институционального, так и повседневного горизонтального доверия в обществе.

Безусловно, проблемные границы данного исследования не предполагают детализации всех значимых особенностей российской политической трансформации, но упомянутые нами аспекты представляются важными именно в рамках осмысления траекторий эволюции *соответствующих моделей* национально-государственной идентичности, которые формировались в Российской Федерации с 1991 года: *кризисно-конфликтной* (1991-2000 гг.); *реставрационно-модернизационной* (2001 – 2013 гг.); *мобилизационно-инерционной* (2014-2021 гг.).

При этом ключевыми *качественными параметрами-оппозициями*, интегративно отражающими специфику каждой из трех выделенных моделей, являются:

– оппозиция *«фрагментация – консолидация»*, отражающая то, является ли формирующаяся модель преимущественно внутренне целостной (систематизированной) или обрывочной, фрагментированной в структурном плане;

– оппозиция *«конфликтность – конвенциональность»*, показывающая, способствует ли указанная модель политическому согласию в обществе или, наоборот, является источником серьезных конфликтов и размежеваний.

Не менее важная исследовательская задача обусловлена необходимостью осмысления национально-государственной идентичности в рамках политического сознания, как его системообразующего компонента, но в то же время внутренне сложного конструкта. Можно констатировать, что природа идентичности как конструкта массового сознания определяется взаимодействием таких его базовых элементов, как установки, локализованные представления, когнитивные фрагменты (смыслы), эмоции и продуцируемые ими модели политического поведения. Собирательным отражением указанных «атомов» сознания в структуре идентичности служат соответствующие образы (которые, как известно, интегрируют в себе когнитивные, аффективные и поведенческие составляющие). Поэтому изучение внутренней природы российской национально-государственной идентичности (не номинальной или желаемой, а фактической) представляется возможным и продуктивным через обращение к соответствующим теориям социальных и политических образов. В рамках исследования образ понимается нами в классической интерпретации, заложенной научной школой А.Н. Леонтьева: как совокупность разнообразных, но взаимосвязанных представлений-фрагментов («микрорепрезентаций»), имеющая разную степень завершенности

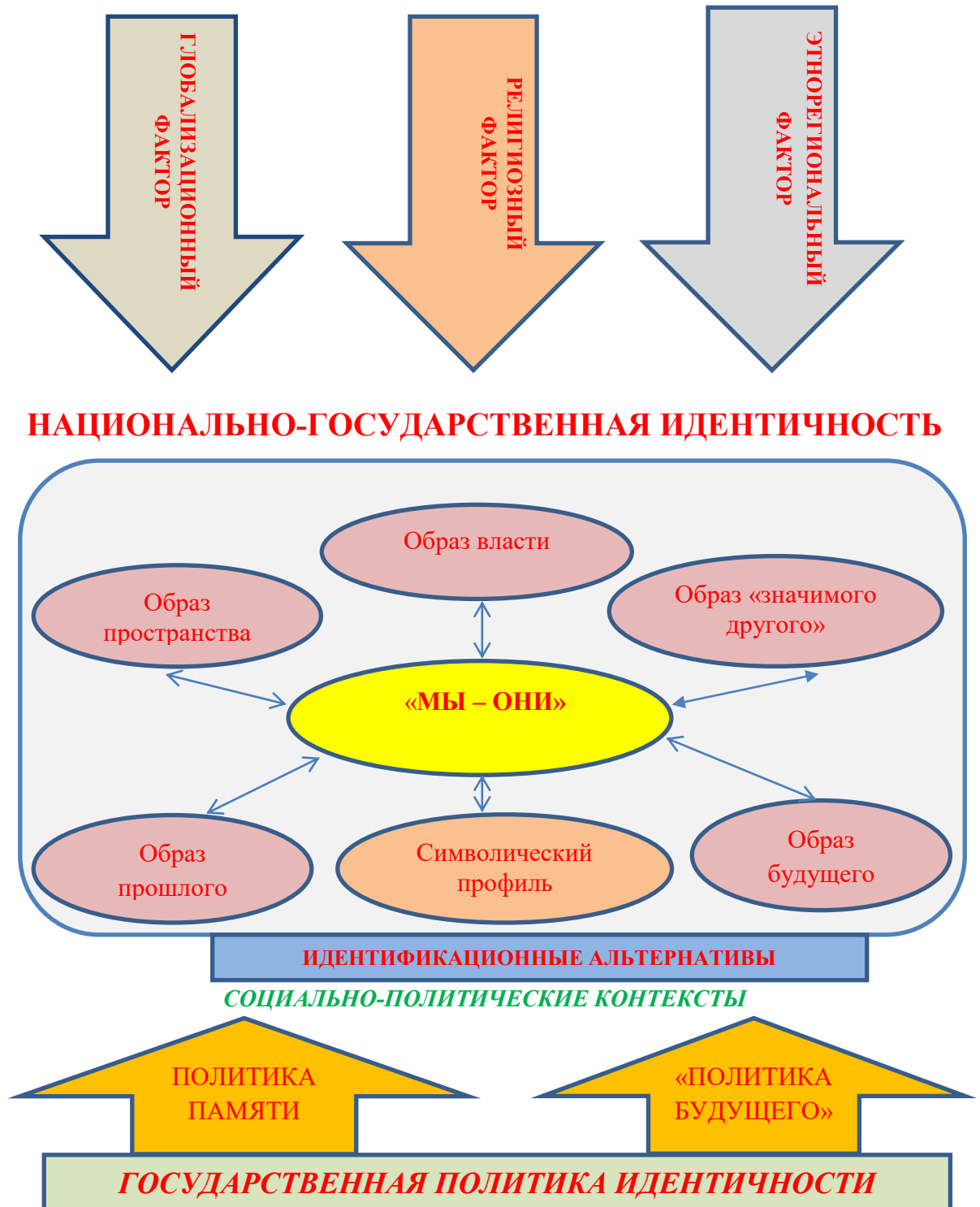
и детализации [204]. Массив таких образов (их уместно обозначить как «образы второго порядка») складывается в единую интегративную макросистему – «образ мира», в котором, в свою очередь выделяется ценностно-смысловой каркас: конструкт, получивший в более поздних политологических работах название «политическая картина мира» [87].

Следует отметить, что вопрос о сумме образов, установок и символов, конституирующих смысловую оппозицию «мы – они» в структуре российской национально-государственной идентичности, на сегодняшний день остаётся открытым.

На наш взгляд, наиболее продуктивными из числа исследований, пытающихся осмыслить данную проблему с учетом российских реалий, являются работы О.В. Поповой [240], В. С. Комаровского [193], Е.Б. Шестопаля, Н.В. Смутькиной [291], Т.В. Евгеньевой [172], В.В. Регнацкого [246]. Упомянутые авторы, хотя и не приводят исчерпывающего (достаточного) перечня элементов, включаемых в структуру национально-государственной идентичности, сходятся во мнении, что в ней присутствует ряд *неотъемлемых системных компонентов*. К ним, как правило, относятся образ власти, образы прошлого и будущего, представления о «чужих», территории, образ «нас» как страны (сообщества), ключевые национально-государственные символы.

Опираясь на указанные концепции и наработки, а также представленную выше концептуальную модель, можно предложить развернутую схему операционализации национально-государственной идентичности именно как базового и сложносоставного компонента массового политического сознания.

Данная схема, представленная на рисунке 4, является конкретизацией предложенной выше модели и акцентирует внимание как на проблеме макрополитических факторов, магистральных направлениях государственной политики идентичности, так и ее внутренней политико-психологической конфигурации.



Источник: составлено автором.

Рисунок 4 – Структуризация национально-государственной идентичности как сложной конфигурации массового сознания

Исходя из представленной выше композиции национально-государственной идентичности как системы образов и символов (с учетом влияния социально-политических контекстов), можно выработать

и уточнить логическую последовательность – алгоритм её анализа в массовом политическом сознании.

*В заключение* параграфа 2.1 можно констатировать, что нами выработана концептуальная модель изучения трансформации национально-государственной идентичности. Исходя из ее структурной композиции, можно сформулировать последовательность дальнейшего научного поиска. Влиянию долгосрочных макрополитических факторов на российскую национально-государственную идентичность посвящена глава 3 диссертационного исследования. Содержание установок, образов и символов национально-государственной идентичности в политическом сознании россиян исследуется в главе 4. Анализ государственной политики идентичности в России осуществлен в главе 5.

## **2.2 Алгоритм исследования национально-государственной идентичности в структуре политического сознания**

Рассматривая проблему алгоритма анализа национально-государственной идентичности как структуры массового сознания, предварительно необходимо сосредоточиться на таких аспектах, как историческая ситуация и сопутствующая политическая динамика, сопровождавшая формирование той или иной разновидности национально-государственной идентичности на различных этапах развития российского общества в постсоветскую эпоху. Таким образом, речь идёт о важности осмысления *социально-политических контекстов*, в которых складывалась и видоизменялась российская идентичность [145; 174; 182; 293]. В рамках данного этапа анализа, представляется, что особую важность имеет, наряду с осмыслением внутривнутриполитических факторов, учёт общего социально-экономического тренда (в его генерализованных чертах: понижательный – стабильно-депрессивный – повышательный).

Следуя обозначенной выше логике, необходимо обратиться непосредственно к структурным элементам национально-государственной идентичности.

В контексте понимания специфики кристаллизации *базовой аффективной установки «мы – они»*, трактуемой в ракурсе «пограничной», как правило слабо осознаваемой психической активности [97], отдельно хотелось бы обозначить ряд аспектов изучения образа «нас». Учитывая, что уровень самоидентификации населения именно как граждан России был всегда относительно высок (даже в кризисные 1990-е годы) [58; 165; 170], представляется необходимым остановиться на генерализованном образе «страны России». Данный конструкт массового сознания изучается нами при помощи метода семантического дифференциала с использованием соответствующей методики, разработанной и внедренной в практику политико-психологического исследования на рубеже 2000-2010-х годов под руководством Т.В. Евгеньевой. Указанная методика представляет собой вариативную дифференцированную оценку (по шкале от 1 до 7) представлений о стране на основе 17 критериальных оппозиций (слабая – сильная, неблагоприятная – благоприятная, закрытая – открытая, неуважаемая – уважаемая и т.д.).

*Второй компонент*, к которому следует обратиться в ходе изучения специфики национально-государственной самоидентификации российских граждан, – это оппозиция «мы – они», предполагающая изучение образов «нас» и «*значимых других*». Последние, по мнению исследователей, имеют соответствующее внутреннее и внешнее измерение, могут быть спроецированы в макрополитическую плоскость (государства – «друзья», «враги», «союзники» России) или иметь четко выраженные антропологические, лингвистические, этнические, религиозные маркеры [79; 177; 196]. Поэтому теоретически речь может идти о двух разных образах «значимых других» – этнокультурном, сложившемся на уровне пространств повседневности, и геополитическом, служащим

репрезентацией глобальной политической картины мира. Интегральная оценка двух указанных образов может быть квалифицирована в рамках базовой шкалы «позитив – негатив». Дополнительной оценкой в данном случае служит «фрагментация – консолидация», которая помогает определить, является ли этот образ преимущественно монолитным или распадается на множество отдельных частей.

В случае, когда складывается негативный образ «значимых других», имеется высокая острота восприятия всевозможных «чужих», актуализация и эмоциональная выразительность «врагов» в системе массовых представлений [175]. Умеренная или позитивная характеристика образов «других», как правило, фиксирует спад остроты геополитической повестки дня и ксенофобских настроений в обществе. Ситуация, когда преобладает неявное и фрагментарное восприятие, подразумевает невысокий уровень востребованности данного компонента в массовом сознании, наметившийся переход к позитивным формам национально-государственной самоидентификации: ответ на вопрос «кто мы?» строится не через механистическую отстройку от «других», а посредством развернутых когнитивно-символических самореференций.

*Третий компонент*, нуждающийся в политологическом анализе, связан с содержанием образа власти как ключевого элемента структуризации макрополитической идентичности и установок российского политического сознания в целом. Немаловажно, что «именно политическая власть, её легитимность в массовом сознании, во многом определяет потенциал институциональной и ресурсной поддержки национально-государственной идентичности» [265, с.48].

Прежде всего, в данном ракурсе особое значение имеет восприятие верховной политической власти, которое, по мнению большинства исследователей, приобрело в российском массовом сознании преимущественно вертикально-персоналистскую конфигурацию [287; 288]. Такая ментальная схема подразумевает акцент не на политических



институтах и процедурах, а на отдельных личностях и существующих в обществе формальных и неформальных иерархиях. Справедливо полагать, что подобная конфигурация парадоксальным образом сочетает в себе такие противоположные импульсы как, с одной стороны, взаимное эмоциональное и культурно-психологическое отчуждение «власти» и «всех остальных», сосуществование автономных по отношению друг к другу «почвы» и «цивилизации» [66], а с другой стороны – не до конца рационализируемую готовность подчиняться, сакральные оттенки в образе правителя, патерналистские установки восприятия.

Крайне существенно, что образ политической власти в современной России имеет как рациональное отражение, которое достаточно четко фиксируется соответствующими социологическими исследованиями (например, в вопросах о доверии конкретным политическим институтам), так и подсознательную составляющую, диагностика которой является более сложной. Как указывают работы отечественных политических психологов, в образе российской власти стержневое значение имеет компонент бессознательной силы [288]. То есть, дуальная оппозиция «сильная / слабая власть» – это своеобразная интегральная оценка её качеств, которая часто носит иррациональный характер и при этом довлеет над всевозможными другими её параметрами.

Дополнительными характеристиками образа российской власти (наряд с оценками в рамках оппозиции «сила – слабость»), которые представляются важными в рамках проводимого нами исследования, могут служить следующие дихотомии: *эффективная – неэффективная; активная – инертная; инклюзивная* (нацеленная на диалог и конгруэнтная запросам общества) – *экслюзивная* (нацеленная на максимальное обособление и защиту исключительно внутриэлитных интересов). Важно подчеркнуть, что первые два критерия достаточно успешно применялись на протяжении последних двух десятилетий в рамках целого ряда зарубежных и отечественных исследований, в том числе, и в контексте осмысления

особенностей российской национально-государственной идентичности. Однако, исходя из логики данного исследования, представляется оправданной оценка образа власти по критериям, аналогичным тем, которые используются для осмысления представлений о «значимых других»: «позитив – негатив» и «фрагментация – консолидация». Первая оппозиция дает базовое представление о степени соответствия власти массовым ожиданиям и запросам; вторая – о том, идёт ли речь о структурированном (монолитном) её видении гражданами, или о тенденции расщепления (когда части общества не понятно, «кто здесь власть»).

На наш взгляд, необходимо зафиксировать и два других существенных методологических аспекта изучения образа власти. Первый – это несомненные различия между представлениями об идеальной и реальной власти, существующие у россиян. В проводимом исследовании акцент будет сделан именно на образе *реальной власти* (и контекстуально – о степени его сближения с образом власти идеальной), поскольку именно этот компонент задаёт «степень прочности» формирующейся политико-государственной конструкции, определяет потенциал и, соответственно, границы воздействия государства на идентификационный выбор общества, выработку того или иного типа общенациональной идентичности. Вторым аспектом, о котором также говорят исследователи, связан с *эффектом персонализации* российской политической власти, «вертикальным» фреймом выстраивания государственно-общественной коммуникации и в «исторической» России эпох Российской империи – СССР, и сегодня. Поэтому, следует полагать, что характер образа российской власти и в 1990-2000-х годах, и на современном этапе, хотя и не тождественен образу главы государства как доминирующего политического лидера, но во многом обусловлен именно его когнитивной и аффективной трансформацией.

*Отдельный раздел исследования связан с образом пространства – а именно, анализом политико-психологических границ «нашего пространства» в представлениях россиян. Системообразующая функция*

территориального компонента в российском политическом сознании, его важность в контексте структуризации и поддержания целостности коллективного «мы-образа», рельефно отражена в трудах российских исследователей [64; 82; 286; 348]. Так, Д.Н. Замятин в работе «Россия и Запад: пространство цивилизационных взаимодействий» указывает, что «любая цивилизационная идентичность содержит в явных или скрытых формах географические образы, составляющие ее неотъемлемую и естественную часть» [348]. Согласно его мнению, со второй половины XIX века «российская цивилизация все же постепенно стала вырабатывать определенные специфические географические образы, которые... фиксировали постоянную ситуацию ментального «оконтуривания» условно пустых пространств, предполагаемых в будущем пригодными к освоению. Именно эта ментальная «неоконченность», незавершенность географических образов была, видимо, в течение всего XX века «фирменным знаком» российских пространств, подтверждая тем самым их несомненную «российскость» [348].

Актуальность изучения образов пространства в структуре российской национально-государственной идентичности обусловлена и такой широко используемой в отечественном социогуманитарном дискурсе лексической конструкцией, как «границы власти» или дистанция власти [370]. С одной стороны, её востребованность легко объясняется необходимостью политико-философской диффузии концептов «сильной» эффективной власти и «больших пространств» как знаковой геоисторической черты России. Такая ситуация порождает постоянный интеллектуальный запрос на поиск *культурно-психологических пределов российской цивилизации и «русского мира»*, которые, естественно, не тождественны существующим ныне формально-политическим границам Российской Федерации. С другой стороны, интерес к пространственному измерению политической природы российской власти подогреет сегодняшней повесткой дня, проблемами политико-культурной автономизации (ряд республик Северного Кавказа),

идеями «москвоборчества» – противопоставления себя центральной власти, которые выражены в регионах, удаленных от федерального центра (Дальний Восток, отдельные территории Сибири).

В современных социально-политических исследованиях не подвергается сомнению тот факт, что пространство, его протяженность и другие характеристики, накладывают существенный отпечаток на российскую идентичность. Однако среди ученых нет единого мнения о выраженности и модальности такого влияния. Идеи об «имперскости», территориальной детерминанте российского менталитета и ностальгии по «утраченным» территориям («мы в империи, империя – в нас») соседствуют с утверждениями об «отказе от империи» во всех её форматах (и советском, и дореволюционном) как состоявшемся политическом и, отчасти, мировоззренческом выборе российского общества в начале третьего тысячелетия.

Опираясь на соответствующие исследования в области осмысления взаимосвязи «пространство – идентичность» [50; 53; 82; 348], считаем целесообразным использовать в качестве основополагающего интегративный *структурно-морфологический критерий*. Во-первых, он показывает, можно ли говорить о некотором консолидированном представлении россиян о «нашей» территории, либо нет (оппозиция «фрагментация – консолидация»). Во-вторых, он позволяет выявить преобладание расширительных контуров восприятия пространства России (например, через установку на «включение» в её состав соседних территорий) или противоположной тенденции *сжатия (атомизации)*.

Следующий момент исследования связан с изучением *темпоральных образов*, конституирующих национально-государственную идентичность во времени. Здесь важно сказать, что дуализм «прошлое-будущее» – не просто система темпоральных координат, используемая «для удобства» самоидентификации, но и механизм выработки смыслов макрополитического сообщества, призванный демонстрировать его эволюцию, поступательное

движение и позитивную социальную динамику (всевозможные достижения, преодоление кризисных тенденций и т.д.). Пожалуй, образы прошлого, формирующиеся в массовом сознании российских граждан, можно отнести к одному из наиболее изученных аспектов как собственно идентитарных исследований, так и смежных областей отечественной политической науки (например, трудов, сфокусированных на политике памяти). При этом важно, на наш взгляд, учитывать и то, что данные конструкты рассматриваются не только как фундаментальные – по существу, *рамочно-структурирующие – компоненты идентичности*, но и сквозь призму внутренней сложносоставности и дифференциации [57; 211; 269].

Несомненно, значимым аспектом проводимого исследования является анализ специфики трансформации и конструирования *образа будущего* в современной России. Говоря о данной проблеме, необходимо отметить две её взаимосвязанные плоскости. *Первая, которая может быть условно определена как массово-репрезентативная* – это совокупность представлений российских граждан об общем будущем, о перспективах развития российской государственности в целом, то есть речь идёт о некотором широком наборе сюжетов политического сознания, циркулирующим в структуре национально-государственной идентичности [82; 159]. *Вторая плоскость – проективно-конструктивистская* – предполагает целенаправленное формирование общероссийского образа будущего как одно из системообразующих направлений государственной политики идентичности в Российской Федерации.

Акцентируя научный интерес именно на второй плоскости, следует учитывать ряд важных обстоятельств, изначально влияющих на степень эффективности государственной деятельности в данной сфере. Поскольку образы прошлого и будущего, как правило, являются основными объектами целенаправленного макрополитического конструирования – государственной политики идентичности, следует сделать ряд важных замечаний.

Во-первых, конструирование темпоральных образов как стержневых компонентов идентификационной «матрицы» российского общества не должно рассматриваться в механистическом преломлении, исключительно как инициатива «сверху», направленная на продвижение некоего обособленного от текущих реалий и запросов массового сознания набора рационализируемых императивов («национальной идеи», «исторического нарратива» «государственной идеологии»). То есть, образ прошлого как идентификационный конструкт не может интерпретироваться только в контексте политико-административных практик внедрения унифицированного государственного нарратива – «единственно верного» официального толкования истории. Аналогично образ будущего не может быть в силу своей внутренней сложности, сведен к некой одномерной гиперболизированной идее. По нашему мнению, он представляет собой, скорее, *темпоральный алгоритм – последовательность предстоящего исторического движения* с определением ключевых его этапов и вех (прагматических «точек отсечения», коими в реалиях современной России отчасти выступали «Стратегия 2020» [13], национальные проекты и т.д.)

Во-вторых, говоря о позитивном импульсе, который, так или иначе, предполагает общенациональной консолидирующий образ будущего, следует особо выделить, что данный конструкт имеет под собой не когнитивную, а преимущественно двойственную эмоциональную природу, сочетающую запросы на обновление повседневности («жить стало лучше, жить стало веселее») и элементы макроисторического взгляда на социально-политическую перспективу. Привлекательность «больших» политических проектов как таковых связана с их инструментально-смысловой способностью не только отвечать на запросы массового сознания, но и кристаллизовать прочную взаимосвязь «человек – общество – государство», наделять отдельную личность макроисторической функцией (например, «строитель коммунизма»), не свойственной ему изначально. Тем самым, вовлечение в политический «мегапроект» – есть еще и присвоение человеку

значимого идентификационного статуса [283]. Таким образом, индивидуальная политическая идентичность если и не «растворяется» в национально-государственной (или иной макрополитической), то максимально сближается с ней в психоэмоциональном измерении.

В-третьих, необходимо принимать во внимание то, что *образ будущего* как совокупность социально-политических представлений – есть *наиболее пластичный*, и в то же время имманентный компонент массового сознания [82; 159]. Сознательный отказ государства от его конструирования воспринимается любым обществом (в особенности патерналистски настроенной его частью) как явный признак дисфункции политической системы, симптом предстоящего завершения жизненного цикла существующей модели государственного управления, её перехода в инерционную фазу.

Помимо этого ситуация вакуума представлений о коллективном будущем практически неизбежно активизирует два базовых компенсаторных социально-психологических механизма: *экстраполяцию* в её повышательном («завтра будет лучше, чем вчера» – если социально-экономическая ситуация улучшается и уровень жизни растёт) или понижательном модусах, а также *иррациональное замещение* этих представлений.

Руководствуясь обозначенной выше логикой исследования, можно выделить следующие критериальные оппозиции, релевантные для оценки образа прошлого:

- позитив – негатив (общенациональная история как совокупность достижений или «страданий»);
- конвенциональный – конфликтный (сближение или противоборство исторических представлений различных сегментов общества);
- фрагментация (аморфность) – целостность (систематизация исторических представлений, выстраивание их в единую темпоральную последовательность, или «разрыв» исторического времени).

Для оценки образа будущего, складывающегося в массовом сознании россиян, в рамках данного исследования представляется целесообразным использовать *две первые* оппозиции.

Помимо указанных выше элементов идентификационной «матрицы», на наш взгляд, серьезного внимания заслуживает анализ *символического профиля национально-государственной идентичности*. Так, Г.В. Пушкарёва, исследуя место символов в процессе кристаллизации национальной идентичности, отмечает: «нация как «воображаемое политическое сообщество» интерсубъективна по сути и *символична по форме* [244, с. 158]. При этом сам символ выступает концентрированной недетализированной (то есть, попавшей под воздействие психологического «эффекта сглаживания») материализацией образа, его «обобщением», закрепляющим определенную его интерпретацию и оценку по шкале «позитив – негатив».

Говоря о множестве функций символа, его роли в структуризации политического пространства, следует остановиться на двух наиболее важных из них с точки зрения ретрансляции историко-политического опыта и через него – воздействия на идентификационный выбор людей. Первая состоит в том, что набор взаимосвязанных, комплементарных или конфликтующих символов – символическое пространство – служит квинтэссенцией когнитивной сферы политического сознания, выполняет системообразующую функцию его ценностно-смысловой репрезентации. Символ сквозь призму национально-государственной идентичности – есть одновременно и её частичное отражение, и *способ психологической фиксации* массовых идентификационных образов, способствующий их устойчивости и относительной резистентности к внешним вызовам. Последнее особенно актуально в контексте информационной турбулентности, которая сопровождает современные политические процессы [94; 278].

Вторая основополагающая функция символов национально-государственной идентичности связана с ценностным и субъектным маркированием политической реальности, комплексной возможностью:



– рельефно различать «своих» и «чужих» во всех их проекциях – от лингвистической (язык как символично-смысловой маркер) до геополитической;

– четко или хотя бы контурно очертить границы «нашего» политического и геокультурного пространства (например, территориально размытого «русского мира»).

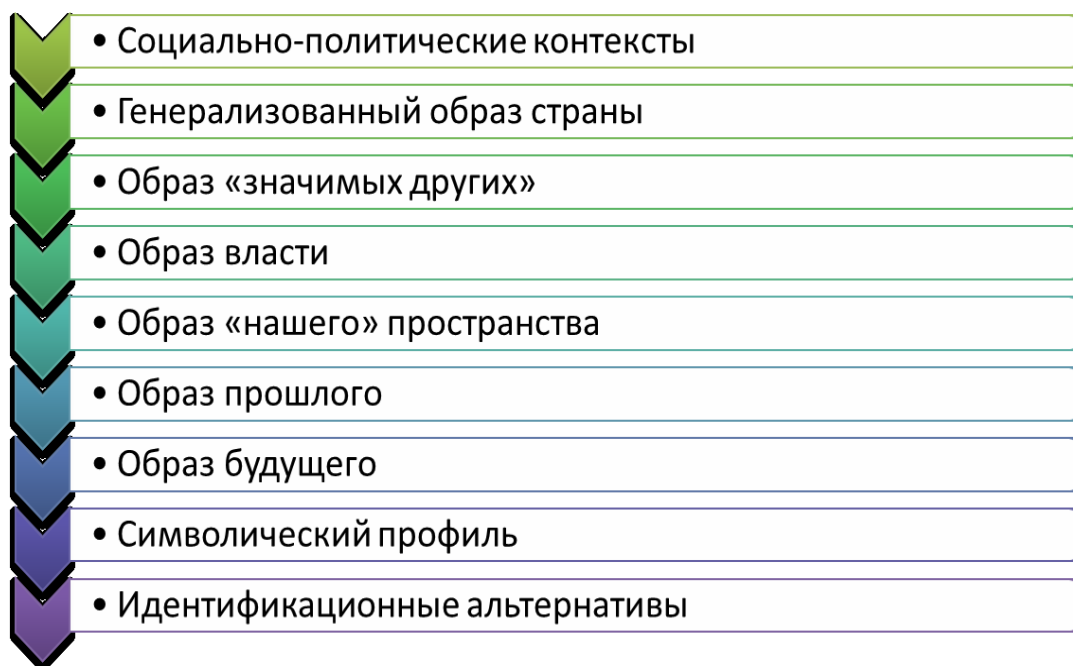
В то же время, обладая мощным аффективным зарядом, символы во многом определяют эмоциональный фон и соответствующую ему валентность национально-государственной идентификации. Они служат институционализированным (в контексте неформальных правил сообщества) культурно-психологическим ресурсом для компенсации аморфности и амбивалентности образов прошлого и будущего [270, с. 39]. Необходимо обозначить и то, что ценность символов возрастает в трансформирующихся политических системах, к коим относится и современная Россия. В этих условиях критически важным является значение символической политики государства. Расширение когнитивного фундамента российской идентичности и совершенствование государственной политики в данной сфере остро ставит вопрос о «спящих» символах российской исторической памяти и необходимости их актуализации в массовом сознании. Противоположная ситуация – «война символов» создает основания для инициации новых и эскалации уже имеющихся политических конфликтов в обществе [270, с. 39-42].

Для анализа символического поля национально-государственной идентичности представляется необходимым опереться на несколько иную критериальную диспозицию, отличную от той, что используется при оценке идентификационных образов. Это связано со следующим обстоятельством: символический профиль (и в силу специфики символа как инструмента фиксирования и маркирования политического «мы», и в виду смешенной его материально-идеальной природы) склонен к более выразительным, концентрированным и однозначным формам репрезентации, чем образ.

Поэтому монолитность и *редуцированность* символического профиля *именно* в массовом сознании часто сигнализирует о его смысловом «сжатии» и относительной когнитивной бедности; *расширение* и дифференциация – признак когнитивного насыщения, отхода массового сознания от предельно стереотипизированных представлений.

С точки зрения развернутого понимания эволюции национально-государственной идентичности в политическом сознании россиян, безусловно, важен и анализ тех *идентификационных альтернатив*, которые рельефно обозначались на различных этапах развития современной России. Специфика данного блока исследования предусматривает отход от некоторой интегральной оценки. В данном случае интерес представляют и конкретное идейно-политическое содержание альтернатив, и степень их влияния на динамику массового сознания (существенное – периферийное).

В заключение параграфа 2.2, формализуя рассмотренную выше схему структурной операционализации национально-государственной идентичности в массовом политическом сознании, можно отобразить её в виде соответствующего базового алгоритма, представленного на рисунке 5.



Источник: составлено автором.

Рисунок 5 – Алгоритм характеристики национально-государственной идентичности в политическом сознании

Представленный алгоритм используется нами в четвертой главе диссертационного исследования для последовательного анализа – выявления содержания национально-государственной идентичности в политическом сознании российских граждан на различных этапах его трансформации, а также является *ядром аналитической схемы – матрицы трансформации* российской национально-государственной идентичности.

### **2.3 Специфика изучения государственной политики идентичности**

Следующим важным шагом в рамках проработки модели исследования и уточнения её методологических границ является анализ сущности такого явления, как *государственная политика идентичности*.

*Политика идентичности как объект политологического анализа: проблема концептуализации.*

Необходимо отметить, что в современном социогуманитарном дискурсе не сформировалось однозначного понимания сути политики идентичности. Ученые сходятся лишь во мнении, что в её основе лежат деятельностный и конструктивистский компоненты. Указанные составляющие, применительно к государству, направлены на решение разнородных политических задач – от первоочередной и коренной, связанной с кристаллизацией устойчивой гражданской модели национально-государственной идентичности, до подвижных и ситуативных, обусловленных необходимостью легитимации существующего политического режима и поиском дополнительных инструментов позиционирования на международной арене.

Во многом такое размытое толкование связано с тем, что политика идентичности как объект политологического исследования относительно нова: первые попытки её концептуального осмысления и систематизации начинают предприниматься лишь в конце XX столетия. В то же время,

обозревая проблемное поле политики идентичности, необходимо учитывать и следующий момент: существенно большее число исследований посвящено феномену социальной памяти и, соответственно, политике памяти, которая во многом пересекается с политикой идентичности, выступает ключевым её элементом.

Анализируя соответствующий пласт исследований, можно говорить, что сегодня в мировом политическом знании сформировались контуры четырех подходов к пониманию политики идентичности. Эти подходы во многом совпадают с современными концепциями исторической политики, хотя и не тождественны им.

*Первый, наиболее ранний взгляд на политику идентичности* был обусловлен самим процессом зарождения и популяризации данного термина в США и западной Европе в 1960-1980-е годы. Как известно, этот исторический период характеризовался серьезными социально-политическими изменениями в западных обществах, прямо или косвенно связанными с выходом на авансцену различных миноритарных групп, актуализацией интересов многочисленных сообществ – расовых, этнических, гендерных, субкультурных, религиозных и т.д. Такие социальные и политические трансформации явились системным вызовом для традиционного общественного уклада, став предвестниками эпохи Постмодерна с её идеями всеобъемлющего релятивизма (по существу, непрерывного идентификационного выбора и субъективной условности социальной реальности) и мультикультурализма.

Одновременно развитие социально-гуманитарных наук достигло определенного рубежа, который позволял говорить не только о факте существования «динамических идентичностей», но и о несомненной политической ценности многочисленных локальных и субнациональных социумов – и терминальной, и как своего рода ячеек-первооснов «большого» социального консенсуса на уровне нации в целом. Поэтому закономерно, что первоначальное понимание политики идентичности на Западе (в трудах

Р. Анспача [296], М. Аксельберг [295], К. Креншоу [303] и др.) было акцентировано именно на поддержке миноритарных групп, защите их уникальности, присущих им локальных смыслов, ценностей и поведенческих моделей.

На наш взгляд, развёрнутую характеристику данному подходу дает В.А. Ачкасов: «термин «политика идентичности» (identity politics), утвердившийся в 1960–1970-х годах в рамках конструктивистской парадигмы анализа социально-политических изменений (П. Бурдьё) на волне подъема массовых социальных движений за права дискриминируемых социальных групп, первоначально употреблялся в значении *«практики утверждения ущемленными в социальном статусе меньшинствами и группами... права на общественное признание и легитимность...»* [138, с. 72]. При этом сама политика идентичности, понимаемая в подобном эксклюзивно-протективном ракурсе, трактовалась как «набор политических проектов» для изменения положения этих групп в лучшую сторону [138, с. 72].

Представленный выше подход к анализу политики идентичности может быть охарактеризован нами как *контекстуально-протективный*, поскольку его появление было обусловлено соответствующим социально-политическим контекстом – массовыми движениями в странах Запада (от расовых волнений в США 1960-1970-х годов до «студенческих революций» в Европе) и в его центре находилась идея всеобъемлющей защиты и обеспечения благополучия меньшинств. По нашему мнению, главная научно-теоретическая и практическая ценность данного подхода состояла как в актуализации проблемы политики идентичности в качестве одного из стратегических направлений деятельности современного государства, так и в косвенном признании важности конструктивистской парадигмы – принципа целенаправленного конструирования, в том числе, при активной роли соответствующих политических институтов. Очевидная слабая сторона подобных концепций состоит в гипертрофированном внимании к проблемам миноритарных групп, часто «в ущерб» мнению

и позициям социального большинства, очевидном акценте на избирательной поддержке, примате локальной и субнациональной уникальности по сравнению с интересами национально-государственной консолидации.

Представляется, что *второй контурный подход* к пониманию политики идентичности (начавший формироваться на рубеже XX-XXI столетий) может быть определен как *институционально-социализационный*. В фокусе его внимания находится деятельность институтов политической социализации, инициируемая или поддерживаемая государством. То есть, именно целенаправленное социализационное воздействие рассматривается в качестве ключевого звена формирования или видоизменения национально-государственной идентичности [182; 249; 250]. Становление такого взгляда на политику идентичности, её содержание, было связано с активным и последовательным внедрением психологической составляющей в политическое знание, а также широким комплексом междисциплинарных исследований в области политической социализации.

Сегодня в рамках данного подхода (хотя его концептуально-теоретическое оформление не завершено) озвучиваются следующие наиболее важные положения:

– политика идентичности не может рассматриваться вне контекста политической социализации. Её ограничение только доктринальным уровнем (формирование определенного типа национально-государственной идентичности как государственная стратегия, идеология и, тем более, сверхзадача) или формальным взглядом в рамках нормативизма и классического институционализма представляется искусственным и приводящим к «утрате» наиболее важной функциональной ее составляющей;

– государственная политика идентичности в своем развернутом виде представляет собой длительный процесс (а не набор дискретных политико-управленческих решений и практик), осуществляющийся в *изменчивой и конкурентной среде*, что обусловлено наличием, помимо государства, иных значимых субъектов политической социализации и ресоциализации,

предлагающих альтернативные идентификационные конструкты и системы самоопределения. То есть, далеко не все субъекты – семья, школа, массмедиа и т.д. – могут рассматриваться в качестве агентов, заинтересованных в продвижении именно национально-государственной идентичности;

– на современном этапе приоритетом государственной (в отличие от любой иной) политики идентичности, в том числе и в многосоставных социумах, является выработка и закрепление в массовом сознании *идентификационной модели гражданского типа*, консенсусной по своей сути и способной нивелировать сегментарные противоречия в обществе (этнического, религиозного, поколенческого характера).

Полагаем, что, рассматривая данный подход, необходимо особо выделить два момента.

Первое – это невозможность искусственного разделения концептуально-идеологических оснований формирования национально-государственной идентичности и практик её реализации. Это, в свою очередь, выводит на первый план необходимость соответствия властно-политических целей и идентификационного «проекта», генерируемого элитами, социально-психологическим и политическим запросам общества, фундаментальным ценностно-смысловым конструкциям национального сознания, синтетическим по своей сути (во многом складывающимся «снизу») и имеющим если не генетический («архетипический»), то крайне устойчивый характер. Такие основания резистентны к всевозможным политико-культурным вызовам, включая и воздействие со стороны государственной власти в её стремлении радикально модифицировать систему координат национально-государственной самоидентификации.

Второе – в рамках указанного подхода неизменно подчеркивались стратегическое значение и в то же время сложность формирования гражданской модели идентичности в условиях политической турбулентности, в ситуации кризиса политической системы, её институтов и ценностных оснований. Так, показательны труды отечественных

исследователей. Они справедливо констатируют, что политика государства в сфере формирования национально-государственной идентичности в 1990-е годы была крайне затруднена. Причем, не только дефицитом коллективных ценностей и смыслов в российском социуме, но и всеобъемлющей дисфункцией институтов государственного управления – их неспособностью предложить внятные идентификационные ориентиры, которые могли бы консолидировать российское общество, различные его этнические, религиозные, идеологические сегменты [182; 261].

Справедливо констатировать, что основная методологическая ценность *институционально-социализационного взгляда* состоит в признании континуального и конкурентного характера политики идентичности, её функциональной и структурной диверсификации, проявляющейся в разнообразии акторов и конфигураций такой политики, и во «вмонтированности» в различные отраслевые политики (образовательную, культурную, информационную, молодежную, национальную и т.д.). Вместе с тем, следует полагать, что системообразующая роль политической социализации (в которой часто преобладают спонтанные или слабо регулируемые информационные потоки) как когнитивно-поведенческой призмы и процессуального пространства реализации государственной политики идентичности не отменяет необходимости ни стратегического целеполагания, ни последовательного совершенствования соответствующих государственно-управленческих механизмов.

*Третий подход* к политологическому осмыслению государственной политики идентичности может быть охарактеризован как *инструментальный* или *технологический*. Он оформился на рубеже 1990-2000-х годов и базируется на понимании, что такая политика представляет собой определенный *комплекс инструментов и политических технологий*, применяемых властью для решения двух ключевых задач: внутренней – собственной легитимации в глазах граждан (в том числе, и через эксплуатацию темы исторической преемственности со знаковыми



эпохами и фигурами прошлого) и внешней – поиска приемлемой формулы самопозиционирования в глобальном информационно-политическом пространстве.

Важно отметить, что инструментальный подход, несомненно, актуален в том смысле, что подчеркивает существенную роль современных политических механизмов и технологий (в том числе, цифровых) в выстраивании жизнеспособной модели национально-государственной идентичности, её закреплении в массовом сознании. Но обратной стороной такого взгляда является известное упрощение ситуации: политика идентичности нередко предстаёт перед нами в редуцированной «вертикальной» проекции – как однонаправленное тиражирование действующей властью собственных представлений о нации, её прошлом и будущем, без учета социальной динамики и политических настроений в обществе, часто игнорируя глубинные пласты национальной политической культуры.

Показательно, что указанное выше технологическое понимание государственной политики идентичности оказалось крайне востребованным в современном российском публично-политическом дискурсе. Причем, как со стороны оппозиционного сегмента (обвиняющего «режим» в желании навязать России монолитную идеологию и искаженный образ прошлого), так и в провластной его части, где периодически высказываются мнения о необходимости установления «государственной идеологии», формулирования квази-универсальной «национальной идеи», которая «объединяла бы всех».

Четвёртый подход к осмыслению государственной политики идентичности с известной долей условности (поскольку его становление далеко не завершено) может быть определён как *симбиотический* или *системно-конструктивистский*. Он базируется на понимании того, что политика идентичности неразрывно связана с функциями государства по конструированию и воспроизводству системы идентификационных

установок, ценностей, символов и нарративов. Его концептуальные первоосновы были заложены в работах, посвященных вопросам функционального развития мемориальных практик. Прежде всего, в трудах зарубежных ученых – Я. Ассмана [38], Ю. Шеррер [395], Дж. Олика, Дж. Роббинса [314] – и российских исследователей: В.А. Ачкасова [138], С.И. Белова [141], О.Ю. Малиновой [210], О.В. Поповой [241], И.С. Семенов [254], В.Ш. Сургуладзе [260].

Например, О.В. Попова определяет государственную политику идентичности как «набор чаще всего закрепленных в юридических актах, но имеющих символическое и идеологическое наполнение политических проектов, практик и инструментов» [241, с. 93]. При этом она особо подчёркивает, что «государственная политика идентичности является процессом *сознательного конструирования идентичности* в границах политического сообщества» [241, с. 94].

По нашему мнению, основное преимущество системно-конструктивистского взгляда состоит в том, что он базируется на понимании принципов сложности структурной организации и континуальности государственной политики идентичности, необходимости предания ей стратегического характера.

И в то же время, такой подход позволяет избегать излишне «жестких» конструкционистских и упрощенных инструментальных трактовок. То есть, не предполагает редуцированное восприятие политики идентичности как некоего монолитного по содержанию и унифицирующего с точки зрения целевой направленности «государственного проекта», который инкорпорируется в массовое сознание (*de facto* – навязывается обществу). Конструирование в данном случае трактуется не как вертикальное воздействие (по существу, индоктринация), а в ракурсе диалоговых и диагональных форматов политической коммуникации.

В таблице 9 обозначены стержневые положения и ограничения трех рассмотренных подходов.

Таблица 9 – Основные подходы к пониманию государственной политики идентичности

Подход	Основное положение	Методологические ограничения
Контекстуально-протективный	Направлена на актуализацию самосознания миноритарных групп	Фокусирование на интересах меньшинств
Институционально-социализационный	Ядро политики идентичности – институты политической социализации	Превалирование институциональной и процессуальной составляющих над смысловой
Инструментальный (технологический)	Политика идентичности – инструмент решения актуальных задач действующей власти, ограничивающийся набором политических технологий	Частичный отказ от стратегического понимания политики идентичности в пользу тактического, нивелирование значимости политико-культурных контекстов реализации
Системно-конструктивистский	Политика идентичности – сложная композиция, включающая в себя целеполагание и стратегическое планирование	Чрезмерная «идеализация» политики идентичности: попытка рассматривать ее сквозь призму «зонтичной» функции

Источник: составлено автором.

Полагаем, что именно *системно-конструктивистский подход*, пока еще находящийся в стадии кристаллизации, на сегодняшний день является наиболее продуктивным с точки зрения качественного, всестороннего осмысления политики идентичности современных государств (разумеется, если ориентироваться на успешные кейсы её реализации). Руководствуясь этим, считаем возможным выделить следующие положения системно-конструктивистского подхода, актуальные в контексте проводимого исследования:

– очевидно, необходимым методологическим элементом изучения политики идентичности является её структуризация и алгоритмизация, то есть описание и в ракурсе базовых структурных элементов, и в некоторой темпоральной длительности;

– трансформация государственной политики идентичности коррелирует с эволюцией национальной политической системы, её институционального и ценностно-смыслового полей, а также сопряжена с вопросами эффективности государственного управления (по существу, его способности и к стратегическому целеполаганию, и к «смысловому креативу», и, что немаловажно, к непрерывному операциональному сопровождению такой деятельности);

– принципиально значимым моментом в изучении политики идентичности является её анализ с точки зрения темпоральной сбалансированности (иными словами, как сочетаются представления о прошлом и коллективный образ будущего в её композиции);

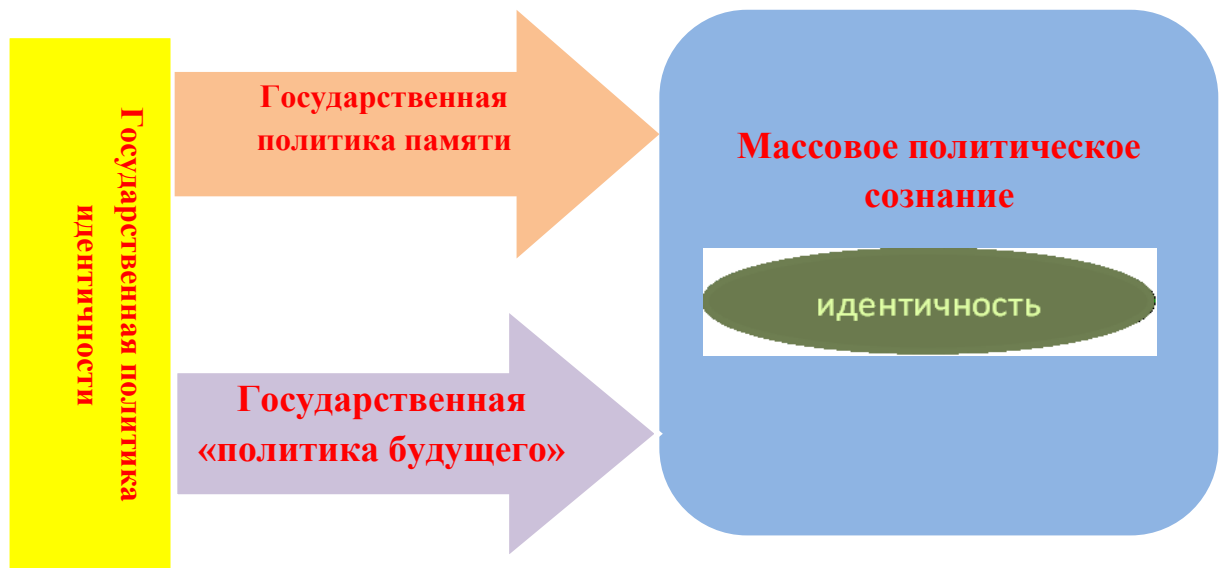
– чрезвычайно важным аспектом, заслуживающим особого внимания, является диагностика сопутствующих политических рисков и модернизационного потенциала государственной политики идентичности.

Опираясь на данные положения, считаем возможным определить государственную политику идентичности как *целенаправленную, долгосрочную, алгоритмизированную деятельность институтов государственного управления и связанных с ними структур (прежде всего, негосударственных организаций социально-гуманитарного профиля, массмедиа, бизнеса) по формированию устойчивой модели национально-государственной идентичности, конгруэнтной и существующим запросам общества, и перспективным задачам государственного развития, а также отвечающей основаниям национальной политической культуры.*

Также важно подчеркнуть, что с методологической точки зрения определяющим является именно вариативный *конструктивистско-стратегический характер* политики идентичности, её нацеленность на максимальный охват темпоральных горизонтов – и ретроспективного, в контексте выработки общенациональных представлений о прошлом, и перспективного, в русле формирования образа будущего. Это и предопределило методологический выбор в сторону системно-

конструктивистского понимания политики идентичности, а также возможность выделения в ней *двух магистральных направлений* – *государственной политики памяти* и *политики конструирования общенационального образа будущего («политике будущего»)*.

Такой подход к структуризации государственной политики идентичности показан на рисунке 6.



Источник: составлено автором.

Рисунок 6 – Магистральные направления государственной политики идентичности

Исходя из логики исследования, необходимо сделать важное замечание: фокус внимания на двух указанных направлениях обусловлен как их, несомненно, ключевым местом в системе государственной политики идентичности, так и актуальными политико-управленческими практиками современной России. В рамках этих практик именно политика памяти выступает стержневым элементом формирования идентичности, а конструирование образа будущего – также крайне важным, но при этом проблемным звеном государственной политики идентичности (остро нуждающимся, в том числе, в дополнительном политологическом осмыслении). Безусловно, авторский акцент именно на конструирование образов прошлого и будущего не означает, что государственная политика идентичности исчерпывается указанными магистральными направлениями.

В ее структуре можно выделить и иные важные задачи (такие, как, например, формирование образа «значимого другого», географических представлений) или использовать другие методики её декомпозиции (например, рассмотреть её проявления в различных отраслевых политиках – информационной, культурной, молодежной и т.д.).

Также можно отметить, что из указанного выше определение государственной политики идентичности вытекают два наиболее существенных момента.

*Первый момент.* Выработка и реализация эффективной государственной политики идентичности четко связана с уровнем её кросс-темпоральной пластичности – способности органично сочетать в себе существующие политические настроения и ожидания, инновационные импульсы массового сознания и элементы национальной традиции политической культуры. В противном случае создаваемая модель национально-государственной идентичности будет не более, чем искусственным конструктом, не обладающим резистентностью к многочисленным политическим, информационным и социокультурным вызовам.

*Второй момент.* В определении отражается тот факт, что политика идентичности, реализуемая современными государствами, не может рассматриваться как рафинированный продукт деятельности властных элит и связанных с ними структур государственного управления. Не менее важным является обеспечение развернутой обратной связи, которая позволила бы оценить эффективность мер, предлагаемых государством в данной области.

*Политика памяти как ядро государственной политики идентичности.*

Поскольку специфика политологического анализа образов прошлого и будущего была рассмотрена ранее, считаем необходимым остановиться на

базовых методологических аспектах и выработке схемы изучения государственной политики памяти. Неоспоримая важность этого компонента объясняется еще и тем, что в условиях подвижной «постсовременности», приводящей к неизбежной эмоциональной, а тем более, когнитивной размытости представлений о будущем, именно *политика памяти или историческая политика* справедливо мыслится исследователями как *структурное ядро* – стержневой элемент всего комплекса государственной политики идентичности [141; 155; 219; 264]. В связи с этим необходимо сделать две методологические ремарки.

*Во-первых*, несомненная близость понятий «политика идентичности» и «политика памяти» не позволяет говорить об их синонимичности или эквивалентности. Скорее, их соотношение фигурально описывается «кругами Эйлера» - существенным предметным и технологическим пересечением. Тем не менее, очевидное их расхождение прослеживаются в плоскости целеполагания. Если терминальная цель первой – это формирование определенной модели национально-государственной идентичности во всех её темпоральных проекциях, то вторая ориентирована на создание соответствующей системы представлений *именно о прошлом*. И хотя сегодня в научном сообществе популярно мнение, что политика памяти (и в особенности, в облике исторической политики) также инструментальна по своей сути и нацелена на современность, темпоральные рамки политики идентичности представляются более широкими.

Еще одно расхождение лежит в области задач, решаемых ими: базовая задача политики памяти не сводится к конструированию и воспроизводству определенного типа идентичности. Помимо этого, система её приоритетов включает в себя технологическую поддержку позиционирования государства в системе международных отношений (через обращение к соответствующей системе исторических аргументов и оценок), а также легитимацию существующего политического режима посредством обращения к прошлому. Как указывает польский исследователь А. Михник, политические элиты

различных стран «неоднократно искали в новой версии прошлого легитимизации своих начинаний. Новая версия истории должна была воспитывать общество в духе восхищения перед властью и одобрения её действий, а совершенство правителей должна была доказывать усовершенствованная версия истории» [219, с. 11].

*Во-вторых*, представляется важным разграничить термины «политика памяти» и «историческая политика», которые нередко употребляются в научной литературе как синонимы (если речь не идёт об однозначном отрицании последней как эвфемизма целенаправленной фальсификации истории на государственном уровне в ряде стран бывшего СССР и восточной Европы).

Концептуализация такого понятия, как политика памяти имеет более ранние корни и генетически проистекает из идеи сбережения и рациональной актуализации культурного наследия [103; 229]. Зарождение и популяризация термина «историческая политика» обусловлены попытками переосмысления предпосылок становления нацистского режима в Германии, которые предпринимались учеными из ФРГ в 1980-е годы и вызвали неоднозначную реакцию в международном научном сообществе. Многие видели в них не что иное, как стремление к завуалированному оправданию нацизма посредством его искусственного помещения в соответствующие макроисторические и социально-политические контексты. В связи с этим показательно название известной работы Э. Нольте – «Фашизм в его эпохе» [77].

Можно полагать, что сегодняшний день вырисовываются *два* принципиально разных *мнения* по вопросу соотношения понятий «политика памяти» и «историческая политика». *Первое* базируется на том, что водораздел между ними проходит по отношению к первичности «исторической правды» как таковой и необходимости её поиска. Если политика памяти интерпретируется, прежде всего, сквозь призму возможности углубления исторического знания, сохранения социального наследия и коммеморативных практик, имеет отчетливый мемориальный



уклон (отсюда и её второе название – мемориальная политика), то историческая политика крайне инструментализирована, сфокусирована на конъюнктурных интересах «дня сегодняшнего». Согласно такому видению, она прямо предполагает возможность не только исторического мифотворчества, но и ситуативного «переписывания истории» (в этом плане историческая политика соответствует трактовке истории как «политики, опрокинутой в прошлое» и известной фразе, что «историю пишут победители»). Такой подход, в частности, разделяет известный польский историк А. Ротфельд: «историческая политика» означает, что *наше понимание прошлого должно формироваться современностью*. Другими словами, историческая политика близка к инструментализации истории, состоящей в том, что одни факты извлечены на поверхность, а другие скрыты – в соответствии с нуждами тех, кто стоит у власти» [390].

*Второе мнение* рассматривает историческую политику как узкую и сегментарную сферу государственной деятельности, призванную утверждать только официальные «каноны» прошлого [141; 215]. А политику памяти – как более широкое понятие, включающее в себя выстраивание не только институционализированного поля «памяти» как суммы фактов, но и трансформацию паттернов восприятия прошлого в целом (через его переоценку и генерацию новых национально-государственных нарративов). В этом случае политика памяти – не что иное, как «особая конфигурация методов, которые предполагают использование государственных административных или финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [214, с. 9].

Иными словами, первая точка зрения ставит во главу угла государство-центричный взгляд на прошлое; вторая – противопоставляет «историческую правду» интересам государства и вытекающим из них коммеморативным практикам.

По нашему мнению, оба этих взгляда весьма близки между собой и представляются дискуссионными, поскольку исходят из «презумпции

виновности» исторической политики: прямо артикулируемой или завуалированной идеи её принципиально ненаучного (если не сказать, антинаучного) характера. Принимая во внимание такую логику, полагаем, что термин «политика памяти» (при всей своей большей емкости по сравнению с «исторической политикой») не должен редуцироваться до «политики сбережения», интерпретироваться только в ностальгическом ключе, как «заморозка» прошлого и преднамеренный отказ от его политических оценок. В своем широком значении он полной мере обладает соответствующим методологическим потенциалом для системного анализа государственной деятельности в сфере формирования идентичности, что и предопределило его использование в рамках данного исследования.

В основе осмысления феномена политики памяти как стржевого компонента государственной политики идентичности лежат классические и современные теории социальной памяти. По нашему мнению, наиболее фундаментальными и продуктивными с точки зрения политологического исследования являются концепции формирования исторической памяти, сформулированные в работах М. Хальбвакса [101], П. Нора [229] (концепция «мест памяти»), Д. Белла [299], Я. Ассмана [38], Дж. Олика, Дж. Робинса [314], П. Хаттона [104], Р. Водака [321]. Особый интерес представляют и теоретические разработки отечественных ученых – О.Ю. Малиновой [211], А.И. Миллера [214], А.Ю. Бубнова [150], В.В. Бушуева [155].

Весьма показательно, что многие исследователи политики памяти пытаются описать её в рамках «бинарного кода»: *исторические факты – политическая целесообразность* [37; 219]. Считаем, что спектр возможных трактовок политики памяти всё же несколько шире. Представляется, что сегодня оправдано говорить о формировании контуров трех дифференцированных подходов к пониманию политики памяти: интерпретационного, конъюнктурно-технологического (или по-иному – инструментального), системно-функционального.

Так, если *интерпретационный подход* делает акцент на «местах памяти» – сохранении и «проработке» исторического опыта, то в основании концептуализации *конъюнктурно-технологического подхода* находится диспозиционная триада «*инструментальность – конъюнктура – асимметрия*» [219; 390].

Первое звено – *инструментальность* – подразумевает фактический отказ от идеи научной проработки прошлого и гипертрофированное внимание к политико-технологической составляющей. Такое видение базируется на уверенности в том, что современные технологии «мягкой» и «умной» силы способны кардинально переформатировать массовое сознание в целом и социальную память – в частности.

Второе – *конъюнктурный характер* – предполагает всецелое подчинение интересам дня сегодняшнего, сознательный отказ и от выстраивания устойчивого пространства исторической памяти в пользу текущих задач легитимации правящего режима и его действий, а также высокий уровень пластичности проводимой политики памяти.

Третье свойство – *асимметричность* – подразумевает информационное, а отчасти и административное давление государства на общество, нивелирование всех идентификационных альтернатив, вступающих в противоречие с официальной версией прошлого (что представляется не всегда возможным в условиях форсированной «интернетизации» современных социумов).

Поэтапное утверждение комплексного по своей сути *системно-функционального подхода* к анализу политики памяти связано с работами современных ученых – историков, культурологов и политологов [135; 141; 150; 211; 216; 299; 395]. Одна из видных представителей данного течения Ю. Шеррер пишет, что историческая политика (в целом понимаемая синонимично политике памяти) – «это намного более широкое явление, чем история на службе политики. Это также нечто большее, чем просто формирование и закрепление нормативного или догматического

мировоззрения ... Историческая политика — это еще и тематика научных исследований с целью поиска ответов *на вопросы о том, как исторические интерпретации превращаются в политическое противоборство*» [395].

Три выделенных подхода представлены в таблице 10 и во многом совпадают с подходами к пониманию государственной политики идентичности в целом.

Таблица 10 – Основные подходы к научному осмыслению политики памяти

Подход	Ключевые концепции	Описательная характеристика
Интерпретационный	«Проработка прошлого» (Т. Адорно); локальные «места памяти» (П.Нора)	Переоценка прошлого на основе изучения новых и ре-интерпретации фактов и явлений
Конъюнктурно-технологический (инструментальный)	«Историческая политика»; «мягкая» и «умная» сила	Политика памяти должна быть пластичной, ориентированной на «день сегодняшний», определяться текущей политической повесткой
Системно-функциональный	«Научно обоснованная» политика (Ю. Шеррер); «фигурация памяти» (Дж. Олик)	Игнорирование фактора идеологии и волюнтаристского звена политики

Источник: составлено автором.

По нашему мнению, опираясь на принципы системно-функционального понимания, в структуре государственной политики памяти целесообразно выделить следующие составляющие:

– *концептуально-стратегической (доктринальный) профиль* – совокупность стратегической цели, задач и алгоритмов, которые могут быть интегрированы в соответствующую государственную стратегию формирования идентичности или (что выглядит менее эффективным) частично инкорпорированы в уже существующие стратегии реализации отдельных отраслевых политик (информационной, культурной, национальной, образовательной, молодежной и т.д.);

– *смысло-символический профиль* – интегративное поле ключевых смыслов и символов, вырабатываемых и транслируемых посредством

государственной политики и приобретающих ценностное измерение в случае их активного принятия обществом;

– *темпоральный профиль*: важнейшим параметром политики памяти является комплексное отношение к прошлому: конвенциональное или конфликтное;

– *институциональный профиль* отражает соответствующую «властную архитектуру»: специфику организации и уровень институциональной поддержки политики памяти.

Таким образом, в целях детального изучения государственной политики памяти можно предложить следующую композицию, представленную на рисунке 7.



Источник: составлено автором.

Рисунок 7 – Структурная композиция государственной политики памяти

Представленная выше схема является рамочной диспозицией, используемой для развернутой схемы оценки государственной политики

идентичности в Российской Федерации в главе 5. В данной схеме особое внимание уделяется содержанию политики памяти, являющейся смысловым и символическим ядром государственной политики идентичности, а также проблеме конструирования общенационального образа будущего.

*В заключение параграфа 2.3* необходимо зафиксировать системно-конструктивистское понимание государственной политики идентичности как целенаправленной, долгосрочной, алгоритмизированной деятельности институтов государственного управления и связанных с ними структур (прежде всего, негосударственных организаций социально-гуманитарного профиля, массмедиа, бизнеса) по формированию устойчивой модели национально-государственной идентичности, конгруэнтной и существующим запросам общества, и перспективным задачам государственного развития, а также отвечающей основаниям национальной политической культуры.

#### *Выводы по главе 2*

1) На основе сочетания положений культурно-исторического конструктивизма, политико-психологических концепций и современных структурно-динамических теорий была разработана концептуальная модель изучения национально-государственной идентичности. Она включает в себя такие базовые составляющие, как трансформационные факторы макрополитического характера (глобализационный, религиозный, этнорегиональный), комплекс образов и символов, конституирующих установку национально-государственной идентичности в массовом политическом сознании, государственная политика идентичности.

2) Посредством проведения структурной операционализации разработан алгоритм и критериальные параметры качественного анализа трансформации национально-государственной идентичности в массовом политическом сознании. Он включает в себя последовательное рассмотрение таких системообразующих элементов идентификационной структура, как аффективная установка «мы – они» и формирующийся вокруг нее

генерализованный образ «страны России», образ «значимых других», образ власти, образ «нашего» пространства в реальной, ожидаемой и желаемой проекциях, образы прошлого и будущего, символический профиль.

При изучении особенностей национально-государственной идентичности как сложносоставного конструкта массового сознания отдельное место занимают социально-политические контексты (комплекс взаимосвязанных, динамических факторов, оказывающих влияние на состояние «матрицы» идентичности), а также диагностика и рассмотрение идейно-политических идентификационных альтернатив, присутствующих в обществе

3) Было выработано авторское системно-конструктивистское понимание государственной политики идентичности. Она представляет собой целенаправленную, долгосрочную, алгоритмизированную деятельность институтов государственного управления и связанных с ними структур (в первую очередь, негосударственных организаций социально-гуманитарного профиля, массмедиа, бизнеса) по формированию устойчивой модели национально-государственной идентичности, конгруэнтной и существующим запросам общества, и перспективным задачам государственного развития, а также отвечающей основаниям национальной политической культуры.

4) Были конкретизированы теоретические основания и разработана концептуальная схема изучения государственной политики идентичности, включающая в себя выделение и осмысление качественного состояния таких её элементов, как политика памяти и политика конструирования образа будущего.

Можно отметить, что политику памяти необходимо рассматривать как институциональное и ценностно-смысловое ядро всего комплекса политики идентичности. При этом в структуре политики памяти целесообразно выделить концептуально-стратегический, смысло-символической,

институциональный и темпоральный (отношение государства к различным фрагментам прошлого) профили.

5) На основе выработанной концептуальной модели и вытекающих из нее исследовательских алгоритмов представляется возможным сформулировать *схему – матрицу трансформации национально-государственной идентичности*, которая изображена на рисунке 8.

<b>Модель национально-государственной идентичности</b>	<b>Критериальные оппозиции</b>
<b>Влияние ключевых макрополитических факторов</b>	Сильное – слабое Позитивное - негативное
<b>Социально-политические контексты</b>	Стабильные – нестабильные Позитивные - негативные
<b>Генерализованный образ России</b>	Позитивный - негативный
<b>Образ «значимых других»</b>	Фрагментарный – консолидированный; Позитивный - негативный
<b>Образ власти</b>	Фрагментарный – консолидированный Позитивный – негативный Сильная - слабая
<b>Образ «нашего» пространства</b>	Фрагментарный – консолидированный (целостный)
<b>Образ прошлого</b>	Фрагментарный (дискретный) – консолидированный (континуальный) Конфликтный - конвенциональный
<b>Образ будущего</b>	Фрагментарный (дискретный) – консолидированный (континуальный) Позитивный – негативный
<b>Символический профиль</b>	Редуцированный - дифференцированный Когнитивно бедный – когнитивно насыщенный
<b>Интегральная оценка характера политики идентичности</b>	Континуальность - дискретность Конвенциональность-конфликтность
<b>Интегративная оценка модели идентичности</b>	Фрагментарная – консолидированная Конфликтная - конвенциональная

Источник: составлено автором.

Рисунок 8 – Схема-матрица анализа трансформации российской национально-государственной идентичности

Последовательный анализ состояния всех компонентов, выделенных в данной схеме, на трех этапах формирования национально-государственной идентичности ( кризисно-конфликтном, реставрационно-модернизационном, мобилизационно-инерционном) позволяет выявить интегративную траекторию её трансформации.



## Глава 3

### **Российская национально-государственная идентичность на рубеже XX-XXI столетий: факторы политической трансформации**

Первым этапом изучения специфики трансформации национально-государственной идентичности в современной России (1991-2021 гг.), является осмысление наиболее значимых и устойчивых макрополитических факторов, на нее влияющих. Проведенная факторная операционализация с опорой на результаты экспертного опроса *«Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы»* (июнь - ноябрь 2021 г.), содержание которого представлено в приложении Б, позволила выделить три таких комплексных фактора: глобализационный, религиозный и этнорегиональный.

Характер воздействия первого – глобализационного – фактора на паттерны национально-государственной самоидентификации российского общества рассмотрен в параграфе 3.1 *«Роль глобализации в трансформации российской национально-государственной идентичности»*. При этом следует оговориться, что именно указанный фактор является наиболее сложным с теоретической точки зрения по причине многомерности природы глобализации и возникающих серьезных разночтений в её научно-политических интерпретациях (чему посвящен раздел в рамках параграфа).

Специфика влияния религиозного фактора на современную российскую идентичность отражена в параграфе 3.2 *«Религиозный фактор в трансформации российской национально-государственной идентичности: особенности и пределы влияния»*. При этом значительное внимание уделяется феномену «бытового православия» и исламскому компоненту в политическом пространстве России.

Параграф 3.3 «Место этнорегионального фактора в трансформации российской национально-государственной идентичности» посвящен следующему вопросу: как влияет многосоставный характер российского общества, выражающийся в полиэтничности и социокультурном многообразии территорий (регионов), на общероссийскую самоидентификацию граждан? Особое место в рамках данного параграфа отведено теме вертикальных и горизонтальных идентификационных конфликтов, связанных с принятием властью знаковых политических решений, непосредственно затрагивающих сферу национально-государственной идентичности и при этом вызывающих негативную реакцию в этнорегиональных социумах (причем, не обязательно массовую, а зачастую локальную, пространством репрезентации которой выступают преимущественно социальные сети Рунета).

### **3.1 Роль глобализации в трансформации российской национально-государственной идентичности**

В современной политической науке доминирует мнение, что глобализация оказывает серьезное трансформационное воздействие на национально-государственные образования и их идентичность. По мнению С.В. Картунова «никогда ранее в мировой истории проблема национальной идентичности не стояла столь судьбоносно, даже фатально. И никогда ранее она не охватывала практически все государства и народы мира. Связано это с нарастающими и весьма противоречивыми процессами глобализации» [67, с. 21]. При этом важно заострить внимание на том, что воздействие глобализационных трендов на национально-государственную идентичность, продуцируемые им вызовы – не только внутрироссийская, но и планетарная проблема, в той или иной мере дестабилизирующая большинство современных государств и способствующая «транснационализации» кризиса национально-государственной

идентичности», частичной хаотизации мировой политики и ее превращению в арену интенсивной «битвы идентичностей» [262; 298].

*Феномен глобализации: в поисках синтезного понимания.*

Справедливо полагать, что оценки влияния глобализационных процессов на формирование российской национально-государственной идентичности зависят от двух основополагающих факторов. Первый фактор связан с фундаментальным пониманием природы глобализации, её определяющих генетических черт и последствий. Второй фактор обусловлен тем, как конкретные исследователи интерпретируют трансформации политической системы Российской Федерации на разных этапах постсоветского развития.

Обращаясь к первому из указанных факторов, необходимо отметить, что широкий круг исследователей, как российских, так и зарубежных, едины во мнении, что глобализационные изменения в своей сверхдолгосрочной проекции неизбежно ведут к тому, что Д. Ритцер назвал «макдональдизацией повседневности»: социокультурной унификации, активному распространению транснациональной массовой культуры, в основе которой лежат западные образцы [84; 190]. В этом случае наблюдается известный парадокс: глобализация оценивается, скорее, критически, но в целом интерпретируется как объективный, исторически заданный процесс общепланетарных социальных изменений, связанных с технологическим развитием современного мира, прежде всего, трансформацией его информационной природы. При этом вопрос, связанный со степенью такого влияния на идентификационные установки людей (возможность их тотального «слома» или хотя бы частичной девальвации под внешним культурно-информационным воздействием) остаётся открытым.

Тем не менее, суммируя многочисленные мнения ученых, нельзя не заметить, что существуют две диаметрально противоположные точки зрения на генезис глобализации как политико-исторического явления. *Первая*

может быть условно охарактеризована как *исторически детерминирующая* и исходит из примата неизбежности глобализации как сверхдлительного этапа общественного развития. В этом случае именно глобализационные процессы при всей своей неоднозначности задают новые рамки международных отношений, модифицируют сознание людей, и тем самым способствуют если не всеобъемлющему планетарному кризису, то снижению значимости национально-государственной идентичности и для отдельного человека, и для национальных сообществ [53; 84; 99; 297]. Последние, по мнению представителей детерминирующего подхода, вынуждены (даже противодействуя этому) интегрироваться в систему мировой экономики, релевантно реагировать на новые информационные реалии «открытого общества» при всей их неоднозначности.

По нашему мнению, крайне значимым элементом детерминирующего взгляда на глобализационные процессы является её объяснение посредством технократического императива. Речь идёт о мнении, что глобализация во всех её проекциях – политической, геокультурной, информационно-психологической – обусловлена, главным образом, технологическим развитием общества, прежде всего, «микроспроцессорной революцией», приведшей к широкому распространению новых коммуникационных технологий. И, в конечном счете – к выстраиванию принципиально нового информационно-психологического ландшафта повседневности, так называемой «симулятивной реальности» [191; 268], в которой когнитивная составляющая уступает место эмоциональной; устойчивые – наследуемые и рациональные – установки коллективной самоидентификации сменяются индивидуальным выбором и «плавающими» идентификационными конструктами. При этом крайне важно зафиксировать тот факт, что представленная выше точка зрения – понимание глобализации как некой исторической данности и во многом неизбежности – автоматически не трансформируется в её апологию. Более того, звучат и весьма резкие оценки ее социокультурных и геополитических последствий [356, с. 10-11].

Представляется, что несомненная теоретико-методологическая ценность *детерминирующего взгляда* на глобализацию содержится в попытках её рассмотрения в ракурсе концепции «времени больших длительностей» (в терминологии Ф.Броделя [50]), понимании её не как совокупности ситуативных импульсов, а в качестве изменчивого и многопланового процесса [44]. Это позволяет современным политологам (включая тех, кто акцентирует внимание на вызовах и негативных экстерналиях глобального мира), формулировать вопрос о возможностях адаптации национальных государств, их политических культур к реалиям третьего тысячелетия [190; 279]. Прежде всего, речь идёт о технологической модернизации и потенциале интеграции в мировую экономику при сохранении традиционных для конкретного общества политических институтов. При этом заимствование западных политико-культурных образцов – так называемая «некритическая вестернизация» – не рассматривается как обязательное условие поступательного развития. Более того, часто она признается фактором, сдерживающим позитивные экономические преобразования (в данном случае приводятся разные примеры, от японской и корейской моделей «управляемой демократии» до авторитарного режима в Сингапуре, за тридцать лет прошедшего путь «из третьего мира в первый»).

Вторая точка зрения на природу глобализации может быть условно обозначена как *проектно-скептическая*, в рамках которой данное явление понимается не как «объективный феномен», вытекающий из технологических достижений современности, а в большей мере как трансграничный геополитический процесс, инициированный правящим слоем западных стран [39; 61]. Таким образом, данная точка зрения опирается на видение этого процесса в русле проективизма, как *проекта западных национальных либо транснациональных политических элит* и аффилированных с ними интеллектуальных и экономических макроструктур: «нетократии», «глобального управляющего класса», «новых кочевников»,

нацеленных на последовательное снижение значимости национальных государств и их правительств [39; 41; 61]. Сквозь призму этого критического взгляда глобализация является инструментом не уничтожения, то поэтапного целенаправленного «стирания» национально-государственной идентичности, её замены аморфными установками и ценностями «общечеловеческого характера» (в основе, которых лежат преимущественно базовые потребности людей, не нуждающиеся в развернутом когнитивном обосновании и символическом закреплении).

Однако в последние два десятилетия в политической науке господствующее положение начинает занимать объективно-субъективный, *синтезный* взгляд на генезис и динамику глобализации [201; 202; 279; 281]. Такое панорамное видение природы глобализации и порождаемых ею социально-политических эффектов обозначает В.В. Лапкин, который рассматривает данное явление через призму двух противоположных процессов – унификации и диверсификации. Он отмечает, что «практика унификации нацелена на разложение «старых» социокультурных и институциональных скреп общества, тогда как путем диверсификации на «расчищенном поле» формируются всепроникающие культурная и институциональная среды нового глобального сообщества» [202, с. 26].

Необходимо отметить, что противоречивость глобализационного тренда в системе координат «*унификация – диверсификация*» является отличительной чертой многих синтезных концепций, рассматривающих воздействие глобальных изменений современности на национальное самосознание. Такая схема нашла свое рельефное отражение в понятии глокализации, предполагающем, что унификационный макрополитический тренд, драйвером которого выступает «коллективный Запад», формирование контуров единого информационного пространства, не приводят к выстраиванию оснований некой «глобальной идентичности». Но стимулируя уменьшение геополитической роли национального государства и нанося удар по многочисленным устоявшимся и

территориально оформленным «традиционным» (цивилизационным, национальным, этническим) социокультурным форматам, глобализационная динамика способствует всплеску всевозможных локальных идентичностей.

Представляется, что сегодня наиболее рациональной и научно обоснованной выглядит так называемая синтезная, или «трансформистская» точка зрения. Она, подчеркивая наличие, безусловно, объективных – технологических и геоэкономических – оснований формирования контуров «глобального мира», не отрицает и того факта, что глобализация в её нынешней западно-ориентированной (но не единственно возможной) форме стала результатом кардинальных геополитических трансформаций конца XX века. Прежде всего – распада СССР и доминирования «коллективного Запада» во всех измерениях международной повестки дня: военно-политическом, геоэкономическом, информационном и социокультурном. При этом культурно-информационная проекция глобализации сегодня включает в себя не только форсированное распространение соответствующих образцов массовой развлекательной культуры и сопряженных с ними ценностей и смысложизненных ориентаций, но также сферу High-Hume – «высоких гуманитарных технологий», способных серьезно переформатировать массовое сознание и выстраиваемую в его рамках политическую картину мира.

*Россия в 1990-е годы: от ориентации на Запад к разочарованию в нем.*

Следует признать, что государства Запада на рубеже XX–XXI столетий пользовались создавшейся после распада СССР геополитической конфигурацией не только для оформления статуса единственного геостратегического «центра силы» (чему способствовал острый внутривнутриполитический и социально-экономический кризис в России, а также то, что Китай до конца 1990-х годов *de facto* не претендовал на политическую роль сверхдержавы – «глобального игрока»), но помимо этого активно конструировали и тиражировали в планетарном масштабе

всепроницающую *ценностно-символическую систему*: пространство смыслов, фреймов восприятия и поведенческих моделей, пронизывающих все уровни социальных отношений, от бытового (потребительской культуры «мировых брендов», «либеральных ценностей») до международно-политического, квинтэссенцией которого стали концепции «ограниченного суверенитета» и «гуманитарной интервенции».

Очевидно, что распад СССР и последовавший за этим кризис национально-государственной идентичности в сочетании с прозападными установками постсоветских элит и соответствующими ценностными ориентациями значительной части общества («свобода». «рынок». «цивилизованные страны») открывал до середины 1990-х годов существенные возможности для глобалистского воздействия на аморфную на тот момент российскую идентичность, поскольку «обрушение старого не было заменено концептуально сформулированными целями будущего» [160, с. 38].

Вместе с тем, следует иметь в виду три важных обстоятельства, характеризующих воздействие западного глобализационного тренда на самоидентификацию россиян в 1990-е годы. Во-первых, значимость западных политических ценностей в массовом сознании россиян («свобода», «демократия» и т.д.) сохранялась весьма непродолжительное время и уже в середине 1990-х годов сменилась разочарованием и последовавшей за этим социальной фрустрацией [383]. Стало очевидно, что некритический перенос вестернизированных политико-культурных образцов в российские социально-политические реалии невозможен по определению, во многом вступает в конфликт с национальной социокультурной традицией (в том числе, и с возросшим запросом на сильную власть). И, тем более, он не является гарантией эффективной социальной модернизации (которая бы не ограничивалась перераспределением собственности в рамках «перехода к рынку», но и могла бы обеспечить рост благосостояния граждан) [67; 160].



Во-вторых, необходимо признать, что, начиная с середины 1990-х годов, степень влияния глобалистского тренда на российскую макросоциальную динамику и национально-государственную идентичность сдерживалась неопределенностью политики ведущих западных держав по отношению к Российской Федерации как геополитическому субъекту. Внешнеполитическая линия «коллективного Запада» колебалась от идеи о необходимости интенсифицировать дальнейший распад территориального пространства России и окончательно нивелировать её геополитическое влияние до закрепления за Российской Федерацией статуса великой державы, обладающей неотъемлемыми стратегическими интересами на постсоветском пространстве.

При этом крайне существенно, что ни тот, ни другой сценарий изначально не предполагали возможности полноценной интеграции России в западные геополитические (блок НАТО) и геоэкономические структуры.

В-третьих, нельзя не отметить и тот факт, что уже в 1994-1999 гг. российское руководство предприняло ряд шагов (пусть и достаточно непоследовательных), нацеленных на некоторое символическое дистанцирование от Запада [67; 94].

Представляется, что в тех условиях акцент на самобытности и длительности российской истории был, безусловно, важен, в том числе, и как механизм хотя бы частичного сдерживания глобалистских устремлений наиболее радикально вестернизированной части российских элит.

Поэтому, на наш взгляд, воздействие глобализации на российскую национально-государственную идентичность в 1990-е годы, в первую очередь, необходимо рассматривать не только как целенаправленную информационно-психологическую и идеологическую экспансию (хотя такая, безусловно, имела место), а, главным образом, сквозь призму попыток стихийного заполнения того ценностно-смыслового вакуума, который возник после распада СССР.

*Двойственность глобализационного влияния на российскую национально-государственную идентичность в 2000-е годы.*

В отечественной политической науке распространено мнение, что ценностно-символическое влияние глобализации на российское общество, его самосознание, несколько сократилось в первое десятилетие XXI века. Причем, как правило, речь идёт о двух факторах, этому способствовавших. Первый фактор связан с изменением внутривнутриполитической ситуации в стране, консолидацией граждан вокруг действующей власти и, прежде всего, фигуры В.В. Путина. Происходила медленная адаптация граждан к новой, постсоветской, реальности, в которой геополитические сюжеты уступили место прагматическим ориентациям и реставрационно-модернизационной модели массовой самоидентификации, в основании которой лежала традиционная для России государственно-патерналистская конструкция взаимодействия власти и общества [132; 145; 274].

Второй фактор состоял в том, что параллельно с формированием «путинского консенсуса» происходила и корректировка внешнеполитического курса Российской Федерации, предполагавшая возвращение полноценной геополитической субъектности. Это неизбежно влекло за собой дальнейшее психологическое дистанцирование от «коллективного Запада», прежде всего, с точки зрения политических ценностей, декларируемых правящими элитами. При этом провластные СМИ в 2000-е годы последовательно и эффективно формировали в массовом сознании критическое отношение к обобщенному западному миру: и в глобально-политическом его измерении (к США и НАТО в целом как главным геостратегическим угрозам для России), и в ценностно-повседневной проекции (касающейся «их нравов» – западного образа жизни).

Симбиотический политико-психологический эффект двух указанных тенденций заключался в отчетливой *прагматизации образа Запада* в политических представлениях российских граждан. Он утратил статус «социального рая» – идеальной модели мироустройства, объекта для

подражания и, тем более идентификационного ориентира, но еще и не приобрёл черты «империи зла» – ценностно-смыслового антипода и безусловного геополитического «врага» России [133; 164]. И что не менее важно, многие политические ценности, утвердившиеся к тому моменту в российском обществе (свобода слова, конкуренция, рыночная экономика) обрели несколько иное наполнение и перестали восприниматься как исключительно «западные», эксклюзивное достояние западного цивилизационного пространства и одновременно – маркер принадлежности к нему. С этой точки зрения ценностно-психологическое влияние глобализации на российскую национально-государственную идентичность в первое десятилетие XXI века можно рассматривать как *нисходящее*: уменьшающееся по мере восстановления статуса сверхдержавы, культивирования *патриотизма как главной политической ценности* и реконструкции внутренних исторических оснований массового сознания, выстраивания персонализированной конфигурации власти, на определенное время (до начала 2010-х годов) ставшей центром идентификационного притяжения россиян [288; 289; 291].

В то же время, в конце первого десятилетия XXI века стали всё более явно вырисовываться две новые тенденции. Первая связана с ростом геостратегической напряжённости в отношениях России и США, что стало особенно очевидно после конфликта с Грузией в августе 2008 года. Естественно, это сопровождалось ужесточением антизападной риторики на официальном уровне, которая нашла отклик у значительной части общества. Вторая, на наш взгляд, более важная тенденция – это начавшаяся «интернетизация» социально-политического пространства России, которая, безусловно, явилась технологическим следствием информационной глобализации. В этих условиях государство стало утрачивать фактическую монополию на формирование идентификационных ориентиров и образов, оказалось в состоянии потенциальной конкуренции с иными «игроками» на глобальном рынке идентичностей.

*Российская идентичность в 2010-е годы: ментальный разрыв с «глобальным миром» и вызовы симулятивной реальности.*

Необходимо учитывать принципиально важный факт: сегодня возможность воздействия глобализации на российское массовое сознание в целом, и на национально-государственную идентичность в частности, сдерживается как резкой антизападной риторикой правящих элит, так и доминирующими негативными установками россиян по отношению к Западу [347]. Логично полагать, что в свете такого отношения политические ценности и социокультурные поведенческие образцы вестернизированного типа, воспринимаются, скорее, отрицательно, как попытки противодействовать движению России по её «особому пути», и не оказывают прямого, существенного влияния на идентификационные установки российских граждан.

При этом всё в обществе, и особенно активно – в политическом пространстве Рунета постепенно кристаллизуется несколько иной – обостренный антизападный прообраз российской национально-государственной идентичности [272]. Последняя все более трактуется не как эквивалент исторической «особости» и самобытности (что логично вписывается в традиционалистскую матрицу восприятия России как «не Запада»), а именно в русле понимания «нас» как «антизапада»: глобальной державы, геополитический смысл существования которой состоит в непрерывном противодействии Западу через распространение собственной системы ценностно-мировоззренческих императивов. Однако указанное мнение не становится доминирующим и сегодня, в условиях резкой негативизации образа Запада в глазах россиян. Очевидная причина этого – концентрация граждан на внутренних социально-экономических и политических проблемах, высокий уровень недоверия к властным институтам и их представителям, которое все более приобретает всеохватывающий и, отчасти, иррациональный характер.

Вместе с тем, следует признать, что в современной России кристаллизовался принципиально новый – цифровой – вектор влияния глобализации на российскую национально-государственную идентичность, зарождение которого можно отнести к середине первого десятилетия XXI века.

Рассматривая воздействие глобализационного фактора (в его сегодняшнем, «цифровом» преломлении) на идентификационные установки, следует особо сказать о глубоком «цифровом разрыве» в российском обществе, который носит межпоколенческий характер и определяется в большей мере не технической составляющей (доступностью современных информационных технологий), а характером потребляемого интернет-контента и степенью погружения в виртуальную среду. Последняя в этом случае выступает инструментом ретрансляции многочисленных глобализационных трендов и вызовов, а также пространством их радикальной трансформации.

На этом основании многие российские исследователи, занимающиеся проблемой взаимосвязи «глобализация – российская идентичность», высказывают обоснованное мнение, что в наибольшей степени глобализационные процессы влияют на политическое сознание активных пользователей социальных медиа Рунета – поколения Y («старшей» молодежи) 25-35 лет и части людей среднего возраста) и в особенности – поколения Z (молодежи, родившейся в «эпоху интернета») [195; 267]. По утверждению О.Ю. Корниенко, «молодежь примеряет на себя новые виды идентичности, объединяясь вокруг молодежных субкультур ... Именно у молодежи поиск идентичности идет тяжело, через метания и интернет-сети, поскольку им остро не хватает близких по духу людей...» [195, с. 181]. При этом справедливо полагать, что именно молодые россияне – поколения «цифровых аборигенов» и «миллениалов» – в наибольшей степени подвержены влиянию симулятивных идентификационных конструктов, динамичных и опирающихся преимущественно на эмоциональную

составляющую. Такие идентичности часто продуцируют негативные модели поведения молодежи в социальном пространстве и конфликтны по своей направленности, аккумулируют в себе высокий потенциал социального (в том числе, политического) протеста [266; 267].

Тем не менее, важно обозначить и то, что с точки зрения формирования общероссийской национально-государственной идентичности многие из этих моделей являются в существенной степени комплементарными по отношению к ней, поскольку не претендуют на собственную всеобъемлющую ценностно-символическую систему, способную вытеснить установки национально-гражданского самосознания или какой-либо иной макрополитической идентичности. Однако следует учитывать и другой момент: обратной стороной структурной простоты и когнитивной бедности таких виртуальных идентификационных конструктов выступает легкость их массового тиражирования и усвоения в условиях цифровой трансформации российской повседневности. Естественно, такая адаптивность и в известной степени «вирусность» (когда запускается механизм подражания на основе некритического восприятия действительности) несопоставима со сложностью целенаправленной и поэтапной политической социализации российских подростков и молодежи (разумеется, в том случае, если социализационная деятельность носит стратегический институционализированный, а не редуцированный и эпизодический характер).

Таким образом, в современных условиях воздействие глобализации на национально-государственную идентичность значительной части российского общества проявляется не через прямое внедрение в массовое сознание альтернативных (условно понимаемых как западные или наднациональные «общечеловеческие») смыслов, ценностей и моделей политического поведения, а посредством выстраивания контуров новой – симулятивной – социальной реальности. На наш взгляд, симулятивная реальность представляет собой ни что иное, как «многомерное пространство

политических симулякров в их взаимодействии и трансформации» и «обладает двойственной генетической природой, обусловленной синтезом элементов как интернет-пространства, так и традиционных внесетевых «пространств повседневности». При этом «симулятивная реальность серьезно трансформирует современные политические практики, поскольку отличается гипердинамизмом, ускоренной сменой политических эпизодов в «сериальной» политической картине мира. доминированием эмоционально-оценочного компонента над когнитивным в структуре формируемых политических представлений» [268, с. 600].

Важные характеристики формируемых в пространстве симулятивной реальности идентификационных конструкторов – их преимущественная одномерность, неустойчивость, стрессогенность и эмоционально-символическая выразительность «в ущерб» когнитивным основаниям (таким образом, проявляется своеобразный психологический «эффект бублика»: аффективная сопричастность к сообществу, внешняя его привлекательность подменяет собой отсутствие устойчивого ядра смыслов, его объединяющих). Ситуация, при которой главенствующим элементом информационной реальности становится неустойчивый и часто конфликтный аффективный фактор, безусловно, негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии социума в целом, в том числе, запускает механизмы дегуманизации («расчеловечивания») в рамках политической коммуникации. Указанная ситуация усугубляется и тем фактором, что, как справедливо отмечают А.В. Митрофанова и её коллеги, в российском обществе инерционно продолжает присутствовать коллективная травма прошлого, обусловленная, в том числе, имевшим место систематическим применением насилия одними социальными группами в отношении других [218, с. 89-91]. При этом можно заметить, что в качестве паллиативного психологического механизма хотя бы частичного нивелирования последствий этого травмирующего исторического опыта используются «замалчивание» и отрицание в различных их форматах: от «сами виноваты» до широко

известного «стокгольмского синдрома»: психосемантической формулой «они (Ленин, Сталин, большевики, Ельцин и т.д.) тогда не могли поступить по-другому».

Всё это, безусловно, способствует накоплению социальной конфликтности в латентной форме. Таким образом, российская идентичность оказывается под двойным деструктивным воздействием конфликтных нарративов – исторического, аккумулирующего негатив прошлого, и современного, цифрового, связанного с вызовами «виртуальной» реальности.

По нашему мнению, следует обратить внимание на еще один важный аспект, о котором говорят современные ученые. Суть его состоит в следующем: «глобализация 2.0» (в основе которой лежит не агрессивное продвижение западно-центричных моделей самоопределения, а цифровая трансформация повседневности) привела к тому, что традиционные для индустриальной эпохи вертикальные коммуникативные модели политической социализации уступили место горизонтальным и диагональным форматам [268; 273]. Это создает серьезные трудности для реализации государственной политики идентичности, её адаптации к новым информационно-психологическим и культурным параметрам условного «глобального мира». То есть, обобщенное «государство», предлагающее макрополитические конструкты, сложные по своему содержанию, изначально проигрывает конкуренцию на во многом хаотическом, лишенном каких-либо институциональных рамок и ценностно-психологических ограничений виртуальном «рынке идентичностей» (что в известной степени нейтрализует возможность полноценной реализации государственной политики идентичности) [262; 266].

Таким образом, немаловажный момент, определяющий характер воздействия глобализации на российскую национально-государственную идентичность, связан с феноменом «постправды» – кризисом знания как фундамента реконструкции рациональной политической картины мира, формированием пока еще зыбких парадигмальных оснований



релятивистского по своей природе «постзнания», опирающегося в большей степени на иррациональные (аффективные и интуитивные) основания. По существу, в условиях доминирования «симулятивной реальности» ответы на вопросы «кто я?» и «кто мы?» становятся не результатом симбиоза «знаниевых» элементов и воспроизводства императивов культурно-политической традиции в их личностном преломлении, а в большей мере – следствием ситуативного, постоянно меняющегося индивидуального выбора под влиянием информационной турбулентности и сопутствующего ей пространственно-временного «сжатия».

На наш взгляд, неизбежное следствие такого процесса состоит в фрагментации социального, в том числе, и политического, пространства, замещении «больших» идентификационных систем, к коим относятся и национально-государственная идентичность, нестабильными и отчасти примитивизированными микросоциальными формами политического сознания. Представляется, что указанная тенденция, являющаяся порождением информационной глобализации, приводит к ущемлению разнообразных по своему содержанию идентитарных конструкторов с приставкой «макро-». Отсюда, например, вытекает четко обозначившаяся сегодня периферийность всевозможных дискуссий об «особом пути» России, бывших в центре отечественного интеллектуального дискурса в начале – середине 1990-х годов). При этом заметим, что речь идёт не о прагматизации и утилитарном характере восприятия политической реальности, а скорее о его подвижности: эмоциональной пластичности и ситуативной обусловленности.

#### *Глобализация и проблема транснациональной миграции в России.*

Отдельный момент, связанный с влиянием глобализационных изменений на российскую идентичность, сопряжен с проблемой миграции, которая особенно остро обозначилась после распада СССР и продолжает сохранять свою актуальность и сегодня. Представляется вполне

обоснованным утверждение В.М. Капицына и А. А. Акмаловой, что миграцию в современном мире следует рассматривать как «идентификационный и онтологический узел, связывающий внутренние социальные и этнополитические процессы с глобализацией» [130, с. 60]. По их мнению, один из аспектов данной проблемы – это «смещение этносов и изменение национально-государственной, этнической и локальной идентичностей» [130, с. 60].

Тем не менее, опираясь на ряд других исследований (В.Ю. Зорин [184], Т.В. Евгеньева, З.Р. Усманова [177], М.А. Бурда [152] и др.), важно оговориться, что негативные эффекты, прямо и косвенно порождаемые миграционной динамикой современной России, хотя и имеют отношение к рассматриваемому явлению (прежде всего, в контексте роста транснациональной мобильности трудовых ресурсов), но всё же, в первую очередь являются следствием социально-экономического кризиса в постсоветских государствах. При этом ряд отечественных исследователей-политологов, занимающихся данной проблематикой, рассматривает миграционные потоки в Россию из республик центральной Азии и южного Кавказа именно как *потенциальную долгосрочную угрозу* российской национально-государственной идентичности, которая материализуется, главным образом, через рост межэтнической напряженности в обществе, всплеск локальных этносоциальных конфликтов [152; 271].

Во многом аналогичным образом в современной зарубежной научной литературе взаимовлияние глобализационных и миграционных процессов в широком их понимании (включая не только трансграничное перемещение населения, контроль над ним, но также модели и практики социокультурной адаптации мигрантов в новой среде) рассматривается, как правило, с точки зрения кризиса «европейской идентичности» и обобщённой европейской модели мультикультурализма [300; 304]. На фоне острого миграционного кризиса в Европе в середине 2010-х годов все более обоснованными представляются мнения, которые выводят на первый план принцип взаимной

адаптации, в рамках которой именно меньшинства, включая мигрантов, должны вписываться в сложившиеся институциональные и социокультурные рамки «сообщества большинства». Иными словами, автономизация и наличие некоторых адаптивных механизмов, отдельных элементов позитивной дискриминации, не должно способствовать ни «геттоизации» иммигрантских микросоциумов, ни росту конфликтности в обществе в целом.

В данном контексте важно подчеркнуть, что указанные выше транснациональные миграционные процессы приводят, как правило, не к симбиозу культурных укладов и социально-политических идентичностей, а к всплеску этнонациональных конфликтогенных установок, заострению различных культурно-психологических фобий по отношению ко всевозможным «чужим». То есть, формируется негативная идентичность этнического ядра, которая является закономерным ответом на миграционные (и заключенные в них культурно-политические) вызовы глобализации. Однако необходимо понимать, что долгосрочный конструктивный потенциал такого типа коллективной самоидентификации крайне ограничен как в силу сложности воспроизводства на его основе позитивного образа будущего, так и в результате изначальной дисфункциональности «негативной идентичности» в качестве доминирующего и при этом долгосрочного механизма консолидации политического сообщества.

Опираясь на анализ научной литературы и результаты ряда исследований («Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России» в 2011-2012 гг. под руководством Т.В. Евгеньевой; «Образ иммигранта в сознании российских граждан: траектории формирования и конфликтный потенциал» в 2021 году под руководством В.Ю. Зорина), можно заключить, что в современном российском обществе отчетливо вырисовываются следующие четыре тренда политического восприятия мигрантов из стран ближнего зарубежья:

– снижение общего уровня фокусированной агрессии в отношении мигрантов компенсируется установками настороженности и отчуждения, стремлением «коренного» населения сохранять максимально возможную дистанцию по отношению к «приезжим»;

– нарастающая степень дифференциации отношения к выходцам из разных республик бывшего СССР: украинцы и белорусы воспринимаются преимущественно как «свои» в силу минимальных культурно-бытовых и лингвистических различий с россиянами, выходцы из стран средней Азии и, в особенности, южного Кавказа – как «чужие» и потенциальная угроза;

– в массовом сознании российских граждан мигранты устойчиво ассоциируются с криминализацией общества, ростом теневой экономики, низким уровнем зарплат и другими признаками социального неблагополучия;

– особенно сильным раздражающим фактором для значительной части россиян выступает наличие тех или иных *символических маркеров «иной» религиозной идентичности* – принадлежности к мусульманам. В этом случае мигранты воспринимаются не просто как некие расплывчатые чужие, но и нередко как потенциальные «враги», несущие опасность и на бытовом уровне, в повседневной жизни, и для российской национально-государственной идентичности в целом [177; 271].

Учитывая реалии постсоветской России, можно полагать, что адаптивные концепции миграционной политики представляются на сегодняшний день более релевантными сложившейся ситуации, нежели обращение к моделям, основанным на идеях массовой и всеобъемлющей (а не только этнической или религиозной) толерантности, которые доказали свою функциональную ограниченность, высокую рискогенность и внешнюю уязвимость в западных странах.

Вместе с тем, мы разделяем точку зрения, что в основе миграционных проблем современной России (если брать внешний контур и не рассматривать влияние внутренней межрегиональной миграции) лежат,

прежде всего, экономические и политико-административные обстоятельства. Первые сводятся к тому, что в Российской Федерации сформировался относительно объемный рынок трудовых ресурсов, включая низко квалифицированный сектор. Вторые заключаются в стремлении России играть роль геополитического центра притяжения для большинства постсоветских республик, интенсифицировать интеграционные процессы на пространстве бывшего СССР. Указанные обстоятельства накладываются на недостаточную обработанность существующих механизмов миграционной политики России, теневой характер административно-управленческих практик в данной сфере, стремление государства переложить проблему социокультурной адаптации иммигрантов на бизнес.

Представляется, что отдельным рискогенным фактором, негативно влияющим на социально-политическую стабильность в Российской Федерации, вне всякого сомнения, является слабо регулируемая ситуация всепроникающей, «навязываемой публичности» (и «новой искренности» как ответа на этот вызов). По-существу, такой формат делает практически неизбежным искаженное восприятие любого этнобытового конфликта, получившего отражение в социальных медиа, сквозь политико-психологическую призму образа «чужого»: как посягательство на «наше» территориальное и социокультурное пространство. С психологической точки зрения здесь можно зафиксировать своеобразный, основанный на механизме атрибуции эффект «увеличительного стекла», когда любой конфликт с участием «чужого» (к которым в российском массовом сознании относят не только мигрантов из других стран, но и выходцев из республик Северного Кавказа) приводит к непропорциональному информационно-психологическому импульсу. При этом фактическая роль «чужого» в указанном конфликте не является сколько-нибудь значимой (инициатор – ответчик, в эпицентре – на периферии, агрессор – жертва и т.д.).

Согласно нашему мнению, особенность данной проблемы состоит в том, что её решение не может быть обеспечено только посредством

тактических административных мер (от государственной корректировки информационной политики – «запрета на плохие новости» в виде криминальной хроники, в которых упоминаются национальная или этническая принадлежность мигрантов, до более рационально обоснованной идеи визового режима с рядом государств средней Азии). То есть, следует признать: в условиях роста информационной открытости набор ключевых инструментов, влияющих на установки российского массового сознания в отношении иммигрантов, смещается в плоскость политической социализации, сочетающейся с поиском стратегической составляющей в рамках государственной миграционной политики Российской Федерации.

Второй контур влияния глобализации на установки российской национально-государственной идентичности, о котором также часто говорят политологи, связан с *флуктуациями эмиграционных настроений* (а с начала 2000-х годов речь идёт именно о волнообразном движении в диапазоне 15-25%, а не о непрерывном росте) в российском обществе, прежде всего, в молодежной среде. В связи с этим показателен опрос «Левада-центра», проведенный в сентябре-октябре 2019 года, согласно которому, Россию желают покинуть (ответы «да» и «скорее, да») 21% респондентов. При этом, конечно же, в первую очередь обращает на себя внимание и глубокий поколенческий разрыв: в молодежной среде этот показатель равен 53% [397].

Также можно заметить, что в 2009-2019 гг. в России наблюдался резкий (с 29% до 53%) рост установок на эмиграцию среди молодежи в возрасте 18-24 лет [397]. Однако более информативным, на наш взгляд, представляется вопрос о мотивации эмиграционных настроений. В частности, результаты указанного исследования свидетельствуют, что на первый план у россиян, желающих переехать на постоянное место жительства за рубеж, выходят не влияние внешних факторов, ориентация на условные «либеральные» ценности, а сугубо внутрироссийские причины, связанные с ощущением «сравнительного неблагополучия» и неудовлетворенностью качеством собственной жизни, а также

расплывчатостью собственных перспектив. Показательно, что указанные проблемы тесно соседствуют у желающих уехать с чувством фрустрации: все больше проявляются «растерянность (17% против 10% среди тех, кто не задумывался) и стыд за происходящее в стране (18% против 11%)» [397].

Согласно более новому (сентябрь 2020 года) исследованию ВЦИОМ, покинуть Российскую Федерацию хотело бы только 16% опрошенных, остаться – 82%. При этом особо отмечается резкое снижение доли желающих эмигрировать среди молодежи (группа респондентов в возрасте 18-24 лет): с 51% в сентябре 2019 года до 38% в сентябре 2020 года [361]. Объясняя относительно высокий уровень миграционных установок у молодых россиян, Е. Михайлова отмечает, что «молодежь не связывает смену места проживания с отказом от своей российской идентичности, а переезд давно не воспринимается как фатальный выбор без возможности вернуться на Родину» [361].

Таким образом, необходимо зафиксировать следующее: в мотивационной структуре установок россиян на миграцию наблюдается переплетение возрастных социально-психологических (акцент на социальную мобильность, карьерную самореализацию) и экономических факторов в совокупности с расплывчатым пониманием собственных жизненных перспектив в сегодняшней (и во многом – завтрашней) России. Безусловно, в кристаллизации этих настроений играет роль и относительно (в сравнении с текущей российской ситуацией) привлекательный «образ повседневности» ведущих западных стран [361; 397]. При этом привлекательность данного образа для представителей поколения Z определяется такими прагматическими составляющими, как высокий уровень жизни и комфортная среда для самореализации, а не доминированием каких-либо специфических (условно «либеральных» и изначально «антироссийских») смыслов и политических ценностей.

На наш взгляд, важно особо выделить следующий момент: давление западных социально-политических ценностей и сопутствующих им

символических атрибутов («образа жизни») не является первоосновой мигрантских устремлений значительной части молодых россиян. Как показывают исследования, в основе таких установок лежит, прежде всего, сочетание материальных прагматических («сравнительное благополучие» западных стран по отношению к сегодняшней России) и, что более важно, перспективных оценок – возможности «реально добиться чего-то в жизни там». То есть, триггером желания эмигрировать выступает, в первую очередь, экзистенциальное недоверие к России и её будущему, а не влияние глобальной информационной «повестки дня».

*Российская национально-государственная идентичность и кризис «глобального мира» в начале 2020-х годов.*

Отдельный момент, заслуживающий особого внимания в контексте трансформации современной российской идентичности, связан со всё более очевидным в начале 2020-х годов кризисом существующей ныне западно-центричной модели глобального развития (так называемой «глобализации 1.0») и поэтапным формированием «новой нормальности» – контуров «постковидного мира», ориентированного на блоковую политическую конфигурацию, на многофакторную сегрегацию (не только по критерию наличия QR-кода или вакцинации определенной маркой вакцины) и национально-государственные размежевания.

Сегодня можно всецело согласиться с мнением, что «огромное влияние на представления о глобализации оказал системный мировой кризис 2020 г., который поставил под вопрос будущее глобализации как таковой, подверг беспощадной ревизии те фундаментальные парадигмы глобализации, которые казались незыблемыми тридцать лет назад. Однако нынешний кризис по сути лишь артикулировал те изменения в дискурсе, которые вызревали уже давно. Интеллектуальное и политическое наступление антиглобализма началось задолго до 2020 г.» [356, с. 5].



Очевидно, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала (как ранее миграционный кризис в Европейском Союзе), что современные интеграционные объединения и связанные с ними глобалистские институты далеко не всегда способны предложить эффективный универсальный инструментарий противодействия масштабным социальным и политическим угрозам. И тем более – обеспечить координацию политики национальных правительств по противодействию им. Более того, мы можем заметить, что речь идёт о неспособности выработать единые подходы к решению глобальных проблем даже в рамках «коллективного Запада» (в частности, такой структуры с высоким уровнем внутренней интеграции, как Европейский Союз). В этой ситуации утверждения о «конце глобализации», звучавшие в политологическом сообществе на протяжении 2010-х годов, выглядят, отчасти, обоснованно.

Но следует учитывать, что ряд ученых высказывает и более осторожную точку зрения. Согласно ей, после затяжного кризиса 2020-х годов, который будет носить системный – политический, экономический и техногенный – характер, возможно выстраивание новой парадигмы глобальной трансформации, в которой ведущая роль будет принадлежать не транснациональным акторам, а нескольким мировым центрам силы, взаимозависимым в политико-экономическом плане и активно взаимодействующим друг с другом [61]. По существу, речь идёт о реинкарнации с некоторыми видоизменениями сценария «давосского мира», прообразе геополитического «концерта держав» в информационную эпоху. При всем разнообразии подходов большинству исследователей представляется неизбежным снижение роли западных государств в формировании международной повестки дня. Оставаясь центром военно-политического и геоэкономического влияния, они утратят рычаги непосредственного информационно-психологического воздействия на массовое сознание населения многих других национально-государственных

сообществ, особенно тех, чья традиция самоидентификации зиждется на многовековых цивилизационных основаниях (Россия, Китай, Индия и т.д.).

Тем не менее, сегодня новая коммуникативная и социокультурная панорама современного мира продуцирует целый ряд политико-психологических вызовов, адресованных российской национально-государственной идентичности как интегративному, генетически сложному и конвенциональному представлению о «нас».

Обозначим три наиболее заметных и, по нашему мнению, фундаментальных вызова, которые были диагностированы по результатам авторского исследования «Формирование национально-гражданской идентичности российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ» (февраль-май 2014 года):

– наметившаяся «десакрализация» – *фактическое медленное обесценивание* – пространства в российской идентификационной матрице. Согласно проведенным нами исследованиям, территория воспринимается значительной частью молодых россиян *уже не как самостоятельная и терминальная по своей природе политическая ценность* (что свойственно для имперского сознания: «самая большая страна в мире», Британия – «империя, в которой никогда не заходит Солнце», Речь Посполитая «от моря до моря»), имеющая мета-характер, а в рационализированном ключе, как ресурсный базис возможной социальной модернизации;

– во многом аналогичные тенденции можно наблюдать, когда речь идёт и об обусловленном информационной глобализацией «*ускорении*» *политического времени*. Данный психологический эффект неизбежно провоцирует ситуацию всеобъемлющей социально-политической неопределенности, которая приводит к деформации темпорального измерения российской национально-государственной идентичности и резко снижает функциональные возможности государства по формированию устойчивого позитивного образа будущего [266, с. 188];

– *нарастающий эффект «клипового» восприятия и сознания*, являющийся порождением информационно-психологической хаотизации повседневности и продуцирующий расщепление (или невозможность полномасштабного формирования) политической картины мира. Это активно способствует перемещению национально-государственной идентичности, её значимых компонентов, на периферию внимания россиян. Идентичность при этом всё более воспринимается многими из них как статическая атрибутивная данность («родился здесь, так получилось»), но не в качестве терминальной политической ценности, и тем более не как мотивационный комплекс позитивного гражданского поведения.

*В заключение параграфа 3.1 можно сделать вывод*, что влияние глобализации на российскую национальную идентичность было неравномерным и разноплановым. Его рост в первое постсоветское десятилетие сменился рационализацией политического сознания российских граждан в 2000-е годы и поэтапно нарастающим стремлением к дистанцированию от «глобального мира» в 2010-е годы.

При этом можно полагать, что глобализация не привела к тотальному разрушению когнитивного фундамента самоидентификации россиян. Более того, в 2010-е годы отрицательное отношение к «коллективному Западу» стало импульсом регенерации негативных установок российской национально-государственной идентичности. Также следует отметить, что существенные изменения претерпел характер глобализационного воздействия на российское общество. Если в 1990 – начале 2000-х годов речь шла, главным образом, об отрицательных последствиях и издержках социокультурной и, отчасти, экономической глобализации, то сегодня её стержневым механизмом, активно влияющим на состояние и динамику политического сознания россиян, является интенсивная цифровая трансформация социального пространства.

### **3.2 Религиозный фактор в трансформации российской национально-государственной идентичности: особенности и пределы влияния**

Общепризнанно, что проблема влияния религиозного фактора на национально-государственную самоидентификацию занимает значимое место в политической науке в целом, и в современных идентитарных исследованиях в частности. Особо острое звучание она приобретает в ситуации всепроникающей политической нестабильности, свойственной переходным и посткризисным обществам. Как отмечает М.П. Мчедлов, «в тяжелые переломные периоды народных бедствий, краха привычных социально-политических идентификаций... резко возрастает роль традиционных – национальных и религиозных – идентичностей... Люди расходятся именно по национальным и религиозным «квартирам», даже если они не особенно глубоко верующие или вовсе неверующие» [222, с. 356].

Можно с уверенностью констатировать, что «миллениум» – рубеж тысячелетий – стал временем *de facto* глобального (по своему распространению) и многовекторного, противоречивого (по своей направленности и ценностно-символическому содержанию) «религиозного ренессанса». Данный процесс сопровождается интенсивной «политизацией религии», способствует дальнейшему «конфликту идентичностей», который принимает не только цивилизационное измерение, но и формирует новые линии размежевания» внутри до недавнего времени (начала 1990-х годов) относительно устойчивых национальных сообществ [143, с. 146-147]. Рельефно вырисовывается сложная конфигурация, когда «государство» как многоуровневая политическая ценность (и продуцируемая им через политику идентичности гражданско-политическая модель самоидентификации) вступает в глобальный ценностно-смысловой конфликт с религиозным сознанием масс.

Говоря о некотором целостном, непрерывном взгляде на рассматриваемую проблему, можно заметить, что на протяжении XX – начала XXI столетий происходил своеобразный нелинейный дрейф от классических, во многом секулярных по своему содержанию, концепций национального самосознания, где гражданско-политические его формы оппонировали традиционным – изначально проникнутым религиозным компонентом, к современным – конфессионально-центричным теориям. Первые основывались если не на противопоставлении, то на предельно четком разграничении *религиозных и гражданских* оснований, «политической нации» и нации историко-культурной. Вторые были обязаны своей востребованностью глобальному «религиозному ренессансу» на рубеже тысячелетий, наиболее ярким, но далеко не единственным проявлением которого стал исламский фактор в современной мировой политике [223, с. 164-167].

Однако, основоположники теории национально-государственной идентичности еще в конце XIX века, делая упор на политическую природу нации, на «зонтичную» над-религиозную гражданственность, тем не менее, обращались к таким семантическим конструкциям как «вера», «душа народов» и т.д. Не менее показательным и то, что многие апологеты религиозно-центричного взгляда на природу современного мирового порядка, по существу признают, что религиозные идентичности в современном мире, безусловно, довлеют над нацией и, тем более, государством [101].

Таким образом, конфликт «уставшего» Запада и условно «пассионарного» исламского Востока, всё более воспринимается учеными в несколько упрощенном виде, как противостояние двух типов идентичностей: вариативной гражданско-политической и аксиоматической религиозной. В связи с этим всё более громко звучат мнения, что междивилляционные конфликты вытесняют «рожденное Западом внутрицивилизационное столкновение политических идей» [284, с. 122].

*Религия и национально-государственная идентичность: паттерны взаимодействия.*

Размышляя о современном состоянии исследований проблемы взаимосвязи «религия – национально-государственная идентичность», необходимо упомянуть следующее: в XX столетии активно развивались и симбиотические концепции, в основе которых лежала идея опосредованного влияния религиозных верований на массовое политическое сознание через соответствующие системы политических ценностей, исторически сформировавшиеся в различных обществах [46; 105; 117]. Истоки указанного взгляда мы можем обнаружить уже в трудах классиков политической социологии конца XIX – начала XX столетий, прежде всего, Э. Дюркгейма с его идеями механической и органической солидарности [62].

По нашему мнению, такой *подход может быть охарактеризован как конвертационный*: религиозные формы сознания накладывают отпечаток на содержание политических ценностей социума, а те параллельно трансформируют идентификационные установки людей. То есть, происходит своеобразная *двойная конвертация*: религиозная вера влияет на политическое сознание, а то, в свою очередь, является пространством кристаллизации национальной идентичности. Именно *такой – социокультурный – взгляд*, нивелирующий политическую остроту и научно-методологическую ограниченность как секулярно ориентированного гражданского подхода, так и религио-детерминирующих концепций Постмодерна, сегодня и является наиболее востребованным при оценке роли религии в формировании национально-государственной идентичности в России.

Очевидно, важным фактором, определяющим место религии в процессах конструирования и воспроизводства национально-государственной идентичности, является проводимая государственная политика, архитектура властно-конфессиональных отношений в конкретной стране. Так, согласно выводам PEW Research Center, из 18 стран центральной и восточной Европы, в которых проводилось соответствующее исследование,

девять, «включая Россию и Польшу, неофициально «предпочитают» религию, принося несоразмерные выгоды определенной религиозной группе, хотя официально не признают ее» [399].

Тем не менее, следует подчеркнуть, что современные исследования взаимосвязи национальной самоидентификации и религиозной составляющей достаточно убедительно свидетельствуют: даже в государствах, где религия играет значимую политическую роль (более существенную, чем в России, например, в Турции и Ирландии), активно используется действующей властью в рамках проводимой политики идентичности, она представляет собой не более, чем *дополнительный компонент* политического сознания и *не способна* взять на себя *компенсаторные или, тем более, субституциональные функции*, выступить заменой установкам национально-государственной идентичности [102; 143].

Обращение к исследованиям взаимодействия национально-государственной идентичности и религиозного фактора, позволило нам ранее (совместно с С.Ю. Белоконевым) выделить четыре модели такого взаимодействия, характеризующиеся как конституирующая, симбиотическая, фрагментарно-конфликтная и «драйверная» [143, с. 150-153]. Наибольший интерес представляет *симбиотическая модель*. Она опирается на идею тесного государственно-религиозного сотрудничества и способствует тому, что доминирующая религия в её социально-преломленном («приземлённом») формате *de facto* становится ценностным фундаментом официальной государственной идеологии и сопряженной с ней «матрицы» идентичности.

*Роль религии в становлении новой модели российской национально-государственной идентичности в 1990 – 2010-е годы.*

Анализируя российские политические практики, можно выделить два принципиально важных этапа эволюции воздействия религиозного фактора на национально-государственную идентичность. *На первом этапе постсоветской трансформации (начало – середина 1990-х годов)*

в политическом сознании россиян, по мнению ученых, произошел не полноценный «религиозный поворот», но всплеск интереса к традиционным для страны историческим конфессиям. Он был вполне закономерен, «поскольку с начала 1990-х годов в результате рыночных реформ массовая общественная деятельность в ее светском варианте стала свертываться. Это было обусловлено комплексом причин, из которых выделим разочарование общества в «советских ценностях и образе жизни», включая те их элементы, которые в действительности имели общечеловеческий характер (гражданская ответственность, солидарность, милосердие и т.д.), и уничтожение в ходе непродуманных экономических преобразований так называемого советского среднего класса – наиболее социально активного слоя населения» [237, с. 380]. На втором этапе (2000 –2010-е годы) указанная тенденция в целом стабилизировалась, несколько снизилась и вновь вышла на повышательную динамику в период пандемии COVID -19. Это, в частности, подтверждает кросс-темпоральное сравнение результатов социологических исследований, представленное «Левада – центром» в апреле 2021 года и отраженное в таблице 11.

Таблица 11 – Какую роль в вашей жизни играет религия?

В процентах

Оценка	2005 г.	2007 г.	2012 г.	2013 г.	2016 г.	2020 г.	2021 г.
<i>Очень важную</i>	11	6	6	5	6	12	15
<i>Довольно важную</i>	27	26	24	29	28	28	26
<i>Не слишком важную</i>	39	41	45	43	40	35	32
<i>Не играет</i>	20	24	20	19	22	24	26

Источник: составлено автором по материалам [380].

Также необходимо особо отметить, что, начиная с рубежа 1990-2000-х годов, и Русская православная церковь, и другие институционализированные структуры, представляющие традиционные для России религии (иудаизм, буддизм, ислам – в особенности), усиливают свое



политическое влияние в официальном дискурсе, конструируемом российской властью. Федеральная религиозная повестка дня оказывается и политизирована (что по общеизвестным причинам происходило еще в 1990-е годы) и, что более существенно, в значительной мере интегрирована в идейно-политический вектор поэтапного конструирования конвенциональной модели общероссийской идентичности, направленной на сглаживание всевозможных «острых углов» массового исторического сознания.

Тем не менее, важно понимать, что такое развитие событий было во многом предопределено не только текущей внутренней конъюнктурой (необходимостью хотя бы частичной ценностно-политической консолидации общества и выстраиванием «вертикали власти»), но и по той причине, что именно традиционные религии несут в себе уникальный *бинарный политико-психологический потенциал*. Они справедливо могут рассматриваться одновременно и как важный инструмент противодействия религиозной радикализации политического пространства России, и как один из системообразующих механизмов государственной политики памяти с её неотъемлемым акцентом на традицию и историческую преемственность.

Однако, говоря о росте влияния религии на массовое сознание постсоветской России, следует отметить два знаковых момента.

*Первое.* Как показывают разнообразные исследования, сегодня религиозная самоидентификация, несмотря на её массовую востребованность, не является наиболее остро переживаемой ни в структуре личностной идентичности, ни в структуре коллективного «мы» российских граждан. В данном случае показательны результаты опроса респондентов в ходе реализации проекта «Национально-государственная идентичность в России» (январь-май 2017 гг.). При ответе на открытый вопрос «кто я?» собственную религиозную принадлежность упомянули только 11,7 % респондентов. Помимо этого религиозное самосознание не составляет конкуренции интегративной национально-государственной идентичности

(55%) в различных её формах – от гражданско-политической («гражданин России» до этнокультурной («русский»). Симптоматично, что еще меньше респондентов (4,7%) упомянули собственную принадлежность к религии в рамках аналогичного исследования «Формирование национально-гражданской идентичности российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ», проведенного тремя годами ранее в молодежной среде.

*Второе.* Масштабные общероссийские социологические опросы фиксируют расхождение между субъективной религиозностью («верю в Бога») и степенью вовлеченности российских граждан в религиозные практики. Таким образом, возникает своеобразная коллизия, когда внутренние религиозные установки не подкрепляются соответствующими поведенческими моделями, а нередко соседствуют и с неприятием религиозных институтов (таких, как Русская православная церковь, официальные образования иных традиционных конфессий).

Такую картину рельефно репрезентуют результаты лонгитюдного исследования (2000-2013 гг.) ФОМ, на основе которого был составлен «индекс воцерковленности» россиян, идентифицирующих себя в качестве православных. Согласно ему доля воцерковленных (тех, кто регулярно посещает храмы, исполняет иные религиозные обряды) и «полувоцерковленных» (делающих это эпизодически) варьируется в диапазоне 38% - 45%. При этом аналогичное число «немного» и «слабо» воцерковленных возросла за рассматриваемый период с 57% до 66% от числа приверженцев православия [396]. То есть, в российском обществе «складывается парадоксальная ситуация, когда 80 % респондентов и более методом самоидентификации определяют себя православными верующими, не являясь ими по сути» [131, с. 20].

Опираясь на указанные данные, а также методику В.Ф. Чесноковой, социолог К. Кожевина предлагает пятизвенную структуру той части

российского общества, которые идентифицируют себя как православные [354]. Указанная структура обобщена и отражена в таблице 12.

Таблица 12 – Уровень вовлеченности граждан с православной самоидентификацией в религиозные практики

Сегмент	Доля от числа православных	В процентах
		Социально-демографические и психологические особенности
<i>Воцерковленные</i>	12	Ядро – неработающие пенсионерки. Оценка политической ситуации – позитивно относятся к российской власти
<i>Полувоцерковленные</i>	33	Ядро – преобладают женщины, относительно высокая доля «технических исполнителей», служащих. Практически не соблюдают религиозных обрядов
<i>Немного воцерковленные</i>	31	Посещают храм 1-2 раза в год, практически никогда не причащаются
<i>Слабо и очень слабо воцерковленные</i>	24	Преобладают мужчины. Посещают храм очень редко, не соблюдают постов, не знают молитв

Источник: составлено автором на основе данных [354].

Также показательно, что согласно данным ФОМ, уровень доверия к Русской православной церкви (вопрос «Вы доверяете или не доверяете Русской православной церкви?») за последние годы существенно снизился (до 53% в марте 2020 г. по сравнению с 65% в 2014 г.). В то же время возрос уровень тех, кто «не доверяет» Русской православной церкви – с 15% до 27% за соответствующий период [368]. По нашему мнению, такая ситуация может объясняться синергией трех основных факторов:

1) традиционно высоким уровнем институционального недоверия в российском обществе (в этом ракурсе религиозные институты также воспринимаются как квази- или «окологосударственные» структуры);

2) ростом у россиян чувства общей социально-политической фрустрации, что неизбежно негативно влияет на восприятия всех компонентов социальной реальности, так или иначе связанных с

государством и властью. Как справедливо отмечают М.М. Мчедлова и Е.Н. Кофанова, существует «солидарность» всех, а не только православной, религиозно-мировоззренческих групп в оценке происходящих в стране изменений «скорее как регресса» [224, с. 12].

3) репутационными издержками, которые понесла Русская православная церковь в 2010-е годы, тем неблагоприятным информационным фоном, который сложился вокруг её деятельности.

В связи с этим всё более очевидным становится факт: несмотря на упоминаемую многими учёными и экспертами «политизацию православия», Русская православная церковь сегодня не способна выступить центром альтернативной макрополитической идентичности, играть самостоятельную консолидирующую роль в масштабах всего российского общества или хотя бы большей его части, в той или иной мере идентифицирующей себя как «православные». Такая двойственная ситуация, характеризующая роль Русской православной церкви в процессе формирования российской национально-государственной идентичности, обусловлена, в том числе и тем обстоятельством, что всеобъемлющий кризис идентичности, разразившийся после распада СССР, оказал деструктивное влияние и на православие. Как отмечает А.В. Митрофанова, «последствия социального коллапса 1990-х годов до сих пор не преодолены, что отражается и на жизни Церкви» [217, с. 120]. Согласно её мнению, «у современного прихода слишком много социальных конкурентов» [217, с. 120].

Опираясь на такие оценки, можно констатировать, что реальные, а не гипотетические институциональные возможности Русской православной церкви сводятся к *комплементарным («дополняющим»)* практикам в сфере существующей государственной политики идентичности – поддержке разнообразных, а не только имеющих религиозную составляющую, инициатив действующей власти по формированию исторически сбалансированной конвенциональной модели российской гражданско-политической нации

*Феномен бытового православия в контексте российской национально-государственной идентичности.*

Объясняя указанную ситуацию и её воздействие на российскую национально-государственную идентичность (и в историческом её измерении, и сегодня), необходимо обратиться к социокультурному феномену «*бытового православия*», которое может рассматриваться как результат адаптации религиозных установок к повседневной социально-бытовой культуре значительной части российского общества. Представляется, что развёрнутую характеристику места православия в его повседневно-практическом (а не собственно религиозном) измерении, равно как и других традиционных конфессий, в структуре массового сознания и микросоциальных практиках сегодняшней России даёт Т.С. Пронина: «говоря о религиозности современных россиян, следует отметить и ее амбивалентный характер. С одной стороны, большинство россиян заявляют о своей религиозности. С другой стороны, декларируемая религиозность сочетается с низким уровнем активности религиозной жизни, участия в жизни церкви, общины... Таким образом, россияне, причисляя себя к последователям традиционных религий, чаще всего обозначают свою принадлежность к данной культуре...» [242, с. 315]. Отсюда делается закономерный вывод, что «для значительного числа россиян, называющих себя последователями традиционных религий, религия является *фактором культурной идентификации, и таким образом, религиозная идентичность совпадает с осознанием собственной принадлежности к определенной культуре, с культурной идентичностью*» [242].

На наш взгляд, системообразующие значение «*бытовой*» версии православного социокультурного архетипа в структуре самоидентификации россиян находит отражение в рамках *четырёх основных дискурсивных траекторий*. Первая, и наиболее очевидная, подкреплена данными многочисленных политико-социологических исследований постсоветского периода и, таким образом, исходит из «*расширенного*» взгляда

на православие как таковое на основе текущей религиозной самоидентификации большинства россиян, а не степени их погружения в религию на уровне повседневных социальных практик. *Вторая* опирается на трактовку православия как *некой исконной первоосновы и одновременно имманентной терминальной мета-ценности российской государственности*, и в геополитическом («Москва – третий Рим» и т.д.), и в повседневно-символическом её проявлениях. В данном случае немаловажно отметить определенное внутреннее разграничение *доктринальной макрополитической* (как стержень государственной идеологии), *историко-конструктивистской* (как фрейм воспроизводства общероссийского образа прошлого) и *мировоззренческой микросоциальной* (православие в «пространствах повседневности» граждан России) функций.

*Третья дискурсивная траектория* заключается в поиске или постулировании устойчивой связи между этничностью и религиозной принадлежностью (в рафинированном виде это представлено озвученными респондентами формулами «русский – значит, православный» и «православный, потому что русский»), что сопровождается констатацией ключевой роли русского этноса в становлении России как политико-территориального образования. Указанная точка зрения, хотя и является производной социально-бытовых стереотипов, часто даже лишенных серьезных когнитивных оснований, тем не менее, обладает и весомым консолидационным потенциалом. Она нивелирует смысл конфликта между православием как «государственной» религией (естественно, не официальной, но преобладающей в обществе и поддерживаемой действующей властью) и над-религиозным политическим «мы» российских граждан – медленно формирующимся прообразом *гражданской модели общероссийской идентичности*.

*Четвертая дискурсивная траектория* активно воспроизводится в социальных медиа Рунета и несёт в себе изначально высокий потенциал идентификационной конфликтности. Она апеллирует к идее исторической

уникальности (фактически, часто речь идёт о превосходстве) России, причем не только как культурно-политического, но и как некоего аксиологического центра современного мира. Характерно, что при всей своей первичной фактической многогранности указанный дискурс в постсоветских реалиях достаточно легко трансформируется в трансцендентальные формы и соответствующие им геополитические проекции. Следствием распространения такого мировоззрения являются гипертрофированная Россия-центричная панорама мира (воспринимаемого не как арена непрерывной геостратегической конкуренции «с ненулевой суммой», а именно всепроникающего – не политического и даже не ценностно детерминированного, а онтологического по своей природе противоборства «добра» и «зла»), концепция «осажденной крепости» в различных её вариантах, мессианское восприятие «себя» относительно «других».

Во внутривосточном контексте подобная постановка вопроса также представляется достаточно резкой, поскольку неизбежно обостряет и без того злободневную для современной России проблему «ядро – периферия»: «коренных» и «некоренных» народов, первичного «государствообразующего» этноса и «национальных меньшинств», часто имплицитно понимаемых в качестве второстепенных в структуре российской государственности.

По нашему мнению, можно признать, что на сегодняшний день православный фактор в российской национально-государственной идентичности, её трансформациях, занимает с точки зрения массового сознания важное, но не стержневое место, а в рамках существующего политического дискурса проявляет себя в *четырёх различных объяснительных концепциях-нарративах*: официально-политическом, сегрегационном, социокультурном и конфликтно-мобилизационном. Указанные нарративы, их наиболее заметные содержательные стороны, особенности их текущего воздействия на российскую национально-

государственную идентичность, а также место в российской политике идентичности, представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Православный фактор в трансформации российской национально-государственной идентичности: нарративы и характер влияния

Нарратив	Содержательные характеристики	Влияние на российскую идентичность	Место в политике идентичности
<i>Официально-политический</i>	Церковь de facto выступает одним из его базовых институтов, носителем традиционных общероссийских (а не только православных) ценностей	<i>Невысокое:</i> ограничивается низким уровнем доверия к властным институтам	Адаптивное, вспомогательное
<i>Сегрегационный</i>	Религиозность – «личное дело», «Бог в душе», религия – «вне политики»	<i>Низкое:</i> не обладает серьезным конфликтным потенциалом	Используется редко
<i>Социокультурный</i>	Православие – один из основных исторических компонентов российской государственности, актуальный и сегодня в полиэтническом и многоконфессиональном российском обществе	<i>Высокое:</i> может рассматриваться как один из ключевых механизмов кристаллизации российской идентичности политического типа.	Дополняет политику идентичности
<i>Конфликтно-мобилизационный</i>	Православие – фундаментальная первооснова российской идентичности Доминирующая ценность русского этноса, которая должна определять развитие и политику России в целом	<i>Невысокое:</i> деструктивное, обладает мощным конфликтным потенциалом	В отдельных случаях - вызывает жесткое противодействие

Источник: составлено автором.



*Воздействие исламского фактора на российскую национально-государственную идентичность.*

Отдельный важный вопрос, заслуживающий пристального внимания, связан с влиянием исламского фактора на российскую национально-государственную идентичность, её современное состояние и векторы дальнейшей трансформации. Научная и политическая значимость указанной проблемы измеряется не только общеизвестными демографическими и территориальными (наличие в составе России субъектов с преобладающим мусульманским населением) факторами, но и «импортом ислама» – активизацией исламского радикализма на территории России, имевшей место в 1990-2000-е годы.

По существу в 1990-е годы манипулирование религиозным фактором, предание «исламской окраски» этнополитическим или сугубо внутриэлитарным (ресурсным – лежащим в области «экономического национализма»: контроля над активами и перераспределения финансовых потоков) противоречиям являлось одной из наиболее востребованных технологий политического воздействия на массовое сознание в ряде российских регионов. Цель такого воздействия состояла в том, чтобы, противопоставляя религиозную идентичность на тот момент крайне аморфной общероссийской, как минимум оправдать (Татарстан), а нередко и интенсифицировать (Чечня, Ингушетия) конфликт региональных политико-экономических элит с федеральным центром, представить его как экзистенциальное противостояние фундаментальных смыслов и ценностей.

Современные российские ученые и общественные деятели, признавая значимость исламского фактора как одного из конституирующих звеньев фундамента общероссийской национально-государственной идентичности, говорят о его двойственном влиянии. С одной стороны, утверждается представление о необходимости тесного взаимодействия с мусульманским населением России с целью не допустить нивелирования – «подмены» или разрушения оснований – идентичности гражданской посредством

идентичности религиозной в её деструктивных формах [186, с. 24-27]. С другой стороны, в ряде концепций и экспертных оценок (особенно ориентированных на стационарное понимание российской идентичности) очень часто исламский фактор, его влияние, либо неоправданно нивелируется, либо подвергается негативной гипертрофии: интерпретируется как однозначная и сверхдолгосрочная, по существу, имманентная угроза первоосновам российской государственности.

Также весьма показательным и следующим расхождением: среди тех подходов, которые не рассматривают ислам исключительно как вызов, вырисовываются две смысловые линии. Первая говорит о важности *четкой демаркации* и полномасштабной реализации принципа отделения религии от государства и, следовательно, от национально-государственной идентичности гражданско-политического типа. Вторая, на наш взгляд, более обоснованная линия может рассматриваться как *инклюзивная*. Она делает акцент на то, что современная российская идентичность, хотя и является политической по своей природе, не может рассматриваться только с точки зрения феномена гражданственности («гражданской религии»), а представляет собой сложное культурно-историческое явление. Указанный взгляд опирается на то, что присутствие ислама и, что крайне существенно, элементов исламской социально-бытовой культуры, в ценностно-смысловой структуре общероссийской идентификационной «матрицы» – не дань принципу толерантности, а результат многовекового (фактически, с XIV столетия, еще до формирования централизованного Российского государства) исторического процесса.

Как показывают современные исследования, приверженность исламу не оказывает негативного и даже сдерживающего влияния на формирование общероссийской идентичности. Речь идёт лишь о поиске структурно сбалансированных, функционально устойчивых, институциональных форматов относительной автономии, и в оптимальном случае –

симбиотических «точках интеграции» этих двух идентификационных конструктов [184; 186; 248].

По данным, приводимым С.В. Рыжовой и представленным в таблице 14, мусульмане ощущают себя гражданами России «в равной мере православным» [248, с. 55].

Таблица 14 - Уровень российской идентичности среди православных и мусульман России

В процентах

Переживание общности с российскими гражданами	В целом в России	Православные	Мусульмане
Часто ощущают	67	70	74
Иногда ощущают	24	21	18
Общий уровень российской идентичности	91	91	92
Никогда не ощущают	5	6	4

Источник: составлено автором по материалам [248, с. 55].

Приведенные данные свидетельствуют, что ислам в современной России, равно как и православие, в значительной степени комплементарен российской национально-государственной идентичности. То есть, речь идёт о постепенном становлении симбиотической модели государственно-религиозного взаимодействия в Российской Федерации. Однако, учитывая этот, безусловно, положительный момент, нельзя игнорировать три обстоятельства.

Первое связано со сложностью адаптации отдельных мусульманских групп граждан России – прежде всего, молодежи из северокавказских республик – к социально-бытовым нормам и моделям поведения большинства: представителей русского социокультурного ядра. Очевидно, что многочисленные проблемы в данной сфере – есть производная невысокой эффективности соответствующих институтов политической

социализации, в том числе, на уровне отдельных субъектов Российской Федерации, что усугубляется курсом части региональных элит на подчеркивание своего особого, если не политического, то культурно-символического статуса в России.

Второе обстоятельство вызревает из того факта, что серьезным потенциальным вызовом для России по-прежнему является возможность избыточной деструктивной политизации религии. Заметим, речь идёт не просто о существенном пересечении политической и религиозной сфер общественных отношений или о диффузии соответствующих пластов массового сознания, а именно о проекции политических конфликтов на религиозную плоскость. Пожалуй, наиболее яркий пример указанного негативного опыта являются собой первая и вторая чеченские войны, когда террористы и сепаратисты эксплуатировали исламский фактор, искусственно пытаясь придать ему антироссийскую направленность. Такая деструктивная деятельность последовательно осуществлялась при участии внешних акторов посредством пропаганды обновленного ислама. Активно опираясь на поддержку указанных внешних игроков (Турция, Азербайджан, ряд западных негосударственных структур) региональные элиты осуществляли антироссийскую политическую мобилизацию через поиск «внутренних неверных» среди собственного населения.

В связи с этим необходимо признать тот факт, что сегодня ислам в силу исторических причин, своего двойственного – крайне значительного, но всё же миноритарного – положения в конфессиональном пространстве России обладает серьезным конфликтным потенциалом по отношению к общероссийской национально-государственной идентичности.

Но, анализируя указанное обстоятельство, следует делать главный акцент именно на то, что речь идёт о влиянии внешних факторов на параметр конфликтности: глобальная тенденция форсированной политизации ислама и актуализация транснациональной исламской идентичности неизбежно затронули и ряд регионов России, социальных групп в них проживающих

(прежде всего, молодежь). Тем не менее, предпринятые в 1990-е годы извне попытки придать российскому исламу отчетливо конфронтационный – антироссийский – политико-культурный вектор в целом оказались неэффективными в долгосрочной перспективе. Наоборот, конвенциональные по своей сути стратегии большинства представителей мусульманского сообщества (как религиозных лидеров, так и отдельных верующих) оказались существенно более продуктивными. Это позволяет говорить уже о накоплении российским исламом значительного конструктивного импульса для поэтапного выстраивания прочной комплементарной модели религиозно-идентификационного взаимодействия. В рамках этой модели базовые ценности мусульман могут быть органично интегрированы в структурное поле общероссийской национально-государственной идентичности.

Важно особо подчеркнуть, что конфликтные практики по линии «религия (или псевдорелигия) – национально-государственная идентичность» ни в коей мере не исчерпываются исключительно исламом. В своем локальном проявлении они обусловлены, прежде всего, деятельностью разнообразных деструктивных культов на территории Российской Федерации, пик которой пришелся на 1990-е годы. Однако можно согласиться с утверждением, что на сегодняшний день указанная проблема распространения псевдорелигиозных учений в России не решена в полной мере. Она потеряла свою былую остроту и приобрела латентный характер, активно при этом «цифровизируясь» и переместившись в пространство симулятивной реальности. Кроме того, важно, на наш взгляд, обратить внимание и на эпизодические попытки использовать православие для провоцирования конфликтов, имеющих зримый политико-идентификационный подтекст. Один из последних заметных примеров – события 2020 года вокруг Среднеуральского монастыря и его настоятеля С. Романова [371].

Третье, и на наш взгляд, центральное обстоятельство связано с тем, что степень и характер влияния религиозного фактора на российскую

национально-государственную идентичность достаточно жестко обусловлены политической динамикой и структурно-функциональным состоянием российской политической системы. Тенденция её институционального укрепления и политико-психологической консолидации способствует выработке и расширению поля комплементарных практик, в которых религиозная самоидентификация (если речь идёт о двух наиболее массовых конфессиях – православии и исламе) является нейтральной или *комплементарной* по отношению к национально-государственной. Прообраз именно такой – *комплементарной* – модели взаимодействия этих двух типов идентичностей можно наблюдать в России середины 2000 – 2010-х годов.

Ослабление системы государственного управления и кризис общероссийской идентичности (1990 – начало 2000-х годов) способствуют тому, что религия начинает выполнять *компенсаторную функцию*, призванную частично восполнить утрату обществом идентификационных ориентиров. Однако указанная компенсаторная механика – перефокусирование массового сознания от государственно-политических установок на религиозные – не может быть всеохватывающей, абсолютно удобоваримой для большинства российских граждан. Её присутствие в социальном пространстве современной России не снимает задачи формирования гражданско-политической модели идентичности и модернизации ныне существующей политической системы. При этом имеет смысл также учитывать, что сегодня, согласно разделяемому нами мнению М.М. Мчедловой и Е.Н. Кофановой, «запрос на перемены в российском обществе разделяют все религиозно-мировоззренческие группы... Данный запрос конкретизируется в желании реформирования политической системы в сторону большей открытости, с одной стороны, а с другой – в сторону обеспечения государством социальных гарантий...» [224, с. 7].

В заключение параграфа 3.2 можно сделать вывод, что религиозный фактор на протяжении всего рассматриваемого периода (1991-2021 гг.) выполнял, в целом, *комплементарную функцию* в процессе формирования

российской национально-государственной идентичности. Особенно это относится к возросшему в 1990-е годы и впоследствии стабильно высокому влиянию православия на самосознание россиян, включая такую его форму, как «бытовое православие». Вместе с тем, в 1990 – начале 2000-х годов религиозные ценности и связанные с ними идентификационные ориентиры отчасти реализовывали и компенсаторную функцию, частично восполняя «вакуум» национально-государственной идентичности. При этом возрастающая роль религиозного сознания, прежде всего ислама, его проникновение в политическую сферу («политизация религии»), также несли в себе значительный конфликтный импульс, который инструментально и конъюнктурно использовался в деструктивных политических практиках 1990-х и, в меньшей степени, 2000-х годов.

### **3.3 Место этнорегионального фактора в трансформации российской национально-государственной идентичности**

Приступая к анализу влияния этнорегионального фактора на трансформационную траекторию российской национально-государственной идентичности, следует разграничить два основных смысловых поля.

Первое – *фундаментальное* и наиболее проработанное – связано с некоторыми сверхдлительными (а по существу, основополагающими и константными) характеристиками российской государственности как исторически сложного и полиэтничного феномена. Второе поле (обозначим его как *динамическое*) также подверглось серьезному изучению в постсоветский период. Оно имеет более отчетливую прикладную проекцию и концептуализируется вокруг отношений «центр – регионы», воздействия этнорегиональной специфики на становление политической системы Российской Федерации с момента распада СССР.

Несомненно, именно второе, динамическое поле представляет наиболее существенный интерес в рамках рассматриваемой проблемы. Тем не менее, имеет смысл обратиться и к фундаментальным аспектам понимания роли этнорегионального фактора в кристаллизации российской национально-государственной идентичности.

*Концептуализация феномена этнорегиональной идентичности сквозь призму российского опыта.*

Размышляя об особенностях взаимодействия общероссийской национально-государственной и региональных идентичностей, следует дать определение последним. По нашему мнению, весьма продуктивным является системно-динамический взгляд, согласно которому региональная идентичность есть «выработка и поддержание коллективных смыслов, системообразующих и регулирующих групповое взаимодействие, поддерживающих символическое единство регионального сообщества» [128, с. 5].

Поскольку феномен региональной идентичности является предметом широких дискуссий, в политической науке не сложилось консенсуса по поводу исчерпывающего перечня её характеристик. Но в целом можно согласиться с мнением Р.В. Пеньковцева и Н.А. Шибановой [235], что региональная идентичность обладает тремя несомненными базовыми свойствами – референтностью, гетерогенностью и динамичностью. Исходя из такого понимания, она по своей генетике должна рассматриваться как:

– общественная, коммуникативная: её поддержание на коллективном уровне возможно только в процессе социального взаимодействия;

– внутренне неоднородная: «региональным «своим» противопоставляются «чужие», к числу которых часто причисляется и центральная власть [235, с. 180];



– подверженная существенным изменениям в силу разнообразных внутренних факторов и внешнего воздействия.

Отдельная проблема российской политической науки обусловлена необходимостью дальнейшего уточнения типологии региональных идентичностей, в том числе, сквозь призму такого измерения, как характер их взаимодействия с общероссийской идентификационной «матрицей». Считаем, что в данном контексте особый интерес представляют работы М.В. Назукиной, которая выделяет в структуре идентичности культурный и стратегический уровни [128, с. 12]. Последний по своей сути представляет собой продукт соответствующей политики идентичности, хотя и не синонимичен ей. Опираясь на указанную двухуровневую схему, М.В. Назукина классифицирует региональные идентичности по таким двум параметрам, как наличие или отсутствие каждого из данных уровней, что позволяет выделить четыре типа соответствующих региональных идентичностей, существующих в России [128, с. 13-14].

Еще один вопрос, являющийся существенным в рамках проводимого исследования – это возможность четкой дифференциации этнорегиональной идентичности (с присущими ей и часто не совпадающими фактическим и конструируемым территориальными ареалами – исторически сложившимися образами «нашего» пространства) и идентичности собственно региональной. Поэтому интерес представляет позиция М.П. Крылова, который трактует последнюю как «внутренний имидж» – системную совокупность социокультурных компонентов, связанных с понятием «малая родина» [68, с. 13;71].

На наш взгляд, следует подчеркнуть: этнорегиональная идентичность, даже базирующаяся на идеях и смыслах этнической «особости», ни в коей мере не тождественна идентичности этнополитической. Тем более, она не должна восприниматься исключительно сквозь призму конфликтных и сепаратистских практик. Более того, наличие развернутой региональной или макрорегиональной идентичности далеко *не всегда* зиждется на

доминанте этнической «особости» территории, её «инаковости» именно по отношению к национально-государственному центру и другим частям страны. В то же время опыт центр-периферийных отношений в постсоветской России и ряде зарубежных государств (Испания – Каталония и Баскония, Великобритания – Шотландия, Китай – Тибет, Пакистан – Белуджистан, Канада - Квебек и т.д.) свидетельствует о двух важных моментах, которые следует учитывать при анализе влияния этнорегионального фактора на российскую национально-государственную идентичность:

- выраженная этничность часто получает соответствующее региональное обрамление – «надстройку» в виде автономии, формальной (как, например, Синьцзян-Уйгурский и Тибетский автономные районы в Китае) или реальной;

- именно регионы, в которых зримо присутствует специфическая этнокультурная самоидентификация, отличная от территориально-демографического ядра (большинства населения), в наибольшей степени демонстрируют явные или латентные центробежные тенденции. Причем, проявлением таких импульсов не обязательно выступает этнорегиональный сепаратизм в его крайних, агрессивных формах. Часто противоречия между центральной властью и региональным этнокультурным сообществом ретранслируются в приемлемые культурно-символические форматы: в сферы искусства, спорта, разных подходов в оценках исторического наследия.

Представляется, что очевидное «переплетение» этнического и регионального идентификационных факторов в современном мире позволило ученым выработать развернутое понимание этнорегиональной идентичности как симбиотического явления – образа «мы» в его многомерной психологической и структурной репрезентации. В его основе лежит историческое сочетание этничности (находящей свое концентрированное выражение в языке и культурных маркерах) и устойчивой привязки к определенной территории. При этом важно

пояснить, что речь не идёт только о механическом наложении этнического компонента на пространство: последнее фиксируется в системе соответствующих географических представлений мезосоциума, занимая одну из центральных позиций в структуре самосознания этнорегиональной общности [60, с. 11].

Более того, необходимо понимать, что социально-конструктивистский взгляд на природу идентичности предопределяет, что содержание этнического элемента в структуре этнорегиональной идентичности также не является константой. Оно может ослабевать в силу широкого круга исторических причин (например, слабое распространение этнического языка среди молодежи и, как следствие, сокращение числа его носителей) или интенсифицироваться, обретать политическую оболочку (в том числе, и через мобилизационную политику идентичности, проводимую региональными элитами).

*Специфика и траектории взаимодействия «центр – регионы» в контексте формирования общероссийской идентичности.*

В отечественном политическом знании на протяжении всего постсоветского периода ведущее положение занимала точка зрения, что Россия как политико-территориальное образование *de facto* является многосоставным обществом [64; 68; 221]. При этом сам феномен многосоставности оценивался не только в ракурсе адаптации политической системы к соответствующим рискам (например, с точки зрения сегментарных различий и институционализации политической автономии таких сегментов, о чем писал А. Лейпхарт [71]), а в более широких геоисторических контекстах. По существу, речь шла о многофакторном разнообразии, обусловленном комбинацией этнических, религиозных, социокультурных, географических и, что крайне существенно, социально-экономических различий. Однако важно отметить, что такой взгляд на природу российской многосоставности содержал в себе и серьезные теоретические вариации,

которые породили диаметрально противоположные экспертные оценки по поводу жизнеспособности российского федерализма (и России как единого государства).

Также общепризнанным является и тот момент, что на первом этапе (1991-1999 гг.), в условиях кризиса общероссийской идентичности и слабости центральной власти, в России сложилась система доминирования инструментальных этнорегиональных идентичностей. Её проекцией на политическую динамику явился символический «парад суверенитетов» 1991-1994 гг., который был детерминирован не только институциональной дисфункцией системы государственного управления Российской Федерации, но и целым рядом других, на наш взгляд, не менее существенных обстоятельств. Следует признать, что этот «парад суверенитетов», в отличие от аналогичного процесса в позднем СССР, носил всё же преимущественно политико-символический и экономический, а не агрессивный этноконфликтный характер. Тем не менее, в его рамках предпринимались и действия, которые можно однозначно квалифицировать как политический сепаратизм. Среди наиболее известных из них, помимо событий в Чечне, это попытка создания «уральской республики», отказ Татарстана от подписания федеративного договора и попытка проведения референдума о «суверенном государстве», провозглашения приоритетов региональных законов над федеральными, право сецессии (республика Тува) и др.

*Во-первых*, среди обстоятельств, способствовавших постсоветскому «параду суверенитетов», необходимо выделить деструктивную роль федерального центра в этом процессе: как на риторическом уровне («берите суверенитета, сколько захотите» и т.п.), так и в сфере стратегического взаимодействия с субъектами федерации, их политико-правового позиционирования (разработка и подписание федеративного договора 31 марта 1992 г.). В этом смысле показательна статья 5 Конституции России, в которой республика именуется государством, а также особо подчеркивается, что она имеет «свою конституцию и законодательство» [1].

Естественно, что такие нормы не просто создавали правовой фундамент для конфедерализации России, но (в условиях отсутствия устойчивой, функционально выстроенной модели позитивного взаимодействия между Кремлем и регионами) прямо провоцировали этот процесс. Яркий пример попыток закрепления центробежных практик в региональном законодательстве того времени – конституция Тувы 21 октября 1993 года, в статье 1 которой было сказано, что «Республика ...имеет право на самоопределение и выход из состава Российской Федерации» [12].

*Во-вторых*, немаловажную роль в центробежной динамике «новой России» играл социально-экономический кризис и сознательное дистанцирование руководства Российской Федерации от решения региональных проблем. Это обстоятельство побуждало правящие элиты субъектов Российской Федерации искать собственные пути их решения, в том числе, и через развитие межрегиональных и международных связей. Закономерным итогом этой тенденции стала «губернаторская фронда» 1998-2000 гг., когда главы наиболее экономически сильных регионов, а также примкнувшие к ним лидеры малых «этнических» республик (прежде всего, конфронтационно настроенные по отношению к федеральному центру – Р.С. Аушев, А.А. Джаримов и др.) образовали мощную коалицию – «альтернативную партию власти» и выступили против Кремля.

*В-третьих*, переход руководства России в 1990-е годы к формату подчеркнуто равной, горизонтальной политической коммуникации с наиболее заметными лидерами субъектов Российской Федерации (по существу, в режим политико-экономического торга) провоцировал закономерный всплеск различных форм регионального и узко корпоративного «экономического национализма» и, как следствие, активную инструментализацию этнорегиональных идентичностей. Их целенаправленная и форсированная актуализация выступала механизмом комплексного – политического, экономического, информационного – давления на Москву. При этом манипулирование «особостью» территории

стали использовать не только главы этнических субъектов федерации, но и других – так называемых «русских» – регионов, обладавших существенным экономическим потенциалом и заметными элементами культурно-исторического (субэтнического) своеобразия. Известные примеры – провозглашение «уральской республики» Э. Росселем, усиленное конструирование региональных мифов вокруг казачества в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Таким образом, в 1990-е годы в России сложился своеобразный, слабо структурированный *политический рынок этнорегиональных идентичностей*. Они выполняли двойственную функцию – символического «товара» в диалоге регионов с федеральным центром (через предоставляемые политико-экономические преференции в обмен на публичную лояльность) и одновременно механизма, обеспечивающего рост долгосрочной статусно-политической капитализации региональных элит (через демонстрацию ими своих возможностей в сфере мобилизации негативных установок регионального самосознания, противостоящих национально-государственным) [94, с.84].

Важно отметить, что полномасштабное возвращение государства в сферу конструирования национально-государственной идентичности, которое произошло в 2000-е годы, в целом коррелировало с коренным переформатированием отношений «центр – регионы». Однако это не означало всеобъемлющего «отказа» от региональной идентичности, нивелирования её значения: политика по её формированию приобрела более сдержанный характер, частично конвертировалась из конфликтной в комплементарную культурно-историческую плоскость. В связи с этим следует отметить серьезные и продуктивные усилия федерального центра в данном направлении, когда своеобразной компенсацией за отказ от противопоставления «особости» отдельного региона общероссийской идентификационной «матрице» нередко становились статусно-символические действия, призванные подчеркнуть значимость конкретного

этнополитического сообщества в общероссийском масштабе. Яркие примеры реализации такого подхода – празднование 1000-летия г. Казани в 2005 году и проведение в этом городе универсиады-2013 (что открыло возможности позиционировать Казань и как «спортивную столицу», и как «третью столицу» России); практика проведения выездных заседаний Государственного совета Российской Федерации.

Также следует особо выделить тот факт, что целый ряд инициатив власти по модернизации системы административно-территориального устройства России (что означало бы, если не «слом», то попытку резко нивелировать роль отдельных региональных идентичностей) не были четко сформулированы и, соответственно, реализованы в полном объеме. Создание федеральных округов (2000 год) как координационных центров государственного управления не привело к «перетеканию» социально-экономических полномочий от субъектов Российской Федерации к институту полномочных представителей. Процесс ликвидации асимметричной и «матрешечной» территориальной структуры российского федерализма не был завершен (прежде всего, по причине активного сопротивления лоббистских политико-экономических структур, заинтересованных в сохранении Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов) и, самое главное, не затронул республики.

Активное обсуждение идеи присоединения экономически слабых и малых «этнических» субъектов к более крупным в 2005-2008 гг. не вышло на концептуально-политический уровень (прежде всего, подразумевались Адыгея, занимающая анклавное положение внутри Краснодарского края и республика Алтай – в контексте возможности её присоединения к Алтайскому краю). Более того, идея интеграции Адыгеи в состав Краснодарского края натолкнулась на широкое противодействие – как внутреннее, так и на международной арене [391]. Сегодня попытка в той или иной форме актуализировать идею объединения субъектов федерации не находит поддержки не только у региональных групп интересов (что вполне

объяснимо), но и значительной части российского «политического дискурса» в целом [363]. Характерный пример последнего времени – негативная реакция на высказывание заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина о якобы существующей экономической и управленческой целесообразности ликвидации Еврейской автономной области и Курганской области [331].

Отсюда можно сделать вывод, что российская национально-государственная идентичность, если речь идёт о формировании её завершённой и устойчивой гражданско-политической модели (а не ограниченной государственно-патерналистской, сопровождаемой мощным этноконфликтным импульсом), неизбежно будет конституироваться как многосоставная. То есть, выступать тем типом смысло-символической «матричной» структуры, в которой присутствует смешивание референтных идентификационных групп.

Таким образом, имеет смысл рассматривать возможности совершенствования исторически сложившегося, а не сводимого к наследию советской национальной политики «матрёшечного» формата российской идентичности. В нём место и характер собственно гражданского компонента, степень его продуктивности и резистентности к внешним вызовам, определяется способностью учитывать этнокультурные особенности различных российских территорий, выработать комплементарный тип взаимодействия между общероссийским и региональными «мы-образами». То есть, речь идёт о синтезной модели национально-государственного строительства на основе двух вариантов – гражданского и культурно-интегративного [213, с. 124].

Однако заметим, что в нашем понимании «врожденная» многосоставность и «матрешечная» композиция российской национально-государственной идентичности (трактуемой именно в структурном преломлении – как интегративное представление-конструкт) ни в коей мере не синонимична «слабой» федерации. Кроме того, она не предполагает



необходимости воспроизводства советской (основанной на главенстве этнократического принципа «матрешечно-автономизаторской») архитектуры административно-территориального устройства.

Также можно полагать, что укрепление структуры российской национально-государственной идентичности в будущем (разумеется, при учете фактора многосоставности общества) не предполагает ни воспроизводства модели консоциативной демократии, ни искусственной поддержки этнократической «особости» на политическом уровне.

*Идентификационные конфликты в России в 2010-х годах: региональное измерение и проекция на федеральный уровень.*

Следует полагать, что, не смотря на последовательные усилия российской власти по конструированию конвенциональных оснований общероссийской самоидентификации, в отдельных российских регионах накоплен существенный конфликтный потенциал по отношению к национально-государственной идентичности. Начиная с середины 2000-х годов он пребывает в латентном («спящем») состоянии, что не исключает его форсированную активацию в случае серьезных политических кризисов. Таким образом, перед нами вырисовывается такая острая проблема, как наличие явных и скрытых *идентификационных конфликтов* в системе отношений «центр – регионы».

*С одной стороны, такой конфликт должен пониматься как столкновение, отражающее неприятие региональными элитами или их частью, населением, политических инициатив государственной власти, связанных со сферой социокультурной самоидентификации и исторической памяти.* Как правило, ценностно-смысловым основанием таких конфликтов выступают противоречия между официально-государственным и региональным (местным) образами прошлого, различные трактовки тех или иных исторических событий и эпизодов.

С другой стороны, возможен и обратный алгоритм развития подобного конфликта: инициатива, первоначально выдвигаемая на местном или региональном уровне (по существу, затрагивающая локальные «места памяти»), через некоторое время катализирует идентификационные расколы общероссийского масштаба, косвенно вовлекая в такие «войны памяти» и федеральный центр.

Опыт постсоветской России наглядно свидетельствует о том, что многие из этих конфликтов не являются рафинированными по своему содержанию, не могут интерпретироваться исключительно как столкновение идентификационных представлений. Помимо историко-культурной составляющей они имеют, как правило, и контекстуальное измерение, и мощный *мотивационно-прагматический компонент*, связанный со статусными и ресурсными политико-экономическими притязаниями региональных элит в их диалоге с федеральным центром. Тем не менее, не представляется возможным рассматривать такие конфликтные проявления упрощенно, только в утилитарном ракурсе – как механизм манипулирования региональным общественным мнением, ситуативно используемый властями субъектов Российской Федерации в их противоборстве с Москвой.

Представляется, что при анализе такого типа идентификационных конфликтов важно избегать двух крайних точек зрения. Во-первых, их нельзя рассматривать в расширительном ключе – как всякое локализованное столкновение представителей разных этносов «на бытовой почве», принявшее этнический оттенок (что происходит крайне часто при подобных эксцессах). Во-вторых, представляется, что речь идёт в меньшей степени о формализованном – четко структурированном вертикально-политическом – столкновении между федеральной властью и региональными элитами (пожалуй, примеры такого рода в последнее десятилетие даёт только Татарстан). В большей мере необходимо говорить о конфронтационной позиции части региональных – не только политических, но и экономических, культурных – элит, выражаемой бессистемно и в неявной форме, или

о неприятии российским обществом отдельных региональных инициатив в сфере исторической памяти.

Автоматизированный мониторинг социальных медиа Рунета, проведенный в январе-феврале 2021 года при помощи систем «Медиалогия» и IQ Buzz, позволил нам выявить *несколько идентификационных конфликтов*, наиболее заметных с точки зрения «цифровых следов». Оговоримся, что речь не идёт о сравнении масштабов данных конфликтов (тем более, по количественным параметрам). Очевидно лишь, что каждый из них нашел свое заметное отражение в общественно-политическом пространстве России. Охарактеризуем пять различных по своей структуре идентификационных конфликтов, которые, тем не менее:

– отличались первичностью историко-символического содержания, а не являлись идеологической оболочкой продвижения утилитарных политико-экономических интересов;

– приобрели общероссийское звучание и негативный мультипликативный эффект, втягивая в свою орбиту существенную часть публично-политического дискурса.

*Идентификационный конфликт № 1. Татарстан – быть или не быть «президенту»? (2016– ...)*. Пожалуй, наиболее известным в общероссийском масштабе является противоборство между федеральным центром и правящими элитами Татарстана по вопросу о сохранении действующего наименования должности высшего должностного лица «Президент республики Татарстан». Указанный конфликт относится к классическому варианту вертикального статусно-символического столкновения, характерного для постсоветской России, в котором переплелись исторические и прагматические политико-экономические мотивы. При этом первые аргументируются ссылками и на юридические нормы («суверенитет» Татарстана), и на этноконфессиональный фактор («особость» региона), и на мнение жителей республики. Важным аспектом, на котором также делают акцент республиканские власти, является необходимость сохранения

политической стабильности в Российской Федерации, что может интерпретироваться как завуалированная угроза, адресованная Кремлю.

Серьезные противоречия по рассматриваемому вопросу проявились еще в 2016 году, когда Татарстан остался единственным субъектом федерации, где сохранилось соответствующее наименование данной должности. Указанное обстоятельство усугубилось и отказом Кремля от продления федеративного договора с республикой в 2017 году. Их вторичная актуализация была связана с рассмотрением федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который не был поддержан Государственным Советом республики. При этом татарстанские законодатели указали в первую очередь не на символический аспект – унификацию наименований глав субъектов Российской Федерации, а на вторжение Москвы в полномочия регионов [392]. Очевидно, что подразумевалось расширение прав Президента России освобождать от должности руководителей субъектов Российской Федерации «в связи с утратой доверия» без конкретизации причин и фактическая передача региональной финансовой политики под федеральный контроль. Вместе с тем, в ходе указанного конфликта активно использовались и прямые ссылки на региональную идентичность, в том числе, и с использованием этноисторической аргументации: *«это достаточно серьезная проблема ... Мы находимся на одном уровне с русскими по степени развитости. Русские даже начали формироваться в нацию позже татар»* [337].

*Идентификационный конфликт № 2. Обретение «великой Финляндии?» (2010-...)* Проблема социокультурной автономизации Карелии получила «второе дыхание» в 2010-е годы. В отличие от «парада суверенитетов» 1990-х годов её драйвером выступали не политические амбиции регионального руководства, а инспирируемые извне и во многом скрытые процессы искусственного оживления и политизации «новой

старой» – финно-угорской – идентичности [330]. При этом такая идентичность воспринимается рядом экспертов как инструмент «мягкой финнизации» Карелии. Главным образом – через возможные совместные культурные проекты и активизацию образовательных обменов. В свою очередь, этому способствует негативный образ «остальной России», его возможный симбиоз с экономическим «москвоборчеством», усиливающимся на фоне наличия гипертрофированно положительного примера построения социального государства в лице Финляндии.

В 2010-2015 гг., в условиях роста протестных настроений в республике и недовольства политикой федерального центра, в Карелии эпизодически возникали локальные проявления сепаратистского дискурса. Так, в 2010 году политическую кампанию за отделение от России ряда районов и их вхождение в состав Финляндии пытался организовать предприниматель В. Дрезнер. В 2015 году депутат Суоярвского городского поселения В. Заваркин предположил, что Карелия России «не нужна» и высказал идею о возможности выхода республики из состава Российской Федерации [366].

*Идентификационный конфликт № 3. «На разных берегах Угры - быть ли новому государственному празднику?» (июль 2019 -...).* В июле 2019 года губернатор Калужской области А. Д. Артамонов озвучил предложение, что 11 ноября – день окончания стояния на реке Угре – должен войти в «федеральный перечень памятных и праздничных дней» [340]. При этом, заметим, не он конкретизировал его возможный статус. То есть, вопрос о том, что именно это дата должна стать одним из государственных праздников или, тем более, «главным государственным праздником» современной России, изначально не поднимался. Здесь следует упомянуть, что двумя годами ранее именно А.Д. Артамонов стал инициатором учреждения 11 ноября в качестве регионального памятного дня Калужской области. Данная идея была сформулирована в виде соответствующего законопроекта, получив широкую массовую поддержку, одобрение части

экспертного сообщества, большинства представительных органов субъектов федерации и, в конечном счёте, Правительства России. Важно также отметить: в пояснительной записке к законопроекту особо подчеркивалось, что речь не идёт о противоборстве этносов и религий – условной «победе русских над татарами», а об освобождении именно от ордынского ига. И русское государство, и Орда в этом конфликте выступают как два полиэтнических образования. То есть, речь шла о трактовке ордынского ига как системы военно-политической зависимости, а не как этнорелигиозного противостояния.

Однако дальнейшее публичное обсуждение данной инициативы вызвало и резко негативную реакцию – и на официальном уровне, и со стороны ряда общественных структур. Коллективным фронтменом противодействия учреждению новой памятной даты стало руководство Татарстана, которое апеллировало к соответствующему заключению Академии наук Республики. В нём было сказано, что стояние «нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти» [393]. Представители татарстанских элит, консолидировавшись на почве неприятия этой идеи, всё же варьировали уровень конфликтности собственных высказываний. Спектр заявлений при этом был крайне широк – от признания вопроса «неоднозначным» до радикальных комментариев: «данный законопроект содержит элементы экстремизма. Это надо проверить» [375].

В ходе дискуссии представителями Татарстана был также проигнорирован следующий аргумент: день Куликовской битвы, которую также можно попытаться интерпретировать узко и конъюнктурно, как апофеоз этнической вражды между русским и татарским народами, уже к тому моменту являлся днем воинской славы России и при этом не привёл к «обострению политической *ситуации*» в стране, о возможности которого упоминали в Казанском Кремле [398]. При этом необходимо отметить, что его официальное название звучит в этническом ракурсе существенно

менее толерантно: «День *победы русских* полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве» [4].

На наш взгляд, указанный идентификационный конфликт является важным не только по причине того, что он вышел на федеральный уровень и затрагивает такую составляющую государственной политики идентичности, как «политика праздников» [180]. Симптоматично, что он характеризуется длительностью и являет собой пример не инструментального, а глубинного идентификационно-символического противоречия. Содержание его заключается в следующем: исторически и политически корректный образ прошлого, конструируемый на федеральном уровне, вступает в острое и публично артикулированное противоречие с фрагментарными историческими реминисценциями части элит отдельного региона (и при этом указанный регион *de facto* обладает правом неформального вето по рассматриваемому вопросу).

*Идентификационный конфликт № 4. «Раскол по линии Маннергейма»* (июнь – декабрь 2016 года). Изначально установка мемориальной доски К. Маннергейму в Санкт-Петербурге формально рассматривалась как общественная историческая инициатива регионального уровня. Однако она была активно поддержана представителями федеральной власти и очень быстро приобрела черты общероссийского идентификационного конфликта, в основании которого лежали острые идейно-политические расколы XX столетия, отчасти сохраняющиеся в российском обществе и сейчас. При этом все попытки (на полуофициальном уровне) позиционировать К. Маннергейма как «русского офицера» и патриота России вызвали, на наш взгляд, абсолютно справедливую, негативную реакцию общества (так, предельно красноречив саркастический комментарий одного из интернет-пользователей: «где памятная доска Дудаеву? 30 лет отдал генерал Дудаев советской армии. Нужно почтить память противоречивого человека достойным памятником»).

Важно, что указанный идентификационный конфликт на всем своем протяжении сохранял и отчетливое региональное измерение: попытка увековечения памяти К. Маннергейма *именно в Санкт-Петербурге* вызвала массовое и вполне оправданное неприятие жителей города [326]. Также показательно, что данный конфликт в своей развернутой фазе характеризуется многосоставностью и деструктивным мультипликативным эффектом. Серьезные постсоветские идейно-политические размежевания комбинировались с расколом по линии «центр – жители региона» («герой Первой мировой войны» - в оценках части федерального руководства VS «убийца ленинградцев» - по мнению части жителей города). И, что даже более симптоматично, эти противоречия приобрели контуры полноценной «войны памяти» между властью, воспринимаемой в данном случае как носитель идентичности «белых», и существенным сегментом российского общества с его устойчиво положительным отношением к советскому прошлому в целом и к Великой Отечественной войне – в особенности.

*Идентификационный конфликт № 5. «Великий правитель» или «палач вся Руси?»* (октябрь 2016 – 2020 гг.) связан с широким общероссийским резонансом, вызванным установкой памятника Ивану Грозному в Орле. Официально указанная инициатива принадлежала руководству города, но была поддержана и губернатором Орловской области В.В. Потомским. В последствие внутрирегиональные дискуссии вокруг этого события перешли на общероссийский уровень. С одной стороны, в различных регионах активизировались сторонники полной «исторической реабилитации» первого русского царя, стали выдвигаться предложения по увековечиванию его памяти в Астрахани, Александрове, Чебоксарах.

С другой стороны, ряд общественных организаций резко выступили против этого шага, говоря о том, что такие действия могут нанести ущерб межэтническим и межконфессиональным отношениям. Например, идея установить памятник Ивану Грозному в Астрахани подверглась резкой критике со стороны некоторых общественных и религиозных деятелей



Астраханской области. Более того, последовало соответствующее обращение к главе Татарстана Р.Н. Минниханову с просьбой «оказать содействие по недопущению установки памятника Ивану Грозному» в *Астраханской области*» [365]. Такое развитие событий предало этому идентификационному конфликту оттенок вертикального противостояния между федеральным центром (который латентно покровительствует прославлению Ивана Грозного) и частью российских мусульман (выразителем коллективных интересов которых попытались искусственно сделать руководителя Татарстана).

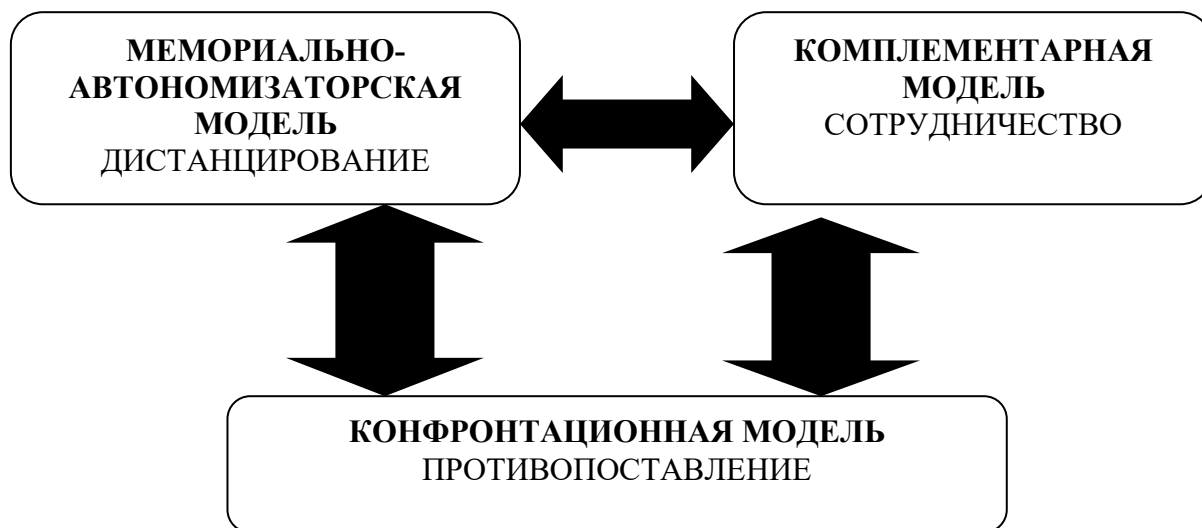
Примечательно, что данный идентификационный конфликт, изначально кристаллизовавшись на региональном уровне, обрел не только общероссийское, но и международное звучание. И хотя Кремль предпринимал попытки последовательно дистанцироваться от указанной инициативы, не был стороной противоборства, его политические оппоненты внутри страны и за рубежом прямо указывали на то, что «антизападная идентичность Москвы сформировалась именно во время правления Грозного...Этого было достаточно, чтобы российская власть назвала его героем» [357].

*Федеральный центр и регионы в поисках комплементарной модели идентификационного взаимодействия.*

Анализируя траекторию взаимодействия федерального центра (с его попытками конструировать общероссийскую национально-государственную идентичность) и регионов (с формируемыми в них этнорегиональными «самостями»), можно выделить *три модели идентификационного взаимодействия* «центр – регионы», которые кристаллизовались и сосуществуют в современной России. Каждая из них выступает продуктом сложной и весьма длительной, начавшейся еще до распада СССР ценностно-психологической трансформации массового политического сознания

российских граждан и характеризуется целым рядом внутренних противоречий и функциональных ограничений.

Указанные модели и содержащиеся в них акценты представлены на рисунке 9.



Источник: составлено автором.

Рисунок 9 – Модели идентификационного взаимодействия между федеральным центром и регионами в современной России

Первая модель – *конфронтационная*, основанная на явном или скрытом противопоставлении общероссийской национально-государственной идентичности этнорегиональной. Её проявления, хотя и не носят массового характера, тем не менее, отчетливо видны в реакции отдельных региональных элит на ситуацию, когда в государственной политике идентичности Российской Федерации начинает поэтапно укрепляться условный «русский» этнокультурный компонент – пусть даже и в весьма ограниченном историко-символическом виде. Безусловным триггером политической актуализации такой модели является ослабление федерального центра, как это было в 1990-е годы. Необходимыми условиями выступают наличие в отдельных субъектах Российской Федерации мощного «не русского» этнического ядра; присутствие в массовом сознании внешнего объекта «иной» макроцивилизационной («тюркский мир», «финно-угорский

мир» и т.д.) и геоисторической («Золотая Орда», «великий Туран», «Великая Финляндия») самоидентификации в сочетании с окраинным положением или относительно высоким ресурсно-экономическим потенциалом. Всё это позволяет конструировать региональный идентификационный миф, длительно поддерживать в латентном состоянии, а затем резко форсировать императив региональной «особости» [228].

Необходимо заметить, что идентификационные конфликты (неизбежные в рамках данной модели) характеризуются смешанной природой, в которой перекликаются актуальные политико-статусные противоречия и разночтения между формируемым общероссийским официально-историческим нарративом и «историями», прямо или косвенно культивируемыми региональными элитами. При этом заметим, что речь далеко не всегда идёт о последовательной пропаганде условно «антироссийских» версий тех или иных исторических событий непосредственно руководством отдельных субъектов Российской Федерации. Как правило, ретранслятором подобных претензий к Москве выступает разнородная «общественность»: отдельные региональные и местные чиновники и депутаты, ученые, деятели культуры, представители некоммерческих организаций, «эксперты», «правозащитники» и т.д. Вместе с тем, есть весомые основания считать, что конфронтационная модель сегодня не должна рассматриваться в качестве преобладающей, пронизывающей всю социальную ткань России. Поэтому можно абсолютно согласиться с мнением В.Ю. Зорина, что «вопреки определенным трудностям ... у народов России сохранилось чувство общности и гражданской солидарности, в основе которого лежат общая историческая память и общность исторических судеб, а также важные культурные, этические и нравственные традиции» [184, с. 13].

Вторая модель может именоваться *мемориально-автономизаторской*. Её содержание проявляется в сознательном отказе от полноценной региональной политики идентичности в пользу формирования

общероссийского идентификационного конструкта гражданского типа. При этом матрица региональной «самоидентификации» характеризуется когнитивной бедностью, последовательно сводится к фрагментарным мемориальным эпизодам и практикам: краеведческим музеям, сохранению народных промыслов, фестивалям местного значения и т.д. Представляется, что эта модель достаточно удобна в среднесрочной перспективе, но чревата смещением центра тяжести идентификационных конфликтов на локальный уровень, в поле деструктивных повседневно-социальных практик.

Третья модель может быть обозначена как *комплементарная*. Она заключается в том, что этнорегиональный (региональный) уровень органично вписан в структуру и логику формирования идентичности общероссийской, не противоречит ей. Следовательно, он способен – через региональные и локальные «места памяти», традиции и символы – выполнять вспомогательную функцию символического достраивания и конкретизации смыслов в рамках единого образа прошлого. Более того, отдельные элементы комплементарной региональной идентичности могут периодически, после соответствующей адаптации, интегрироваться в национально-государственное символическое пространство России (в этом смысле показателен пример дня стояния на Угре, который первоначально был учрежден в Калужской области).

Необходимо особо подчеркнуть, что комплементарная модель – не идеальный прототип, а действенный прагматический алгоритм, в рамках которого наличие выраженной региональной идентичности у человека или микросоциума не является препятствием формирования установок общероссийской самоидентификации. При этом противоположная ситуация – отсутствие развитого этнорегионального самосознания и ключевых маркеров этничности (например, слабое знание языка «титального» регионального этноса) – также не может рассматриваться в качестве серьезного барьера для конструирования общероссийской идентичности гражданского типа [68, с. 184-185].

Потенциал формирования указанной модели связан, в первую очередь, с тем, что в России накоплен серьезный опыт позитивного межэтнического взаимодействия, который не был девальвирован в кризисные 1990-е годы. Как отмечает В.Ю. Зорин, «исторический опыт и современное состояние межэтнических отношений и этнонациональной политики России доказывают, что, несмотря на раскол определенных групп элит по этническому принципу и проявления ксенофобии, в обществе сохраняются и оказывают определяющее влияние традиционная культура межэтнической толерантности, общее поликультурное пространство народов страны при высоком уровне их интегрированности в доминирующую российскую культуру» [183, с 151].

К серьезным препятствиям, сопровождающим кристаллизацию *комплементарной модели центр-регионального идентификационного взаимодействия* в современной России, относится, в первую очередь, значительный конфликтный этнополитический потенциал, накопленный в отдельных субъектах Российской Федерации, где ранее (в 1990 – начале 2000-х годов) уже были рельефно очерчены контуры иной – конфронтационной – конфигурации. Поэтапный демонтаж этой конфигурации не должен сводиться к административным практикам (что только переводит проблему в скрытое состояние и в другие деструктивные формы повседневного социального поведения), а предполагает выработку и реализацию сверхдолгосрочной конвенциональной стратегии.

*В заключение* параграфа 3.3 можно сделать вывод, что на первом, кризисно-конфликтном этапе сложилась конфликтная модель взаимодействия аморфной (на тот момент) национально-государственной идентичности и этнорегиональных идентификационных проектов. Актуализация последних при этом во многом была и результатом предельной инструментализации этнического и регионального самосознания. Более того, нередко имели место целенаправленные попытки элит некоторых субъектов

Российской Федерации осуществить «негативную» этнополитическую модернизацию региональных сообществ в их противоборстве с федеральным центром. На реставрационно-модернизационном этапе указанные центр-региональные идентификационные противоречия перешли в латентную форму. На мобилизационно-инерционном этапе воздействие этнорегионального фактора на динамику российской национально-государственной идентичности носит преимущественно имплицитный характер. Однако именно в указанный период в публичном политическом пространстве России рельефно обозначился ряд различных по своему происхождению и степени деструктивности идентификационных конфликтов, имеющих этнорегиональное измерение.

### *Выводы по главе 3*

1) Выявлены особенности влияния трех рассмотренных факторов на российскую национально-государственную идентичность, которые представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Степень и характер влияния макрополитических факторов на трансформацию российской национально-государственной идентичности

Степень и характер влияния	Кризисно-конфликтный этап (1991-2000 гг.)	Реставрационно - модернизационный этап (2001-2013 гг.)	Мобилизационно-инерционный этап (2014-2021 гг.)
<i>Глобализационный фактор</i>	Всплеск – снижение	Снижение: рационализация образа Запада	Рост: через симулятивные идентичности
<i>Религиозный фактор</i>	Рост влияния: компенсаторная функция	Рост – стабилизация: комплементарная функция	Стабилизация влияния: комплементарная функция
<i>Этнорегиональный фактор</i>	Сильное: конфронтационная модель	Снижение: мемориально-автономизаторская модель	Стабилизация: мемориально - автономизаторская модель, элементы комплементарной модели

Источник: составлено автором.

2) Влияние глобализации на российскую национально-государственную идентичность было неравномерным. Его интенсификация в 1990-е годы сменилась прагматизацией политических установок россиян в 2000-е годы и акцентом на дистанцирование от «глобального мира» в 2010-е годы. При этом глобализационные процессы не привели к размыванию когнитивных первооснов самоидентификации. Более того, в 2010-е годы отрицательное отношение к «коллективному Западу» стало импульсом реинтеграции негативных установок российской национально-государственной идентичности. Также следует отметить, что существенные изменения претерпел и сам характер глобализационного воздействия на российское общество: если в 1990 – начале 2000-х годах речь шла, главным образом, о негативных последствиях социокультурной и, отчасти, экономической глобализации, то сегодня её стержневым элементом, сказывающимся на состоянии политического сознания россиян, является всё нарастающая цифровая трансформация социальных и политических практик, «интернетизация повседневности».

3) Религиозный фактор на протяжении всего рассматриваемого периода (1991-2021 гг.) играл, в целом, комплементарную роль в процессе формирования российской национально-государственной идентичности. Вместе с тем, в 1990 – начале 2000-х годов религиозные ценности и связанные с ними идентификационные ориентиры отчасти реализовывали и компенсаторную функцию, в некоторой – далеко не полной – мере восполняя когнитивный и психоэмоциональный вакуум национально-государственной идентичности. Однако серьезно усилившаяся роль религиозного сознания, прежде всего ислама, его проникновение в политическую сферу (интенсивная «политизация религии»), также несли в себе значительный конфликтный импульс, который инструментально и конъюнктурно использовался в деструктивных политических практиках и в дальнейшем.

4) Влияние этнорегионального фактора на российскую национально-государственную идентичность было подвижным. Так, на первом – *кризисно-конфликтном* – этапе оформилась конфронтационная модель взаимодействия аморфной (на тот момент) «матрицы» российской идентичности и этнорегиональных пространств. Рост значимости этнорегиональных идентичностей при этом был вызван не только естественным компенсаторным политико-психологическим эффектом (связанным с когнитивным и символическим «вакуумом» общероссийского идентификационного пространства), но и явился результатом предельной инструментализации этнического и регионального самосознания.

5) В 1990-е, и, в существенно меньшей степени, в 2000-2010-е годы имели место целенаправленные попытки элит субъектов Российской Федерации осуществить «негативную» этнополитическую мобилизацию региональных сообществ в их противоборстве с федеральным центром. В 2001-2013 гг. указанные центр-региональные идентификационные противоречия частично утратили остроту и перешли в латентную форму.

В 2014-2021 гг. воздействие этнорегионального фактора на траекторию кристаллизации российской национально-государственной идентичности носило преимущественно имплицитный характер. Однако именно в указанный период в публичном политическом пространстве России рельефно обозначился ряд идентификационных конфликтов, имеющих этнорегиональное измерение. Таким образом, трансформация воздействия этнорегионального фактора на общероссийскую национально-государственную идентичность в генерализованном ракурсе может быть очерчена как переход от конфронтационных моделей идентификационного взаимодействия (не доминировавших, но весьма распространенных на кризисно-конфликтном этапе) к автономизаторским практикам 2000-2010-х годов. При этом до конца не решенной остается задача формирования адаптивной, комплементарной модели взаимодействия национально-государственной и этнорегиональных идентичностей.



## Глава 4

### Формирование и эволюция национально-государственной идентичности в политическом сознании россиян

Следующим шагом в рамках комплексного осмысления российской национально-государственной идентичности является анализ специфики и направлений её трансформации в массовом политическом сознании россиян. При этом сама национально-государственная идентичность понимается как многомерное представление-конструкт, аккумулирующее в себе и номинальные установки самоидентификации, и комплекс взаимосвязанных образов, символов, ценностей, на основе которых происходит синтез расширенного «мы – образа».

Отдельный аспект проводимого исследования связан с демаркацией трех периодов трансформации российской национально-государственной идентичности. Принятие декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 12 июня 1990 года, возврат к дореволюционным государственным символам, произошедшие в условиях коллапса советской политической системы и последующего распада СССР, знаменуют начало первого – *кризисно-конфликтного – этапа (1991-2000 гг.)* формирования идентификационного пространства современной России. Символической точкой отсчета второго – *реставрационно-модернизационного этапа (2001-2013 гг.)* – является рубеж 2000-2001 гг.: избрание В.В. Путина Президентом России и последовавшее за этим учреждение нового Гимна Российской Федерации. Это решение символизировало переход государства к иному – *конвенциональному* – типу политики идентичности и совпало с позитивным переломом в массовых настроениях граждан, ростом уровня доверия к власти и начавшихся изменениях в паттернах восприятия собственной страны. Начало третьего – *мобилизационно-инерционного – этапа (2014-2021 гг.)* связано с таким знаковым символическим

геополитическим действием, как вхождение Крыма в состав России (март 2014 г.). Возможно, о его скором завершении сигнализируют события 2020-2021 гг., когда серьезная трансформация социально-политических практик в обществе в условиях начавшейся пандемии COVID-19 совпала с масштабными конституционными преобразованиями, открывшими новый этап институциональной эволюции российской политической системы.

По нашему мнению, серьезной научной проблемой, о которой также следует упомянуть, является дефицит эмпирического материала, посвященного становлению «новой» российской идентичности на первом рассматриваемом этапе, в 1990-е годы.

Отечественные идентитарные исследования того времени, при всей своей значимости, носили, главным образом, фундаментально-теоретический характер и были направлены на осмысление стержневых политико-исторических закономерностей кристаллизации российского национального самосознания (которое описывалось в различных категориях: «идентичность», «менталитет» и т.д.). В определенной степени эта ситуация компенсируется наличием исследований, посвященных базовым установкам социально-политической самоидентификации граждан и образам власти. Но такие системообразующие пласты российской «матрицы» идентичности образца 1990-х годов, как символическое поле, образ территории, представления о коллективном будущем, в значительной мере остались эмпирическими лакунами политической науки.

#### **4.1 Кризис российской национально-государственной идентичности в 1991-2000 гг.**

Общепризнано, что первоначально становление российской национально-государственной идентичности протекало в условиях распада конструкторов советского политического сознания, его замещения вакуумным

психологическим состоянием тотальной смысловой неопределенности и конфликтности. Причем, важным, по нашему мнению, является то, что указанная конфликтность не была сосредоточена исключительно на макрополитическом уровне, не являлась эксклюзивным атрибутом только политических практик, а с разной степенью концентрации пронизывала всю социальную ткань России.

Тем не менее, рассматривая макрополитические контекстуальные ландшафты постсоветского кризиса идентичности в указанный период, важно сделать существенную ремарку: можно в полной мере согласиться с мнением, что распад советской модели идентичности (не вдаваясь в дискуссии о степени её завершенности, эффективности, устойчивости и причинах деструктуризации) начался до институционального и, тем более, формального прекращения существования СССР. Так, уже в 1990-1991 гг. руководство РСФСР приступило к реализации собственной символической политики. В её основе лежала не просто идея некоторой «особости» или автономии по отношению к союзному центру, но и активное противопоставление себя ему – и на уровне ритуальных действий, и посредством коммеморативных практик, и, что наиболее важно, через целенаправленное и агрессивное отрицание идеологического фундамента советской государственности. По существу, речь шла о всеобъемлющем кризисном состоянии тотальной фрагментации ценностно-смыслового и символического поля российской государственности, когда на смену советской модели идентичности пришел конгломерат конфликтных идентификационных конструкторов, противостоящих друг другу и не способных обеспечить хотя бы частичную консолидацию общества.

*Основные установки национально-государственной идентичности в сознании российских граждан в 1990-е годы.*

Важно отметить, что, вопреки преобладающему мнению, в массовом сознании россиян еще в кризисный период активно формировались базовые

установки российской национально-государственной идентичности [85; 90], которые, по нашему мнению, приобрели два оттенка. Первый – формально-констатационный – был связан с закреплением первооснов гражданско-политической идентичности («гражданин России»), в том числе в её пространственно-патерналистском звучании («житель России»). Второй проявлялся в декларации собственной этнокультурной принадлежности (главным образом, «русскости», поскольку русские составляют значимое большинство жителей) как фундамента идентификационного образа «Я». При этом главной категорией, опосредованно объединяющей российских граждан с Россией-страной, выступала не гражданская, а этническая принадлежность. Однако нельзя не заметить, что даже в условиях масштабного политического и социокультурного кризиса начала – середины 1990-х годов, идентификация себя в качестве «россиян», хотя и не занимала лидирующего места в идентификационной иерархии, тем не менее, присутствовала у 66%-71% граждан [165, с. 79]. Указанные цифры свидетельствуют, на наш взгляд, о серьезной устойчивости базовой установки национально-государственной идентичности («мы – россияне, граждане, жители России») в российском политическом сознании к различным социально-политическим потрясениям.

Более того, уже в данный период происходит активной процесс *политической и психологической аккультурации*: самоидентификация «русский» в меньшей степени основывается на этнических чертах, факте происхождения («русский по крови») и обретает социокультурное измерение. То есть, развивается процесс становления «расширенной русской» идентичности [93]. По нашему мнению, триада ключевых маркеров «расширенной русской» идентичности выглядит следующим образом:

– *лингвистический маркер* – владение языком («говорит по-русски – значит, русский»);

– *поведенческий маркер* – особенности повседневного поведения, укладывающегося в привычные нормы и подразумевающего отказ от

демонстрации инокультурных поведенческих моделей в микросоциальных пространствах;

– *религиозный маркер* – отсутствие выраженной «иной» (не православной) религиозной самоидентификации, часто, в сочетании с декларируемой приверженностью православию.

На наш взгляд, механизм русской аккультурации являлся критически значимым для формирования общероссийской национально-государственной идентичности в 1990 – начале 2000-х годов, причем, и в политическом, и в социокультурном ракурсах. В политическом плане он играл роль одного из блокаторов этнополитической фрагментации территориального пространства России, что было важно в условиях неустойчивости российской государственности и центробежных тенденций того времени. В социально-культурном плане медленное расширение границ «русского «мы» означало частичную утрату русской самоидентификацией конфликтного импульса (который также четко обозначился на рубеже 1980-1990-х годов, еще до распада СССР), «приближение» русской социокультурной идентичности к идентичности общероссийской (но, безусловно, не слияние с ней). Последняя при этом всё более мыслилась гражданами именно в культурно-историческом («общность судеб»), а не в статусно-политическом своём измерении.

То есть, можно согласиться с мнением, озвученным Л.М. Дробижевой еще в самом начале 2000-х годов, что «в стране, где русские составляют доминирующее большинство, государственная идентичность не может не базироваться на этнической идентичности этого большинства» [167, с. 239]. Справедливо полагать, что первоочередным условием такой комплементарности общенационального и этнического идентификационных конструктов является высокий символический статус гражданственности (опирающийся, в свою очередь, на позитивный исторический и политический образ страны России), целенаправленно формируемый в рамках реализации долгосрочной государственной политики идентичности.

Но, очевидно, необходимо признать и тот факт, что в 1990-е годы активно развивалась и *иная – этноцентричная – версия русской самоидентификации*, в основе которой лежала идея особенного, а часто и преимущественного положения этнических русских внутри Российской Федерации. Её популяризация в массовом сознании была связана, главным образом, с неопределенностью переходного периода, с ростом социально-политической конфликтности в обществе, что неизбежно активировало разнообразные негативные, до этого «спящие» стереотипы относительно внутренних этнических «чужих», проживающих на российской территории.

*Трансформация образа «значимого другого»: от геополитических акцентов к внутренним «врагам».*

По нашему мнению, весьма интересной представляется трансформация образов «нас» и «значимого другого» в ходе кристаллизации оснований российской национально-государственной идентичности в 1990-е годы. Характеризуя образы многочисленных «других», можно согласиться со следующей оценкой: «если первая половина 90-х годов была временем увлечения перспективами вхождения в «сообщество цивилизованных государств», сопровождавшегося попытками массивного переноса зарубежного опыта на отечественную почву, то в середине десятилетия в российском обществе формируется своего рода неоконсервативная волна, лейтмотивом которой становится отход от западных увлечений» [134, с. 111].

Однако важно понимать, что рационализация образа «коллективного Запада» в массовом сознании россиян была связана в большей мере с внутренними политическими и социально-экономическими проблемами и первоначально не носила выраженной негативной направленности: «уровень симпатий к США и ведущим государствам Западной Европы вплоть до конца 90-х годов оставался высоким, превышая уровень антипатий не менее чем в 7-9 раз» [134, с. 111].

То есть, можно полагать, что во второй половине 1990-х годов восприятие Запада как «значимого другого» определялось синергией двух разнонаправленных политико-психологических трендов. Первый тренд – это нарастающая иррациональная саморефлексия как «погружение в себя», попытки обретения собственной идентификационной опоры во внутреннем культурно-историческом поле, что неизбежно приводило к рационализации «западного мира» и окончательной утрате им эталонной функции. Второй тренд – закрепление в сознании граждан критической оценки способности России выступать в качестве альтернативного – несоветского или классического неоимперского – геополитического, ценностно-идеологического и, тем более, геоэкономического центра силы. Так, согласно данным опроса РОМИР, приводимым Н.В. Лайдинен, в 2000 году «супердержавой» Россию считало 40,3% россиян; не считало – 41,7%, затруднились с ответом – 17,9% [200, с. 28].

Следует признать: важным аспектом становления российской национально-государственной идентичности в 1990-е годы явилась кристаллизация образа «врага» в сознании граждан. Здесь уже в середине 1990-х гг. достаточно четко обозначилась тенденция доминирования внутренних «врагов» над внешними. Например, по результатам исследования ВЦИОМ (апрель 1996 г.) на тот момент россияне считали основными врагами организованную преступность (31%), «коррупцированных чиновников, бюрократов» (21 %) и «Чечню, Дудаева, чеченцев» (17%). При этом «Запад» в качестве главного врага указали только 9% опрошенных, Китай – 4%. Также показательно, что к числу врагов России были отнесены «кавказцы» (5%) и «мусульмане, жители Средней Азии» (4 % респондентов) [347]. Таким образом, в общественных представлениях уже укоренился акцент на восприятие выходцев из республик Северного Кавказа, Закавказья («кавказцы» в данном случае выступало обобщающей социологической номинацией) и Средней Азии не просто как этнокультурных «чужих»,

но и как людей, несущих потенциальную угрозу «нашему» пространству и укладу жизни.

Резюмируя эти противоречивые тенденции, мы можем зафиксировать формирование у существенного сегмента российского общества *двухконтурного образа врага*, которой будет впоследствии дополнен, модифицирован и отшлифован в 2000-2010-е годы. В рамках такого образа внешние – геополитические – враги России органично дополняются врагами внутренними – этнокультурными и религиозными.

Указанный тренд массового восприятия, безусловно, являлся мощным мотивационным основанием становления *негативной конфигурации российской национально-государственной идентичности*, в которой отсутствие ценностно-смыслового и символического базиса компенсировалось отрицательными стереотипами о «чужих», обостренной поляризацией их эмоциональных оценок («чужие» автоматически ассоциировались со «злом»). И как следствие – ксенофобскими настроениями, поддерживаемыми соответствующим информационно-политическим фоном: от конфликта в Чечне до фактора образования «этнических мафий» в российских городах.

В то же время представленные данные (в сочетании с другими исследованиями идентификационных установок россиян) свидетельствуют, что негативная самоидентификация, основанная на этнической ксенофобии, никогда не являлась доминирующим фреймом политического самоопределения российского общества.

По нашему мнению, крайне важно, что это подтверждалось даже в условиях глубокого кризиса позитивной национально-государственной идентичности, на пике роста идеологических противоречий в стране (напомним, опрос ВЦИОМ проводился в апреле 1996 года – в период активной фазы президентской кампании).



*Образы российской власти в 1990-х годах: между слабостью и непредсказуемостью.*

Предваряя анализ образов российской власти, оформившихся в 1990-е годы, необходимо учитывать, что ценностно-психологическая связь общества с идеями свободы, демократии, политической конкуренции начала разрушаться еще в первой половине 1990-х годов. В дальнейшем эта тенденция только усиливалась и модифицировалась в запрос на «сильную» власть, способную предотвратить распад государства и снижение уровня жизни граждан даже ценой перехода к авторитарным практикам политического управления [287].

Следует зафиксировать тот факт, что к концу рассматриваемого периода расхождение между представлениями о реальной, действующей на тот момент власти (олицетворением которой выступали Б.Н. Ельцин и его окружение) и власти желаемой стало критическим. Первая, еще по данным исследований 1993-1995 гг., идентифицировалась как слабая, эгоцентричная, «склочная» и неспособная адекватно реагировать на повседневные проблемы и запросы граждан. При этом респонденты указывали не только на дисфункциональность системы государственного управления, но и на фактически сознательную самоизоляцию власти, её отрешенность от нужд населения [287, с. 91]. В свете этого показательны данные опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 1994 года. Отвечая на вопрос «как бы Вы расценили людей, находящихся сейчас в у власти?», 53% респондентов заявили, что это «люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием», 22 % – «честные, но малокомпетентные люди», и только 5% – что у власти находится профессионалы, «ведущие страну правильным курсом» [350].

В дальнейшем, к концу 1990-х годов, российская власть, помимо выше упомянутых характеристик, всё более воспринималась еще и как *нежизнеспособная* даже в среднесрочной перспективе, не обладающая ни моральными, ни интеллектуальными ресурсами для проектирования какой-

либо конструктивной (ни реставрационной, с обращением к «исторической России», ни, тем более, модернизационной) модели общенациональной идентичности. Однако также показательно и психоэмоциональное расщепление образа действующей на тот момент власти: при всей своей слабости и деструктивности она, тем не менее, воспринимается как патологически агрессивная по отношению к окружающим и, прежде всего, к собственным гражданам. В сознании россиян выстраивается двойственная композиция восприятия власти: слабой и неэффективной – на когнитивно-оценочном уровне и конфликтно-агрессивной (а, следовательно, обладающей внутренним резервом силы) – на уровне слабо рационализируемом, часто опирающемся на интуитивные ощущения. При этом последние активно подпитывались текущей политической динамикой, когда Б.Н. Ельцин лично и руководство страны в целом принимали неоднозначные решения в пользу силовых политических действий (события 3-4 октября 1993 года, первая чеченская война 1994-1996 гг. и т.д.). Это заставляет полагать, что уже в тот период *именно страх* становится базовой эмоцией государственно-общественных отношений. Причем речь идёт о *дуалистической природе* этого психоэмоционального состояния – и о страхе перед изменениями, неустойчивостью, вызванной неэффективностью системы государственного управления, «вакуумом власти» начала 1990-х годов, и о страхе перед произволом и непредсказуемостью самой власти. Представляется, что такая особенность психоэмоционального фона трансформации российской идентичности, характерная для 1990-х годов, сохраниться в дальнейшем и окажет серьезное влияние на политическое сознание и поведение российских граждан уже в начале XXI века.

*Образы «нашего» пространства в политическом сознании в 1990-х годах: между распадом и имперско-советской ретроспективой.*

Следует оговориться, что, несмотря на серьезные исследования в области выявления базовых установок самоидентификации россиян,

проблема территориальных образов России того времени отличается высокой лакунарностью. При этом общепризнанными и социологически верифицированными являются такие черты российского массового сознания 1990-х гг., как атомизация, рост этносепаратистских настроений в отдельных регионах, а также нарастающая реминисцентная направленность ко временам «величия» России – СССР.

На наш взгляд, по этим причинам эволюция образов пространства в политическом сознании российских граждан в 1990-е годы может диагностироваться в ракурсе пересечения четырех политико-психологических тенденций. Первая – это *продолгация позднесоветского кризисного тренда* разрушения территориальной целостности государства («эффект домино», перешедший на Россию как наследника СССР). Вторая тенденция – это спорадические попытки обрести *альтернативные территориальные идентичности*, причем как на основе ренессанса архаических конструктов, так и создания новых «мифологизированных пространств». Третья тенденция связана с *хаотизацией пространства* – как политического, так и социального в целом. Реакцией на неё стала *ментальная самоизоляция россиян*, «закрытие» в микросоциумах и обособление от внешнего мира. Четвертая тенденция условно может быть охарактеризована как *компенсаторно-расширительная* или реставрационная. Она вытекала из обострения уже упомянутых массовых реминисценций, причем как в отношении СССР в его полном или усеченном виде (три «славянских народа», все республики СССР «минус Прибалтика и Закавказье»), так и в контексте начавшейся идеализации Российской империи (Аляска, Польша, Финляндия, которые «исторически» принадлежали России).

При этом показательно следующее: несмотря на устойчиво прочные позиции статуса «гражданин России» в системе идентификационных приоритетов россиян (что четко фиксировали социологические исследования того времени), в обществе наблюдался высокий уровень скепсиса по поводу

будущего страны. Можно добавить, что такое критическое отношение органично комбинировалось с образом «слабой» федеральной власти, не способной к решению задачи сохранения территориальной целостности России. В то же время сохраняющееся восприятие массовым сознанием территории как *фундаментальной ценности* российского самосознания – первоосновы национально-государственного «мы-образа» – ярко проявилось в ходе чеченского конфликта. Тогда негативное отношение к самой войне переплеталось с установкой на противодействие деструктивной тенденции территориальной фрагментации России. Весьма ёмкую характеристику такой противоречивой ситуации даёт научный руководитель Департамента политологии Финансового университета В.В. Фёдоров: «война в Чечне продемонстрировала готовность России отстаивать эту ценность (*территориальную целостность*), не считаясь ни с какими жертвами. И хотя в отдельные моменты поражений идея согласиться с отделением Чечни приобретала популярность, именно восстановление российского контроля над этой республикой стало фундаментом беспрецедентной народной поддержки Путина в начале 2000-х годов» [383].

Можно диагностировать, что трансформация образа «нашего» пространства в российском массовом сознании носила разнонаправленный характер: императив территориальной обширности (как один из символов исторического величия России) ситуативно комбинировался с обостренным ощущением угрозы дальнейшего распада страны, конструированием представлений о внутренних «чужих», проникших в «наше» геокультурное пространство и стремящихся к его разрушению.

*1990-е годы: постсоветская травма и разрушение образов прошлого.*

Распад СССР и деструктивная линия новой российской власти на тотальную негативизацию советского прошлого (особенно заметная до середины 1990-х гг.) привела к всеобъемлющей фрагментации темпоральных паттернов самоидентификации российских граждан. Базовым в то время

становится кризисное и негативно окрашенное восприятие прошлого вне каких-либо ценностно-смысловых координат, в котором соседствуют «безвременье», депрессивные реминисценции и абсолютно иррациональные мотивы .

Тем не менее, анализируя содержание массовых образов прошлого (о некоей единой исторической картине говорить невозможно), формировавшихся в 1990-е годы, можно выделить ряд важных тенденций.

Первая тенденция – это *фрагментация символического пространства* российской и, отчасти, мировой *истории* в сознании россиян. Так, согласно исследованиям «Левада–центра», в 1994 году россияне считали примерно в одинаковой степени выдающимися историческими личностями «всех времен и народов» А. Гитлера, Екатерину II, Л.Н. Толстого, М.И. Кутузова [355]. Такая символическая эклектика вполне отвечала обозначившемуся еще в период Перестройки и усилившемуся в начале 1990-х годов тренду на реабилитацию сюжетов и персонажей «неудобного прошлого», которые игнорировались в советском историческом нарративе или получали однозначно негативную оценку со стороны официальной исторической науки: от генералов Вермахта и коллаборационистов времен второй мировой войны до деятелей «белого движения» (Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, А.И. Деникин) и последнего этапа существования Российской империи (Николай II, С.Ю. Витте, А.Ф. Керенский и т.д.). Показательно, что в 1990-е годы на первый план (с большим отрывом) среди ведущих фигур отечественной истории вышла личность Петра I [355]. Такое «полусакральное» отношение к первому российскому императору подкреплялось соответствующей символической политикой действующей власти, нацеленной на эксплуатацию его образа как главного «западника», осуществлявшего радикальные преобразования, в том числе, и ценой серьезных социально-экономических издержек.

Вторая тенденция трансформации пространства исторической памяти в России связана с сильным и устойчивым *влиянием постсоветской*

*ностальгии* на образ прошлого. Мощный импульс ей придавал возросший во второй половине 1990-х годов запрос на «сильную власть». Отражением этого стала полномасштабная «реабилитация» И.В. Сталина в глазах значительной части общества: если в 1994 г. его считали наиболее выдающимся историческим деятелем только 20% граждан, то в 1999 году, на пике кризиса российской государственности и идентичности – уже 35% [355].

Третья тенденция, также свидетельствующая о серьезном вакууме и конфликтности исторических представлений, проявилась в *отторжении гражданами новых* – отчетливо «антикоммунистических» – «символов России», продвигаемых на официальном уровне: Николая II, П.А. Столыпина и др. Параллельно с этим шел процесс критической переоценки и «забвения» эпохи Перестройки, что выразилось, например, и в резком снижении популярности фигуры А.Д. Сахарова, и в наметившемся тренде на более позитивное восприятие хрущевско-брежневского этапа советского прошлого [355]. В то же время, на фоне серьезного кризиса исторических оснований национально-государственной идентичности определенный позитив несла в себе четвертая тенденция, связанная с *постепенной актуализацией* (при непосредственном содействии со стороны власти) в общественном сознании *героического ареола* вокруг Великой Отечественной войны. Это выразилось в превращении к концу 1990-х годов дня Победы в *de facto* основной государственный праздник (из числа имеющих явную историко-политическую доминату), и в росте популярности Г.К. Жукова в массовом сознании, обретении им статуса центральной фигуры и персонализированного символа Великой Победы [355].

*Образ будущего в 1990-е годы: атомизация и неопределенность.*

Исследования отечественных ученых свидетельствуют: на кризисном этапе трансформации российской идентичности происходит не только распад ценностно-исторических оснований советской идентификационной модели,

но и резкое сжатие индивидуальных и коллективных горизонтов восприятия будущего. На наш взгляд, эта тенденция убедительно объясняется эффектом всеобъемлющей *атомизации* социума, которая предполагает хаотизацию не только пространства, но и исторического времени – переход к его архаическим, замкнутым формам (жизнь «одним днём», характерная для многих древних сообществ) [174, с. 161-162].

Согласно данным социологических исследований, в этот период представления многих россиян о будущем – и личном, и коллективном – ограничивались минимальными темпоральными интервалами, не превышающими нескольких месяцев [351]. Стирание контуров образа будущего стало не только политико-психологическим следствием кризиса советской модели идентичности и завершения существования СССР, но и результатом «шоковой терапии» и политической нестабильности первой половины 1990-х годов. Своеобразной репрезентацией «утраты будущего» явилось его замещение иррациональными и деструктивными псевдофутурологическими сюжетами (из наиболее известных можно вспомнить ожидание частью россиян «конца света» в 2000 году).

Представляется, что такая кризисная ситуация в сфере формирования образа будущего подкреплялась наступившим к 1994-1996 гг. политико-психологическим эффектом *«двойного разочарования»* – и в реставрационной политической риторике (символом и выразителем которой стали «коммунисты»), и в западном пути развития страны на основе ценностей «свободы» и «демократии», олицетворением которого выступал Б.Н. Ельцин и поддерживающие его «демократы».

Поэтому весьма показательно, что во второй половине 1990-х годов представления российских граждан о будущем представляли собой разрозненный конгломерат, включавший в себя три типа фрагментов:

1) *социально-депрессивные атомизированные сюжеты* («война», «распад страны» как естественное продолжение тренда разрушения СССР), часто носившие иррациональный и алармистский характер, а также

основывающиеся на массовом социальном пессимизме – простой негативной проекции постсоветской понижательной динамики («кризис будет углубляться» и т.п.);

2) проецируемые в перспективу всё более заметные *ностальгические настроения*: желание, если не полностью, то хотя бы частично реставрировать советскую систему (всё более часто рассматриваемую под единственным углом зрения: сквозь призму дефицитарной на тот момент ценности социально-политической стабильности - «уверенности в завтрашнем дне»);

3) предельно *размытые эмоциональные импульсы, связанные с поиском или заимствованием некоего «третьего пути»*: от прямого психологического «достраивания», часто не только с реминисцентным, но и конспирологическим оттенком, до поверхностного обращения к зарубежному опыту строительства рыночной экономики. Так, в начале-середине 1990-х годов в российском медиапространстве активно обсуждалась «шведская модель», несколько позже – «социализм с китайской спецификой»; в последующем - «сингапурская модель», «чилийская модель» как сочетание экономического либерализма и политического запроса на сильную власть и т.д. Особенно они стали востребованными после электорального цикла 1996-1997 гг., когда отчетливо материализовалась невозможность всеобъемлющей реставрации советского политического порядка, даже в обновленной форме («коммунистического реванша», как его называли сторонники Б.Н. Ельцина).

#### *Идентификационные альтернативы «новой России» в 1990-е годы.*

Весьма показательным является тот спектр альтернативных путей развития российской государственности и конструирования национально-государственной идентичности (помимо концепции «новой России», декларируемой властью, и региональных сепаратистских квази-нарративов),



который предлагался различными акторами политического процесса в 1990-х годах и нашел отклик у отдельных сегментов общества.

Рассматривая данный вопрос, следует оговориться, что в 1990-е годы косвенное обращение к проблеме национально-государственной идентичности активно использовали многочисленные политические партии и объединения. На наш взгляд, наиболее яркий пример такого использования являет собой название «партии власти» на выборах в Государственную Думу ФС РФ 1995 года – «Наш дом – Россия». По существу, речь идёт о первой относительно удачной попытке преодолеть идейно-политические размежевания через обращение к «зонтичной» над-идеологической конструкции, лежащей в плоскости не идеологических, а идентификационных представлений. Достаточно четко идентификационная составляющая прослеживалась в политической программе и риторике Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Она носила принципиально иной – имперско-ренессансный – уклон, по существу апеллируя к широкому на тот момент сегменту носителей неоимперской идентичности, разочаровавшихся в действующей власти и одновременно негативно оценивающих позднесоветскую действительность [225].

В определенной степени интересен опыт партии «Яблоко», которая в рамках собственной программы пыталась в ходе избирательной кампании 1999 года (когда стал очевиден массовый запрос на сильную власть) осуществить синтез социальной повестки дня и либеральных ценностей. Однако в целом следует признать, что такая попытка носила поверхностный характер (на уровне отдельных тезисов: «для нас Великая Россия — это прежде всего благополучие и безопасность граждан. Это не только мощная армия, но и современное высокого класса общедоступное образование...безопасность, эффективная экономика и реальная федерация»[376]) и была воспринята весьма узкой группой российских граждан. Более того, её результативность была ограничена фактором существования острого идейно-политического раскола между условными

«коммунистами» и «демократами». В условиях его продолжавшегося «тления» многие симбиотические альтернативы утрачивали свой импульс и растворялись в конфликтном информационном поле.

Особо примечательной с точки зрения национально-государственной идентичности является кампания по выборам в Государственную Думу 1999 года. В ней остро конкурировали две политические силы, транслирующие избирателям консолидационные и во многом внеидеологические идентификационные установки: блоки «Единство» и «Отечество – вся Россия» (думается, что названия данных политических сил весьма четко репрезентуют их претензии на постулирование некоторой консенсусной модели идентичности в общероссийских масштабах).

Группируя проекты национально-государственного строительства, которые циркулировали в российском обществе в 1990-е годы, можно выделить три магистральных направления их концептуализации:

- несоветская реставрация, предполагавшая *de facto* воспроизводство советской политической системы в модернизированном её варианте;
- радикальная либерализация, в основе которой лежало не только принятие демократических ценностей, но и поэтапное растворение в цивилизационном и геополитическом пространстве Запада;
- неотрадиционалистский концепт: поиск «третьего» пути на основе адаптации имперской идеологии XVIII-XIX вв. к современным геополитическим, технологическим и социально-экономическим реалиям.

Безусловно, наиболее серьезным и устойчивым спросом в массовом сознании 1990-х гг. пользовалась идея регенерации советской политической системы в новом формате, в основании которой, как представляется, лежали две ограничительные психологические установки. Первая – это осознание невозможности восстановления СССР как единой территориальной конструкции в прежних границах, что стимулировало дискуссии о перспективах постсоветской интеграции, главным образом, с Украиной, Беларусью и Казахстаном. Вторая ограничительная установка новых

советских проектов заключалась в признании неэффективности жестко централизованной командной экономики и необходимости выстраивания смешанной социально-экономической системы.

Конкурентным преимуществом политических акторов, выступающих за возврат к советской модели политического устройства, было наличие у данного идентификационного нарратива зримого когнитивно-символического ядра, заимствованного у советской модели национально-государственной идентичности: от образов Ленина и Сталина, государственного флага СССР до однозначного отношения к Западу как геополитическому и ценностно-мировоззренческому «врагу». Не менее очевидным минусом – подчеркнутая ретроспективность, выражавшаяся в эмоциональной гипертрофии прошлого (и часто – в нежелании признавать «ошибки» советской власти), слабая адаптированность к новым реалиям и отсутствие конкретизированного и позитивного образа будущего.

Также важно, что рассматриваемая альтернатива опиралась на такой выраженный синдром политического сознания части граждан, как *ностальгия по советскому*. На наш взгляд, данное явление, нуждается в дополнительном осмыслении, поскольку оно наложило существенный отпечаток на трансформацию российской национальной идентичности не только в кризисный период 1990-х годов, но и в последующем. Очевидно, что в его основании лежали фундаментальные механизмы психологической защиты и самоактуализации личности, которые обрели и мощное коллективное звучание.

В таком смысле запрос на возвращение в СССР представлял собой не что иное, как негативную эмоциональную реакцию на радикальные преобразования 1991-1993 гг., концентрированное неприятие политики, проводимой российской властью. То есть, образ «нового Советского Союза» при всей своей аморфности конкретизировал для части россиян нарастающий общественный запрос на такую политическую ценность, как стабильность,

понимаемую не как стагнация, а как предсказуемость («уверенность в завтрашнем дне»).

Параллельно образ СССР прочно утвердился в массовых представлениях в роли *политического и ценностно-смыслового антипода* кризисной «новой России» (сила, стабильность, порядок VS слабость, нестабильность, хаос). При этом показательно, что уже в то время количество российских граждан, сожалеющих о распаде СССР, серьезно превышало число тех, кто идентифицировал себя с ним на когнитивно-оценочном уровне. Еще меньшее число россиян считало, что воссоздание СССР возможно. То есть, невозможность «возврата к прошлому», в том числе, видоизменённому и адаптированному к новым реалиям, признавала большая часть из тех, кто испытывал сожаление в связи с его утратой.

Таким образом, уже на рубеже 1990-2000-х годов советская ностальгия приобрела завершённое эмоциональное оформление-оболочку, став одной из форм политико-исторической саморефлексии определенных сегментов общества, при этом, не являясь главенствующим побудительным мотивом политического поведения. Более того, со временем она перестала быть импульсивной реакцией тотального неприятия постсоветской реальности, все более подвергалась рационализации и обретала селективные свойства. То есть имела место ностальгия по определенному аспекту жизни советского общества, например, политической стабильности, «сильной руке», доступности бесплатного высшего образования: *«взять всё лучшее, что было в СССР, и соединить это с...»* – пример одного из ответов молодых респондентов в рамках более уже поздних фокусированных интервью 2013 года, проведенных в рамках проекта «Формирование национально-гражданской идентичности российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ».

*Вторая идентификационная альтернатива*, первоначально кристаллизовавшаяся в политическом дискурсе «новой» России (и затем в меньшей степени – в массовом сознании граждан), может быть условно

обозначена как *радикально-либеральная*. Она опиралась на идею всеобъемлющего отторжения не только советского, но и традиционного российского историко-символического наследия, необходимость форсированной интеграции страны в ценностно-смысловое и политическое пространство западной макроцивилизации путем демонтажа социокультурных и фундаментально-психологических («архитипических», ментальных) оснований российской «матрицы» идентичности. Первоначально такое вульгаризированное «западническое» видение траектории социально-политического развития России опиралось на симбиоз *подражательно-модернизационных установок* массового сознания (общественного запроса на перемены, «жить, как на Западе») и мощного *импульса аутоагрессии* по отношению к образу «мы»: «нашему» миру во всех её проявлениях. Причем, именно последний компонент – *депрессивно-страдальческие мотивы* – играл ведущую роль в первичном проектировании идентичности такого типа.

Закономерно, что указанный дискурс формирования российской идентичности не нашел серьезной поддержки у российского общества и уже к середине 1990-х годов оказался на периферии политического процесса. По существу, он стал атрибутом отдельных, глубоко маргинальных и слабо структурированных социально-политических групп, которые к тому же активно подвергались стигматизации со стороны их оппонентов («демшиза» и т.п.).

Вместе с тем, важно отметить, что отторжение массовым сознанием всевозможных радикальных «западнических» инициатив переформатирования матрицы российской национально-государственной идентичности было связано не только с негативными последствиями радикальных рыночных реформ и частичным разочарованием в ценностях свободы и демократии. Оно также подкреплялось отсутствием у большинства их носителей социальной эмпатии («спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и т.п.), отчетливой деструктивной

интолерантностью «новых западников» по отношению к России во всех её смысловых проекциях: народу, истории, культуре.

В то же время в политическом пространстве России в качестве некой гипотетической, а не реальной альтернативы государственного устройства и самоидентификации активно циркулировала предельно аморфная и лишённая какого-либо внятного когнитивного наполнения *идея «третьего пути»*.

Здесь нужно сделать ремарку, что, по существу, речь не шла о какой-либо четкой альтернативе-концепции, внятном понимании траектории исторического развития страны, а преимущественно о констатации очевидных тезисов уникальности России и обостренной риторике: антизападной или, наоборот, антисоветской. Носителями таких идеологем выступали политические акторы, исповедующие различные, часто диаметрально противоположные представления о прошлом и будущем российской государственности: от социал-демократических сил, требующих «продолжения» Перестройки, до ультранационалистических, леворадикальных и умеренно правых организаций.

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно констатировать, что в 1991-2000 гг. оформилась *кризисно-конфликтная модель национально-государственной идентичности*. Качественные характеристики этой модели нашли отражение в таблице 16.

Таблица 16 – Кризисно-конфликтная модель российской национально-государственной идентичности (1991-2000 гг.)

Компоненты идентификационной структуры	Ключевые качественные характеристики	Интегральная оценка
1	2	3
Социально-политические контексты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- распад СССР, неустойчивость политической системы «новой» России;</li> <li>- острые идейно-политические конфликты, идеологическая поляризация общества;</li> <li>- социально-экономический кризис и резкое падение уровня жизни граждан;</li> <li>- социальная фрустрация и атомизация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабильные;</li> <li>- конфликтные;</li> <li>- резко негативные</li> </ul>

Продолжение таблицы 16

1	2	3
Образ «значимых других»	- <i>двухконтурный</i> : внешние «чужие» в лице Запада дополняются «внутренним врагом» - этническими «чужими», криминалом, олигархами; - в представлении значительной части общества образ Запада – умеренно-позитивный	- фрагментарный; - эмоционально поляризованный
Образ власти	- восприятие действующей власти как слабой, непредсказуемой и обособившейся от граждан	- фрагментарный; - негативный;
Образ «нашего» пространства	- <i>расщепленный</i> : комбинация представлений о распадающейся России с неимперскими реминисценциями, в основании которых - территория как терминальная ценность	фрагментарный
Образ прошлого	<i>слабо структурированный</i> : - множество локальных исторических сюжетов, не взаимосвязанных между собой; - существенная роль постсоветской ностальгии; - кристаллизация отдельных фрагментов досоветской (имперской) истории	-фрагментарный; - негативный; - конфликтный
Образ будущего	- «сжатие» политического времени – «жизнь одним днем»; - катастрофизация будущего	- аморфный; - фрагментарный; - негативный
Идентификационные альтернативы	- несоветская реставрация; - радикально-либеральная; - «третий путь» как конгломерат разнородных и редуцированных представлений	высокий уровень политических рисков: эскалация конфликтности

Источник: составлено автором.

*В заключении* параграфа 4.1 можно сделать вывод, что политическая динамика 1991-2000 гг. привела к формированию неустойчивой *кризисно-конфликтной конфигурации национально-государственной идентичности*. Она характеризовалась разрушением образа территории, аморфностью и негативной направленностью массовых представлений о прошлом и будущем страны, а также – доминированием образа слабой власти, ростом этнической конфликтности, актуализацией образа «врага» в его внутренней этносоциальной и геополитической проекциях.

## 4.2 Эволюция российской национально-государственной идентичности в 2001 - 2013 гг.: между реставрацией и модернизацией

*Социально-политические контексты трансформации национально-государственной идентичности.*

Рубеж XX-XXI столетий явился важным политическим водоразделом, открывшим принципиально новый этап эволюции политического сознания граждан, и как следствие – формирования общероссийской национально-государственной идентичности. Поэтому особого внимания заслуживает рассмотрение *контекстуального социально-политического ландшафта, который сопровождал изменения идентификационных установок и образов россиян в этот период.* На наш взгляд, в данном ракурсе наибольший интерес представляют три аспекта.

*Первый аспект* связан с приходом к власти Президента В.В. Путина, деятельность которого уже в рамках первого срока полномочий привела к серьезному росту доверия к российской власти и одновременно – к закреплению её восприятия россиянами как персоналистской и вертикальной конструкции. В этих условиях сокращение поля политической конкуренции, обозначившееся уже в 2001-2003 гг., а затем – и переход к модели «управляемой демократии», воспринимались большей частью общества либо как однозначно позитивный процесс, либо как неизбежное следствие укрепления политико-административных оснований российской государственности [94, с. 84]. .

*Второй аспект,* который следует учитывать – это интенсивный рост благосостояния и уровня жизни граждан, который происходил в 2001-2007 гг. (до экономического кризиса 2008 года). По нашему мнению, указанная тенденция оказала двойственное влияние на массовое сознание в целом и доминанты политической самоидентификации в частности. С одной стороны, восстановительный рост 2000-х гг. характеризовался частичной «деполитизацией» общества по причине и *накопленной усталости* от



социально-политических катаклизмов 1990-х годов, и психологической переориентации населения на рациональное потребление. В такой ситуации естественной реакцией значительной части россиян был психологический мораторий на поиск ответа на вопрос «кто мы?», временный отказ от выработки смысловых оснований устойчивой национально-государственной самоидентификации. В свою очередь, отсутствие прочного когнитивного фундамента самоидентификации компенсировалось консолидацией политического пространства Российской Федерации, социально-экономической стабильностью, а также выразительными образами сильной (и отчасти – успешной) действующей власти [157; 288; 289].

С другой стороны, уже через несколько лет после кристаллизации «путинского консенсуса», в условиях удовлетворения основных материальных потребностей, запросов на сильную власть и стабильность, в недрах политического сознания российского общества стал вырисовываться запрос на политическую модернизацию, социальное признание и справедливость. Этот запрос впервые явно материализовался в ходе массовых политических протестов 2011-2012 гг. Их импульсом явилась дефицитарная потребность в обретении политической субъектности и уважения со стороны власти. Такую потребность особо остро испытывали некоторые сегменты общества, прежде всего, часть жителей крупных городов: молодежь и относительно обеспеченные россияне среднего возраста (последние в полной мере подпадают под определение феномена *frustrated achievers*, подробно описанного в западной социологии начала XXI века [305]).

*Третий аспект* состоит в следующем: формирование «путинского консенсуса» стало отправной точкой в поэтапном переосмыслении многими российскими гражданами собственного коллективного «мы»: вне катастрофических контекстов, догоняющих моделей развития и тотального доминирования постсоветской ностальгии [157, с. 45]. Российская Федерация стала восприниматься не в компенсаторном ключе – как

временное состояние, транзитная форма кризисного существования «нас» в условиях разрушения каких-либо иных идентификационных ориентиров – а как *полноценная политическая и геоисторическая данность*. Соответственно, понимание её уникальности – «особого пути» – также частично утратило остроту и рационализировалось, став констатированным фактом массового сознания, но не всепоглощающим императивом национально-государственной самоидентификации (то есть, уже не подразумевая обязательный конфликт с «чужим» идентификационным «миром», будь то страны Запада или собственное советское прошлое).

Представляется, что сочетание рассмотренных выше тенденций оказало существенное влияние и на переформатирование политического сознания российских граждан, и на трансформацию соответствующих идентификационных установок и образов.

*Основные установки национально-государственной самоидентификации и восприятие России как страны.*

Существенный вклад в представления о формировании национально-государственной идентичности российских граждан в 2001-2013 гг. вносит понимание места национально-гражданского и этнического компонента в иерархии самоидентификаций российского общества. В данном ракурсе показательны результаты формализованных и фокусированных интервью, проведенных в рамках реализации проекта *«Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России»* (руководитель – Т.В. Евгеньева). Отвечая на открытый вопрос *«для Вас важно, что вы являетесь... кем именно?»* (не более пяти номинаций), респонденты упоминали идентификационные маркеры этнокультурного самосознания - русский (23%) и государственно-политического «Я» - «гражданин России», «россиянин», «житель России» (в совокупности – 43%). При этом показательно, что выраженная гражданская идентификационная установка была выявлена у 15% опрошенных;

патерналистская государство-ориентированная с преобладанием территориального элемента («житель России») – у 13%; промежуточная недифференцированная, выраженная в номинации «россиянин» – у 15%.

Однако следует понимать, что при постановке открытого вопроса, вполне оправдана ситуация, что и русская, и российская национально-гражданская самоидентификация, закономерно уступают в иерархии актуальных социально-ролевых статусов родственным, связанным с семьёй (сын, дочь, отец, мама и т.д.), которые упомянули 63% опрошенных; профессиональным – 34%, а также гендерным – 28%. При этом русская идентичность уверенно опережает локальную (свидетельствующую о принадлежности к конкретному местному сообществу) – 20% и региональную, которую упомянули только 7% опрошенных.

Также симптоматично, что респонденты называли себя гражданами России или русскими во вторую-четвертую очередь, но при этом иерархическая позиция «русского» компонента в целом по выборочной совокупности несколько выше (2,2 в диапазоне упоминаний 1-5), чем российского (2,6). Это может свидетельствовать о том, что среди тех людей, для которых характерна русская самоидентификация в различных её вариациях, она носит более актуальный острый характер, чем осознание собственного национально-государственного статуса у «граждан России» и «жителей России».

В ходе ответа на вопрос, *«к каким социальным (этническим профессиональным, культурным) группам Вы себя относите в первую очередь?»* (открытый вопрос, не более трёх ответов), 28,8% респондентов упомянули собственную этническую принадлежность; 9,3 % отметили, что считают себя «россиянами», «гражданами России» или «жителями России». 11,7% опрошенных отметили свою религиозную принадлежность. Изучение генерализованного качественного образа России (*«Какие качества в наибольшей степени свойственны России?»*) по методу семантического дифференциала (шкала от 1 – 7, где 1 – негативная оценка, 7 – позитивная

оценка, 4 – медианная оценка) с использованием 17 критериальных оппозиций, сформулированных Т.В. Евгеньевой и её коллегами в 2008 году, позволило выявить следующие результаты, которые отражены на рисунке 10.

Негативное качество	Среднее значение	Позитивное качество
слабая	5,9	сильная
неблагополучная	4,1	благополучная
закрытая	4,6	открытая
отсталая	4,4	развитая
тревожная	3,3	спокойная
распадающаяся	5,4	единая
зависимая	5,3	независимая
разобщенная	3,8	сплоченная
опасная	3,7	безопасная
Бедная	6,0	богатая
несправедливая	4,2	справедливая
неуважаемая	5,5	уважаемая
враждебная	3,9	дружественная
невлиятельная	5,2	влиятельная
отталкивающая	5,1	привлекательная
ненадежная	3,2	надежная
неперспективная	4,9	перспективная

Источник: составлено автором.

Рисунок 10 - Какие качества в наибольшей степени свойственны России?

Можно однозначно зафиксировать, что в политическом сознании российских граждан, на его рациональном уровне, сформировался умеренно-позитивный образ России. При этом отчетливо в позитивном диапазоне ( $\geq 5,0$ ) лежат такие положительные её характеристики, как богатая (6,0 R 1), сильная (5,9 R 2), уважаемая (5,5 R 3), единая (5,4 R 4), независимая (5,3 R 5), влиятельная (5,2 R 6) и привлекательная (5,1 R 7). Собственно в умеренно-позитивном диапазоне (4,0 – 4,9) находятся следующие характеристики: перспективная (4,9), открытая (4,6), развитая (4,4), справедливая (4,2), благополучная (4,1). В умеренно-негативном диапазоне (3,0 - 3,9) расположились следующие пять характеристик: ненадежная (3,2), тревожная (3,3), опасная (3,7), разобщенная (3,8), враждебная (3,9).

Можно констатировать, что умеренно-позитивный образ России в сознании респондентов опирается на две главные составляющие. Первая составляющая – это высокая оценка потенциала России как богатой и перспективной страны. Вторая – мнение о России сквозь призму окружающего мира, как о сильной, уважаемой и влиятельной стране. В то же время внутренние черты образа России, непосредственно связанные с социальным благополучием граждан, оцениваются более скромно (по шкале «несправедливая – справедливая» - 4,2; по шкале «неблагополучная – благополучная» - 4,1). Показательно, что даже в условиях относительной социально-экономической стабильности и высокого уровня популярности российской власти, воспринимаемой в массовом сознании в качестве сильной, участники опроса демонстрируют депривацию ресурса безопасности: страна воспринимается как, скорее, «опасная» и «ненадежная».

*Образ российской власти; сильный правитель и «безликие» чиновники.*

Период 2001-2013 гг. характеризовался кристаллизацией весьма монолитного образа «сильной» власти, который резко контрастировал со «слабой» властью второй половины 1990-х годов. При этом основополагающий *персоналистский фрейм* восприятия российской власти гражданами остался неизменным: её качества (сила–слабость, эффективность – неэффективность, привлекательность – непривлекательность) определялась соответствующими атрибутивными характеристиками первого лица. В этом смысле «сильный» правитель В.В. Путин детерминировал соответствующее представление о власти в целом [290, с. 10-12].

Так, отвечая на открытый вопрос «для Вас высшую власть в России олицетворяют?», 71,3 % респондентов назвали именно В.В. Путина, еще 3,1% – «премьер-министр», «глава Правительства». 26,4 % – «президент». Все остальные известные политики ассоциировались с высшей властью редко – ни один из них не был упомянут более 4% респондентов.

Еще одна важная особенность восприятия власти в тот период – это сложившиеся и активно циркулирующие в обществе представления о чиновничестве как некотором безликом слое. Чиновники (их в различных вариациях упомянули около 50% опрошенных), согласно высказываниям респондентов, представляются «безответственными», «слабо разбираются в ситуации в стране», «думают о своем кармане», «коррупционированы». В тот момент к чиновникам тесно примыкают условные «олигархи» и крупный бизнес (*«те, у кого есть деньги, заводы, недвижимость»*), которые также в целом вызывают негативные эмоции: *«вывозят наши богатства за рубеж»*. Однако весьма симптоматичен и тот момент, что имена конкретных олигархов при этом назывались чрезвычайно редко.

Другая, гораздо менее заметная тенденция связана с существованием в сознании определенного сегмента российского общества *конспирологического фрейма* восприятия власти. Согласно ответам респондентов, мыслящих в данном русле (5,1%), реальной властью в России обладают *«силы которых мы не знаем»*, *«мировой капитал»*, *«теневые финансовые структуры»* и т.д.

*Образ «значимого другого»: дифференциация и негативизация представлений о Западе.*

Существенные трансформации в рассматриваемый период претерпевал и образ «значимого другого». Они были связаны с очевидным трендом, сформировавшимся еще на рубеже 1990-2000-х годов – постепенным, но неуклонным ухудшением отношения российских граждан к странам Запада. Во второй половине 2000 – начале 2010-х годов негативное представление о западных государствах, главным образом США и его союзниках в «новой Европе», стало преобладающим, но всё же не было однозначной доминантой российского политического сознания. Эта тенденция отражена в таблице 17.

Таблица 17 – Какие чувства вызывает у россиян упоминание о различных странах мира?

Страна	В процентах		
	В основном положительные	В основном отрицательные	Нейтральные
США	37,4	44,7	17,9
Польша	37,3	37,9	24,8
Великобритания	51,5	35,1	23,4
Франция	75,1	9,2	15,7
Германия	62,4	21,1	16,5
Япония	60,0	18,1	21,9
Китай	44,7	32,2	23,0
Индия	64,1	11,4	24,5
Сербия	43,8	21,6	34,6
Украина	48,9	33,8	17,3
Казахстан	63,0	15,0	22,0

Источник: [132, с. 45].

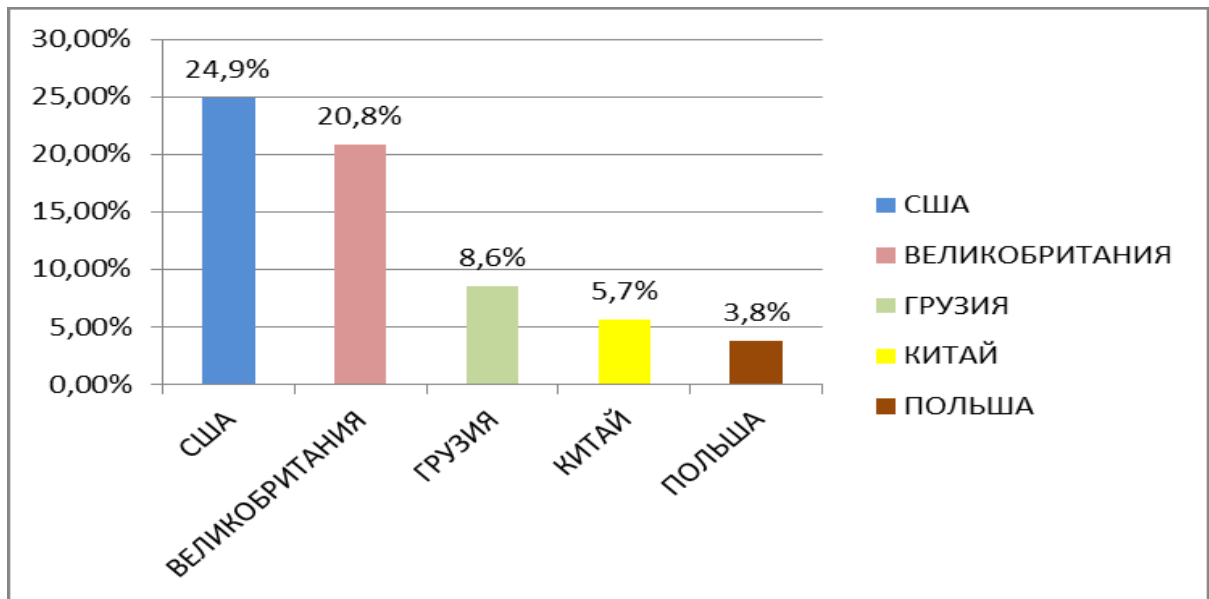
Анализируя логику трансформации восприятия Запада как «значимого другого», можно согласиться с мнением, что «первоначально эти сдвиги в массовом сознании имели характер внутреннего самоутверждения и не несли в себе собственно антизападной направленности» [132, с.41]. Однако в силу ряда событий конца 1990- 2000-х годов – от расширения НАТО на восток и бомбардировок Югославии в 1999 году до активной поддержки западными правительствами «оранжевой революции» в Украине и военно-политической помощи Грузии в ходе «пятидневной войны» в августе 2008 года – в восприятии западных стран начинает преобладать негативная динамика. «В результате образ Запада в сознании большинства российских граждан получил прочную смысловую связку с фактором угрозы» [132, с.41].

По нашему мнению, следует особо отметить, что указанная тенденция негативизации массовых представлений о «коллективном Западе» на рубеже 2000-2010-х годов всё же не являлась всепоглощающей по своей сути. В связи с этим показательно, что во второй половине 2000-х годов в политическом сознании российских граждан оформился *дифференцированный образ* Запада. Негативная его составляющая была связана в первую очередь с США и их союзниками – Польшей и, в меньшей степени, Великобританией. В то же время лидеры континентальной Европы – Франция и Германия – воспринимались позитивно (первая из них – например, намного положительнее, чем Украина и Казахстан).

Характерной особенностью является и то, что в представлениях россиян начал конституироваться умеренно-негативный образ Китая, в отличие от других влиятельных держав Востока – Индии и Японии. Это позволяет сделать вывод, что даже в условиях весьма интенсивного геополитического сближения России и Китая, продолжавшегося до конца 2010-х годов, и роста антиамериканских настроений в российском обществе «великий восточный сосед» квалифицируется отечественным массовым сознанием как неизменная угроза.

Можно предполагать, что в данном случае активно задействован механизм простой психологической проекции на собственную страну (*«если бы на месте Китая была Россия?»*), который позволяет рационализировать притязания Китая на российскую территорию и природные ресурсы как нечто естественное: имманентное геополитическое состояние, детерминированное и демографическими, и географическими, и социально-экономическими факторами. Сопоставимые результаты были получены в ходе исследования «Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России». Распределение ответов респондентов на открытый вопрос *«Есть ли у России враги?»* (уточняющие вопросы в случае утвердительного ответа: *«если да, то кто?»* и *«почему вы так думаете?»*) иллюстрирует рисунок 11.





Источник: составлено автором.

Рисунок 11 – Мнения российских граждан о странах-врагах России

*Образ «нашего» пространства в политическом сознании россиян: аморфность, отчуждение и имперские реминисценции.*

Не менее существенные метаморфозы происходили и с образом пространства. Прежде всего, следует отметить, что только 46,7 % респондентов, принявших участие в исследовании, сказали, что Россия для них ограничивается нынешней территорией Российской Федерации. При этом 19,3 % опрошенных, отвечая на вопрос «*какими пределами лично для Вас ограничивается Россия?*», указали пространство бывшего СССР. Указанные результаты представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «какими пределами лично для Вас ограничивается Россия?»

В процентах

Территория	Число ответов
1	2
Нынешней территорией Российской Федерации	41,8
Пространством бывшего СССР	19,3
Регионами, где проживают преимущественно русские	9,4

Продолжение таблицы 18

В процентах

1	2
Территорией Российской империи	6,7
Местом, где я живу	6,1
Регионом, где я живу	5,0
Затрудняюсь ответить	3,4

Источник: составлено автором.

Представляется, что указанные результаты позволяют диагностировать *четыре важные черты* эволюции образа России в её пространственном измерении. *Во-первых*, восприятие России в её нынешних территориальных рамках не являлось на тот момент преобладающим, не закрепились в политическом сознании россиян как некая доминирующая установка-константа. *Во-вторых*, в конце 2000-х – начале 2010-х годов у значительной части общества сохранялся реминисцентный – «расширительный» – взгляд на Россию и её территорию. Причем в основе такого миропонимания лежала не только ностальгия по СССР, но и, что немаловажно, эмоциональный экскурс к территориально-политическому наследию Российской империи. *В-третьих*, в массовом сознании, очевидно, существенное место всё еще занимали популярные в 1990-е годы автономизаторские мотивы: 11,1% респондентов ограничило Россию собственным регионом или местом проживания. *В-четвертых*, достаточно явно проявила себя и *этнокультурная сегрегационная тенденция*: примерно 1/10 часть опрошенных указала, что Россия для них – это «регионы, где проживают преимущественно русские».

Также вызывает интерес мнение респондентов о том, какие территории могли бы войти в состав России в будущем («*существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы войти в состав России?*», *открытый вопрос, не более трех вариантов ответов*).

Примечательно, что только 28,7% опрошенных ответили, что таких территорий нет или затруднились их назвать. 57,4 % упомянули Украину или её (на тот момент) части: «Восток Украины», «часть Украины», «Крым и русскоязычные районы Украины» и т.п.

При этом «Крым» непосредственно упоминали 9,3% участников опроса (отчасти потому, что его аккумулировали в себя более емкие формулировки, в которых фигурировало слово «Украина»). 38,7% респондентов также назвали «Белоруссию». Симптоматично, что речь, в отличие от Украины, шла об этой стране в целом, а не о каких-либо отдельных её территориях. Указанные ответы представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы войти в состав России?

Территория	В процентах	
	Число респондентов	
Украина, отдельные её территории	57,4	
Беларусь	38,7	
Абхазия, Южная Осетия (совокупность упоминаний)	31,2	
Казахстан, его отдельные территории	21,1	
Закавказье в целом, Грузия, Азербайджан	9,0	
Средняя Азия, среднеазиатские отдельные республики	9,5	
Прибалтика	4,1	
Территории, входившие в состав Российской империи: Финляндия, Польша, Аляска и т.д.	3,5	

Источник: составлено автором.

Не менее интересными являются и результаты ответов респондентов на вопрос «*существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы выйти из состава России?*» (открытый вопрос, не более трех вариантов ответов), которые в обобщенном виде представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы выйти из состава России?

В процентах	
Территория	Число респондентов
Северный Кавказ, его отдельные части	60
Чечня	34
Дальний Восток	13
Сибирь	10
Татарстан	8
Дагестан	7
Калининградская область	4
Другие территории	7

Источник: составлено автором.

Необходимо обозначить тот факт, что 37,5% респондентов затруднились назвать такие территории или считают, что их не существует. При этом 62,5% указали конкретные историко-географические макрорегионы или отдельные регионы России, которые в будущем могли бы выйти из её состава. По мнению опрошенных, безусловный лидер центробежных тенденций среди территорий – Северный Кавказ (60% опрошенных), а также восточные части страны: Дальний Восток (13%) и Сибирь (10%). Среди отдельных субъектов Российской Федерации, обладающих сепаратистским потенциалом, наиболее часто называлась Чечня (34%). При этом также следует учитывать и то, что большинство ответов, в которых использовались формулировки «Кавказ», «некоторые республики Северного Кавказа» и т.д., очевидно подразумевали и Чечню. Сопоставляя эти результаты с исследованием образа «другого», можно констатировать, что в российском

политическом сознании на тот момент сложился достаточно прочный консенсус в отношении культурно-психологического отторжения этой части России. Характерно, что говоря о возможности отделения тех или иных российских регионов, респонденты также высоко оценивают сепаратистский потенциал Татарстана (8%), Дагестана (7%) и Калининградской области (4%).

Логично отметить, что мотивация подобных оценок – восприятие той или иной территории России как потенциально склонной к сепаратизму – базируется на трех ключевых доминантах, таких как:

- манифестирующая инокультурность, этническое и религиозное своеобразие территории, её выраженное несоответствие социокультурному облику «остальной России», что создает существенную дистанцию с русским этнотерриториальным ядром (наиболее заметные примеры – Чечня, Татарстан, Дагестан, Кавказ в целом);

- удаленность или изолированность от политического центра – Москвы, что дополняется неразвитостью инфраструктуры слабостью стратегических коммуникаций (Калининградская область, Сибирь, Дальний Восток);

- наличие у этих территорий негативных практик этнорегионального сепаратизма в недавнем прошлом.

Анализируя образ пространства в политическом сознании российских граждан, можно заметить два знаковых момента. Первый момент – количество тех, кто говорит о возможности вхождения в состав России каких-либо территорий существенно больше числа тех, кто указывает на возможность утраты нашей страной отдельных её частей (71,3% и 62,5% соответственно). Это свидетельствует, о том, что на рубеже 2000-х -2010-х гг. *тренд исторического оптимизма* – положительного восприятия перспектив России как целостного территориально-политического образования сделался преобладающим. Граждане стали постепенно избавляться от постсоветских страхов 1990-х гг., связанных с распадом страны.

Второй важный момент, зафиксированный по результатам массового опроса – это *подвижность* восприятия существующих границ Российской Федерации. Так, даже среди тех респондентов, кто отождествляет территорию России с политико-географическим пространством современной России (41,8% от общего числа опрошенных), 60,8% отметили возможность расширения территории нашей страны в дальнейшем; 52,6% указали на существующую вероятность выхода тех или иных территорий из состава России.

Опираясь на такие тенденции, можно констатировать следующее: образ «нашей» территории, сложившийся в сознании россиян в 2000 – начале 2010-х годов, был все еще серьезно фрагментирован. В нем эклектично переплетались отчетливо эмоциональные имперские притязания, расширительные этнокультурные мотивы (выраженные, как правило, через идеологему родственных или «братских» народов России, Украины и Беларуси), установки региональной идентичности и остаточные элементы социальной атомизации. Основываясь как на представленных выше результатах эмпирического опроса, так и других схожих исследованиях (например, исследование национально-государственной идентичности российской молодежи 2008 г. [93]), можно выделить четыре укрупненных кластера территориально-политической самоидентификации российских граждан:

1) *«империалисты» (10-15%)* – руководствуются экспансионистскими установками восстановления границ Российской империи – СССР. При этом для них характерна аффективная по своему содержанию и негативная по окрасу политическая картины мира, в центре которой препозиция, что Россия – как историческая, так и современная – окружена «врагами» или, по крайней мере, «соперниками». Мотивация подобного восприятия остается не до конца выясненной, но результаты фокусированных интервью позволяют полагать, что аморфное когнитивное ядро «империалистической» геополитической самоидентификации – это смешивание иррациональных, предельно

мифологизированных реминисценций и специфической ценности справедливости, экстраполируемой в геополитическую плоскость. При этом последняя базируется на дихотомическом – «черно-белом» – фрейме политического восприятия (реальность оказывается жестко разделенной на «нас» и «чужих-врагов») и политико-психологическом механизме соответствующей субъектной позитивной атрибуции «мы-России» (которую в данном случае можно описать формулой: *«все, что принадлежало когда-то нам – законно и правильно, всё, что мы когда-то утратили – незаконно и неправильно»*).

2) *«интеграционисты» (25-30%)* – делают акцент на возможности вхождения в состав России территорий, близких русским в этнокультурном и историческом плане, прежде всего, Беларуси, Украины или её части, в меньшей степени – Казахстана. При этом они сдержанно относятся к восстановлению границ СССР и не исключают варианта отделения от Российской Федерации некоторых «этнических» республик Северного Кавказа (главным образом, Чечни). К указанному сегменту тесно примыкает такой субкластер, как «русские этнонационалисты», для которых сепарация «чужих» – «не русских» – регионов России является приоритетом, а вторичной целью – возвращение в её состав «исконно русских земель».

3) *«реалисты» (численность, в зависимости от политической повестки дня, варьируется в диапазоне 30-40%)* – в целом характеризуются принятием существующих границ Российской Федерации. Для большинства представителей данного кластера характерно умеренно-позитивное восприятие России (4,8 – интегральная оценка на основе представленного выше семантического дифференциала), фокусирование на внутренних проблемах развития страны «в ущерб» внешнеполитическим сюжетам и отчасти – запрос на социально-политическую модернизацию.

4) *автономисты (примерно 10%)* – исповедуют редуционистские установки, отождествляя Россию со своим регионом, локальным сообществом (местом жительства) или наиболее привычным и субъективно

комфортным, замкнутым, микросоциальным пространством (семьей, друзьями, знакомыми). Можно предполагать, что представителям этого кластера присуща политическая индифферентность, обусловленная как слабостью политической социализации, так и эффектом всеобъемлющего разочарования в политике. Для них также характерна незначительная склонность к негативизации образа России в целом (3,9 – интегральная оценка на основе представленного выше семантического дифференциала).

*Образ прошлого в массовом сознании россиян: рефлексия, стереотипы и когнитивная ограниченность.*

Преодоление кризиса идентичности конца XX века было связано с реконfigurацией образа прошлого в российском массовом сознании. По-существу, в этот период происходила поэтапная реконструкция персоналистских и событийно-символических оснований исторической картины мира россиян. Проведенные исследования показывают, что такая реконструкция *персоналистского профиля* – «пантеона героев» – протекала достаточно интенсивно и может быть проиллюстрирована тремя выразительными тенденциями.

Первая тенденция – это окончательно завершившаяся «историческая реабилитация» в массовом сознании фигуры И.В. Сталина: его популярность флуктуировала в пределах 35%-42%, достигнув пика в 2012 году. В совокупности с устойчиво высоким уровнем симпатий к В.И. Ленину (который не терял своей популярности даже в начале-середине 1990-х годов, на волне антикоммунистического тренда власти), это свидетельствовало об активно развивающейся, спонтанной общественно-исторической рефлексии – критической проработке не столько советского периода, сколько негативного социально-психологического и политического опыта «лихих девяностых» [355].

Вторая тенденция связана с признанием россиянами исторической важности фигуры В.В. Путина, что коррелировало с высоким уровнем его



политической поддержки. Можно говорить, что во второй половине 2000 – начале 2010-х годов российское политологическое сообщество стало свидетелем политико-психологического феномена прижизненной *позитивной мемориализации* действующего Президента в представлениях сограждан. По данным «Левада-центра», в 2008 году количество россиян, считавших его самым выдающимся человеком «всех времен и народов», достигло 32%. По этому показателю он вплотную приблизился к В.И. Ленину (34%), немного уступая при этом Петру I (37%) и И.В. Сталину (36%) [355].

То есть, как минимум треть россиян в конце «нулевых» была твердо уверена в том, что живёт в уникальный исторический период реставрации российской государственности, связанный, в первую очередь, с личностью В.В. Путина. Можно полагать, что указанный феномен объясняется сочетанием ряда факторов: ростом уровня благосостояния, резким положительным контрастом с образом власти 1990-х годов и образом Б.Н. Ельцина в частности (здесь можно напомнить, что политическое позиционирование В.В. Путина изначально происходило в логике антипода Б.Н. Ельцина: «молодой – старый», «здоровый – больной и т.д.) и, главное, с предотвращением территориально-политического распада российской государственности.

Третья тенденция – сохранение (и даже некоторое расширение) неполитического культурно-научного сегмента в формирующемся общенациональном образе прошлого. Это, например, выразилось в признании величия и уникальности такой фигуры, как А.С. Пушкин (47% в 2008 году – пик популярности исторического деятеля в постсоветской России). Одновременно устойчиво высокую степень признания имели такие фигуры, как Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов, Л.Н. Толстой и другие персонифицированные символы российского прошлого [355].

Параллельно происходила реконструкция и *событийного профиля исторического сознания россиян*, который, тем не менее, продолжал

сохранять достаточно высокую степень фрагментированности, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 21.

Таблица 21 – Топ-5 исторических событий, которыми гордятся россияне (2011-2012 гг.)

В процентах

Событие	Число респондентов
Победа в Великой Отечественной войне	82
Полет в Космос	58
Сталинградская битва	16
Освобождение от монголо-татарского ига (собираательно: «освобождение от ига», «Куликовская битва, Дмитрий Донской»)	14
Победа в Отечественной войне 1812 года («победа над Наполеоном», «Бородино», «изгнание французов в 1812 году»)	13

Источник: составлено автором.

При этом примечательно, что ответы значительной части респондентов в ходе фокусированных интервью (30-40%) свидетельствовали о слабой когнитивной составляющей этих исторических представлений, их фрагментарности и аморфности. Это выражалось в смешивании дат, персоналий, а также искажении событий: *«сталинградское сражение в 1941 году», «Куликовская битва, Александр Невский и свержение ига», «разгром французов и гибель Наполеона в Бородинской битве под Москвой».*

*Реконструкция образа будущего в 2000-е годы: адаптация и проекция дня сегодняшнего.*

Можно заметить, что в 2001-2007 гг. в политическом сознании российских граждан происходила медленная позитивизация представлений о будущем, в том числе, на основе текущего опыта. В это же время в российском обществе наблюдался и процесс пассивной социально-политической адаптации к существующим реалиям: «на протяжении всех нулевых, шел медленный рост тех, кто говорил, что может планировать свою

жизнь ну хотя бы на 5–6 лет вперед, на какой-то определенный цикл. От 6% в 2001-м эта цифра выросла до 15% в 2012-м» [384].

Вместе с тем, на рубеже 2000 – 2010-х годов в представлениях россиян о будущем наметился очередной перелом. В данном контексте показателен доклад ВЦИОМ «*Куда идёт Россия? Образ будущего в современном массовом сознании*», сделанный в 2013 г. и финализирующий динамику представлений о будущем, начиная с 1991 года: «картина будущего динамично меняется вместе с оценками настоящего: если в 90-е гг. больше половины населения верило, что «худшее еще впереди», то в нулевые оценки перевернулись. Всплеск ожиданий худшего отмечен дважды – в кризисном 2009 и предвыборном 2011. Если в 1992 г. 60% россиян смотрели в будущее «со страхом или с тревогой», то сейчас те же 60% ждут его «с надеждой» [198, с. 182].

Авторы доклада делают обоснованный (на тот момент – 2013 год) вывод о наличии зримых ностальгических и социально-патерналистских нот в аморфных представлениях российских граждан о коллективном будущем: «общего привлекательного образа будущего страны в целом у россиян пока не сложилось. Вхождение в круг цивилизованных стран Запада, развитая рыночная экономика, демократия и права человека – образ, постулируемый государством в начале 1990-х годов – давно растерял сторонников... Существенно больше сторонников у идеи, что «наше будущее – это наше советское прошлое», новое, облегченное и дополненное издание советской социальной системы. В общей сложности неосоветизм – привлекательное будущее примерно для 40% россиян» [198, с. 183].

Представляется, что и в выводах, и в социологических данных, приведенных ВЦИОМ, содержатся два ключевых момента. Первый связан с вызреванием у россиян запроса на то, чтобы Россия будущего представляла собой более «справедливое» общество, в том числе, и в плане распределения национальных богатств. Второй момент – это первичность (именно первичность, а не полное доминирование) внутренней повестки дня (забота о

гражданах и т.д.) перед неоимперскими реминисценциями и «великодержавными» установками политического сознания.

*Символическое поле российской национально-государственной идентичности в 2001-2013 гг.*

Обращаясь к проблеме конструирования символического профиля национально-государственной идентичности, можно отметить четыре ключевые, по нашему мнению, тенденции. *Первая тенденция* – это доминирование в символическом пространстве двух типов исторических символов: персоналий и событий, специфика которых была рассмотрена выше. При этом среди наиболее значимых исторических персон, особо выделяемых гражданами, на роль консенсусной фигуры, лишенной узкого политико-идеологического окраса и избыточной конфликтности, мог претендовать только А.С. Пушкин.

*Вторая тенденция* связана с преобладающим позитивным восприятием официальной символики Российской Федерации. Так, отвечая на вопрос «какое отношение Вы испытываете к гимну России?», 18,4% опрошенных выбрали вариант «нравится, знаю слова» (отметим, что у респондентов не уточняли, знают ли они текст гимна России полностью, или отдельные фразы!). 34,7% – «скорее, нравится». 20,5% респондентов отметили, что гимн Российской Федерации им «скорее, не нравится», а 6,9% – «не нравится». При этом такие ответы нередко сопровождались негативными комментариями исторического характера, полярными по своей сути: от «вернуть гимн моей родины – Советского Союза» до «совок» и «плювок в сторону народа, который страдал при коммунистах».

*Третья тенденция* характеризует в целом невысокую эффективность такого магистрального направления государственной политики идентичности, как *политика праздников* – деятельность государства по учреждению новых официальных памятных дат российской государственности.

О таком состоянии государственной символической политики в сфере праздников свидетельствуют данные, приведенные в таблице 22.

Таблица 22 – Праздники и памятные даты, которые отмечают россияне

В процентах

Праздник или памятная дата	Количество респондентов, отмечающих праздник
Новый год	91
8 марта	69
9 мая	60
1 мая	47
23 февраля	31
4 ноября	4
7 ноября	3
12 апреля	0
12 июня	0
12 декабря	0
Рождество Христово	31
Пасха	12
Затрудняюсь ответить	10

Источник: составлено автором.

Нетрудно увидеть, что пантеон фактических, а не формальных праздников дат для россиян, исчерпывался формулой «1+4+2». Непререкаемый статус праздника №1 занимал Новый год, который отмечали все опрошенные за исключением тех, кто затруднялся ответить. Топ-4 государственных праздников, имеющих какой-либо политический подтекст, составили 8 марта, 1 мая, 9 мая, 23 февраля. Также широкую популярность среди российских граждан получили религиозные праздники – Рождество Христово и Пасха (заметим, что они отсутствовали в предлагаемом перечне и были названы респондентами самостоятельно).

При этом в ходе фокусированных интервью лишь небольшая часть «празднующих» респондентов могла развернуто объяснить, что именно они отмечают 8 марта, 23 февраля, 4 и 7 ноября. Ответы подавляющего числа (около 80%) опрошенных, празднующих соответствующие исторические даты, носили характер усеченных и стереотипизированных клише: *«женщины стали свободными в этот день»*, *«русская армия одержала победу над врагом»* (комментарий к 23 февраля), *«мужчин поздравляем, потому что они наши защитники»*, *«Россия освободилась от коммунистов, Ельцин пришел»*, *«СССР рухнул»* и т.д.

Четвертая тенденция – это поэтапное формирование культурно-технологического измерения символического поля российской идентичности (*«какие культурные или научные достижения Вы могли бы назвать символами России?»*, не более трех ответов), которое, однако, носило когнитивно бедный и стереотипизированный характер. Пожалуй, единственным научно-технологическим символом, прочно утвердившимся в сознании россиян, стал «полет Гагарина в космос», то есть, космические достижения СССР (их, в той или иной интерпретации, упомянули 16,9% респондентов). Российскую литературу и иные культурные сферы (театр, кино, музыку) в совокупности упомянули 14,4% участников формализованных интервью. При этом более 10% опрошенных также отметили иные технические достижения Российской империи – СССР – Российской Федерации, причём, как имеющие место быть («Транссиб», атомная энергетика), так и мнимые («первый в истории человечества андронный коллайдер», «запуск человека на Луну» и т.п.).

*Идентификационные альтернативы в сознании россиян: «уход в себя» и притязания на мировой «центр силы».*

Можно полагать, что стабилизация политической системы в 2001-2013 гг., формирование более отчетливых смысловых контуров «новой» России привели к резкому сужению пространства для моделирования

всевозможных идентификационных альтернатив в сознании граждан. Прежде всего, это было связано с утратой массового ощущения, что сложившаяся политическая конфигурация является не более чем временным состоянием, переходом к некому принципиально новому (или «новому старому», с опорой на советское или имперское наследие) национально-государственному проекту. В отличие от периода кризиса национально-государственной идентичности Россия 2000 – начала 2010-х годов стала восприниматься именно как самостоятельная *политическая ценность*. Причем, для части населения – терминального характера, что выразилось в подсознательном желании части россиян «заморозить время»: отказе от проектирования коллективного будущего и признании «путинской эпохи» в качестве «золотого века» собственной жизни (*эталонный ответ - «так хорошо, как при Путине, мы не жили никогда»*) и одного из наиболее успешных периодов *всей* российской истории.

Однако следует отметить, что отдельные элементы повестки, связанные с национально-государственной идентичностью, присутствовали в программных документах и риторике ведущих российских политических партий. Так партия «Единая Россия» делала акцент на самоидентификацию с образом В.В. Путина, консолидацию общества вокруг сильной власти, олицетворением которой (на тот момент) выступал Президент страны, ценности благосостояния и социально-политической стабильности. В партийной предвыборной программе 2003 года отмечалось, что «партия рассматривает себя как *опору Президента России, проводника его политики направленной на то, чтобы обеспечить благосостояние российских граждан*» [377].

Политические воззрения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в период 2001-2013 гг., достаточно существенно эволюционировали от выраженной реставрационной идеологии и конфликтной риторики в сторону социально-патерналистских ценностей и установок [373]. Это, с одной стороны, позволяло несколько расширить

влияние на факультативный электорат, а с другой – провоцировало очевидные политико-технологические проблемы демаркации – «отстройки» - образа КПРФ от действующей власти (также активно обращавшейся к идеям социальной справедливости и «сильного» государства) и, как следствие, частичное размывание ценностно-смыслового ядра партийной идентичности среди сторонников партии (её ядерного электората).

Эффективный симбиоз государственно-патерналистских и традиционалистских, а также, отчасти этноцентричных идентификационных представлений связан с созданием и успешной предвыборной кампанией блока «Родина» (2003 год). Лидеры этого объединения, предлагая программу «социальной справедливости и экономического роста», одновременно с этим говорили о необходимости «восстановления и пропаганды традиционных ценностей российской культуры... пресечении пропаганды насилия и разврата в СМИ» [343].

Серьезная эволюция идентификационных представлений наблюдается и в позиционировании Либерально-демократической партии России (ЛДПР). В этот период условно «империалистические» мотивы в доктринально-идеологических документах партии, унаследованные из 1990-х годов, инерционно сочетались с этноцентричной идентификационной составляющей, которая в избирательной кампании-2003 нашла отражение в слогане «Мы за бедных! Мы за русских!». В дальнейшем фокус внимания этнонационалистической риторике со стороны партии стал еще более выраженным. В этом смысле красноречив лозунг, выдвинутый ЛДПР в ходе выборов в Государственную Думу 2011 года – «Россия и для русских тоже!», который представлял собой модифицированную версию слогана несистемной националистической оппозиции («Россия для русских!») и, очевидно, был направлен на частичный «перехват» факультативного электората, ориентированного на сегрегационные этноцентричные модели самоидентификации [358].



На наш взгляд, представляется возможным выделить *три наиболее заметные идентификационные альтернативы*, продолжающие циркулировать в российском обществе на этом этапе его развития.

Первая условно может быть обозначена как *имперский ренессанс*. В её основании лежит идея, что Россия, успешно преодолев тотальный политический кризис 1990-х годов и вернув себе полноценную геополитическую субъектность, суверенитет в его внешнеполитическом измерении, должна стремиться к доминированию, по крайней мере, на евразийском пространстве. Это, в свою очередь, неизбежно предполагало конфронтацию с США как лидером «коллективного Запада» (пожалуй, наиболее четко такую альтернативу концептуализировали представители отечественного неоевразийства).

Стержневое место в кристаллизации данного проекта национально-государственной самоидентификации занимала установка на «собрание земель», утраченных Российским государством в разные исторические эпохи. Прежде всего, речь шла о культурно близких – «русскоязычных» – территориях бывшего СССР. При этом необходимо заметить, что указанная альтернатива не являлась синонимом геополитической концепции «осажденной крепости», а, наоборот, предполагала расширение культурного влияния нашей страны в мире через «мягкую силу».

В русле этого мировосприятия также активно эксплуатировалась популярная идея кризиса западной макрочивилизации во всех её проявлениях: от фатальных сценариев – «смерти Запада», до акцента на рост противоречий между США, «старой» и «новой» Европой.

Здесь опять же, важно подчеркнуть, что идея конфликта между западными странами достаточно успешно накладывалась на сформировавшийся у россиян дифференцированный образ Запада, где США и Великобритания воспринимались как соперники, а ведущие государства континентальной Европы – как потенциальные партнеры [134]. То есть, можно говорить, что у некоторой (очевидно, не более 25%) части

российских граждан сформировалась *ренессансная неоимперская модель национально-государственной самоидентификации*, в центре которой находилась геополитическая и, в меньшей степени, культурно-историческая установка «великодержавности».

Вместе с тем, отклик массового сознания на указанную альтернативу был двойственным: активно генерируя и артикулируя имперские сюжеты (например, в ответах по поводу возможности расширения территории России в будущем), российское общество, тем не менее, учитывало явные геополитические и социально-экономические риски многочисленных неоимперских идентификационных проектов. Следствием этого стал отказ (по крайней мере, на уровне массовых настроений) от претензий на формулирование какой-либо метаполитической миссии России в глобальном мире, и тем более, неготовность «вкладываться в империю» – жертвовать собственным социально-экономическим благополучием ради её реконструкции.

*Вторая идентификационная альтернатива*, заслуживающая серьезного внимания, ярко проявилась (и, по существу, пыталась бросить вызов формирующемуся официальному канону российской идентичности) во второй половине 2000-х – начале 2010-х годов и была связана со всплеском «русского национализма» в разных его версиях – от агрессивной ксенофобской до относительно мягкой ассимилятивной («*говорит по-русски – значит, русский*»). Её активному проникновению в массовое сознание способствовали продолжившийся в 2000-е годы рост антииммигрантских настроений в сочетании с унаследованным из 1990-х годов достаточно высоким уровнем кавказофобии в российском обществе.

Естественно, указанные негативные стереотипы о «чужих» и соответствующие им интенции активно использовались различными националистическими политическими акторами. По-существу, образ «злого мигранта» из Средней Азии и «кавказца» стали двумя психоэмоциональными нишами кристаллизации *прототипа сегрегационной этноцентричной модели*

*национально-государственной идентичности*, что нашло отражение в соответствующих политических самореференциях («Движение против нелегальной иммиграции») и лозунгах («*хватит кормить Кавказ!*»).

Вместе с тем, следует полагать, что речь идёт именно о *прообразе сегрегационной модели* национально-государственной самоидентификации. Процесс её полноценного выстраивания в 2000 – начале 2010-х годов не был завершён в силу следующих обстоятельств:

- активное информационное, а с конца 2000-х годов и административное противодействие деятельности националистических групп со стороны власти;

- неспособность различных националистических течений и их лидеров к консолидации;

- смысловая ограниченность националистической повестки дня: гипертрофия миграционных проблем не могла компенсировать отсутствия у её носителей полномасштабной программы развития страны;

- выборочный «перехват» действующей властью националистической повестки, который происходил и на стратегическом ценностно-смысловом уровне (такие политические ценности, как патриотизм, сильное государство ассоциировались преимущественно с властью, а не с её оппонентами), и на уровне оперативной реализации государственной политики (например, ужесточение регулирования миграционных потоков), и в ситуативном формате. Выразительным примером последнего является реакция В.В. Путина на события 11 декабря 2010 года, произошедшие на Манежной площади и названные СМИ «восстанием «Спартак» [328].

Следует констатировать, что в рассматриваемый период в массовом сознании сохранялась и *третья*, на тот момент слабо артикулируемая, *идентификационная альтернатива*. Она была связана с присутствием в социуме, несмотря на консолидацию политической системы, разнородных сентенций по поводу возможного распада политического пространства

Российской Федерации и реверса к конфликтным и сепаратистским практикам 1990-х годов.

На наш взгляд, указанная альтернатива базировалась не только на остаточных фобиях, связанных с коллективной памятью о разрушении СССР и «лихих девяностых». Её политико-психологическая природа сложнее и обусловлена, в том числе, *генетикой персоналистской модели государственного управления как таковой* [270]. В рамках такой предельно редуцированной модели восприятия политической реальности жизнеспособность не только правящего режима, но и традиции государственности в целом детерминируется не институциональной устойчивостью и ценностной консолидацией политической системы, а сроком пребывания конкретного лица во главе государства (*«есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России»* и т.п.). Однако, поскольку такие сюжеты диссонировали с магистральной тенденцией политического развития России в тот период – укреплением и отшлифовкой «вертикали власти», они в большей своей части были вытеснены на периферию массового сознания.

И самое главное: в тот период в России не существовало мощного публично-политического актора, способного их внятно выразить. Поэтому в данном случае можно говорить не об оформившейся политико-идентификационной альтернативе (условной «альтернативе распада»), а, главным образом, о *массовом ощущении*, характерном для меньшей части российского социума с присущей ей *патерналистской доминантной самоидентификации*.

По нашему мнению, важно понимать, не одна из трех рассмотренных идентификационных альтернатив (неоимперская, сегрегационная националистическая и основанная на фобиях деструктивно-фрагментарная) не были способны разрушить сохранявшийся до начала 2010-х годов «путинский консенсус» и составить серьезную конкуренцию государственной политике идентичности при всех её слабых сторонах и внутренних противоречиях.

Завершая анализ трансформации национально-государственной идентичности в российском массовом сознании в 2001-2013 гг., можно систематизировать ряд наиболее важных особенностей, характеризующих сложившуюся в тот момент реставрационно-модернизационную её конфигурацию. Указанные особенности, а также их интегральная оценка представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Реставрационно-модернизационная модель российской национальной идентичности (2001-2013 гг.)

Основные компоненты структуры	Ключевые качественные характеристики	Интегральная оценка
1	2	3
Социально-политические контексты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- конструирование «вертикали власти»;</li> <li>- формирование «путинского консенсуса»;</li> <li>- рост уровня и качества жизни граждан</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стабильные;</li> <li>- позитивные;</li> <li>- консолидационные</li> </ul>
Генерализованный образ России	<ul style="list-style-type: none"> <li>- позитивные: богатая, сильная, уважаемая;</li> <li>- умеренно-негативные: ненадежная, тревожная, опасная</li> </ul>	-умеренно-позитивный
Образ «значимого другого»	<p>Дифференцированный образ Запада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «прохладное» восприятие США как геополитического конкурента;</li> <li>- умеренно-позитивное отношение к европейским странам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нейтральный;</li> <li>- тренд негативизации;</li> <li>- фрагментарный</li> </ul>
Образ власти	<ul style="list-style-type: none"> <li>- персоналистский фрейм восприятия власти;</li> <li>- акцент на иерархию:</li> <li>- доминирование фигуры В.В. Путина</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- позитивный;</li> <li>- консолидированный</li> </ul>
Образ прошлого	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «реабилитация» советского периода;</li> <li>- тенденция «замораживания» исторического времени;</li> <li>- частичная утрата эмоционального импульса прошлого</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- движение от фрагментации к консолидации;</li> <li>- умеренно-позитивный</li> </ul>
Образ будущего	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проекция «дня сегодняшнего» в среднесрочную перспективу;</li> <li>- сохранение высокого уровня неопределенности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- аморфный;</li> <li>- фрагментарный;</li> <li>- умеренно-позитивный</li> </ul>

Продолжение таблицы 23

1	2	3
Символический профиль	- эклектичный; - укоренение позитивного восприятия официальных символов России	- фрагментарный; - когнитивно ограниченный
Альтернативы	- неоимперская; - сегрегационная; - этнонационалистическая	- периферийное влияние на политический процесс

Источник: составлено автором.

В заключение параграфа 4.2 необходимо констатировать, что трансформация российской национально-государственной идентичности в 2001-2013 гг. характеризуется коэволюцией двух важных тенденций. Первая тенденция – это поэтапный ренессанс *конвенциональных идентификационных представлений* о России как о великой державе, обладающей исторической, социокультурной и геополитической субъектностью.

Вторая тенденция – кристаллизация пока еще контурного образа постсоветской России как жизнеспособного политического образования, в целом привлекательного объекта самоидентификации для большинства граждан.

Этому сопутствовали заметная институциональная консолидация политической системы Российской Федерации, активное формирование позитивного персоналистско-иерархического образа российской власти, поэтапное психологическое принятие российским обществом принципиально новой – постсоветской – политической реальности.

### **4.3 Российская национально-государственная идентичность в 2014 – 2021 гг.: от «крымского консенсуса» к контурам «новой нормальности»**

*Социально-политические контексты трансформации национально-государственной идентичности в 2014-2021 гг.*

В первую очередь важно отметить, что вхождение в новый – мобилизационно-инерционный – этап трансформации российской национально-государственной идентичности на рубеже 2013-2014 гг. происходило в условиях сохранения стабильной внутривнутриполитической конфигурации, высокого уровня поддержки власти со стороны граждан, опиралось на преемственность государственной политики идентичности. Тем не менее, форсированная внешнеполитическая динамика 2014-2015 гг. способствовала формированию принципиально новых контекстов структуризации массового сознания и национально-государственной идентичности в российском обществе [289, с. 52].

Прежде всего, речь идёт о событиях «крымской весны» – вхождении республики Крым в состав России и активной фазе военного конфликта на Донбассе. Однако необходимо отметить и то, что в 2017-2018 гг. в отдельных сегментах общества всё более отчетливо стал проявляться «посткрымский синдром» – диффузный политико-психологический эффект усталости: слабо структурированный в когнитивном плане, но эмоционально рельефный запрос на социально-политические изменения [291, с. 75].

Указанный запрос имел симбиотическую природу, связанную как с устойчивой тенденцией снижения уровня жизни значительного числа граждан, так и с интенсивным формированием контуров нового – многомерного и полицентричного – информационно-политического пространства России, в котором доминирование официальных СМИ сменилось острой конкуренцией коммуникативной среде Рунета [266].

Представляется, что начало пандемии COVID-19 на рубеже 2019-2020 гг. также актуализировало вопросы, связанные с коллективной самоидентификацией россиян. Прежде всего – в контексте поиска целостного и позитивного образа будущего, переоценки политико-управленческой роли и функций государства в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

*Основные установки национально-государственной самоидентификации и восприятие России как страны.*

Опираясь на результаты исследований, можно отметить, что базовая установка государственно-политической самоидентификации («гражданин», «россиянин») продолжает занимать центральное место в системе приоритетов российского общества, являясь в той или иной мере значимой для, по меньшей мере, 60-70% граждан. При этом, на наш взгляд, существенно следующее наблюдение: субъективная ее ценность, начиная с 2000-х годов, сохраняет резистентность и к внешним факторам (например, изменениям политической ситуации в стране), и к трансформациям ключевых идентификационных образов, наполняющих национально-государственную идентичность как интегративное представление-конструкт. В таблице 24 представлены данные соответствующе социологические исследования ВЦИОМ.

Таблица 24 – Как бы Вы ответили сами себе на вопрос «Кто я такой?» (закрытый вопрос, не более 3-х ответов)

В процентах

Самореференция	2005 г.	2010 г.	2014 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Гражданин России	60	58	3	9
Просто сказал бы «человек»	29	30	1	1



Продолжение таблицы 24

В процентах

1	2	3	4	5
Назвал бы свою семейную роль	14	15	2	9
Житель своего региона, города, села	16	18	4	6
Назвал бы свою национальность	19	19	20	5
Советский человек	7	17	4	4
Назвал бы свою профессию, род занятий	6	7	6	7
Гражданин мира	4	6	3	6
Назвал бы свои религиозные убеждения	4	5	5	5

Источник: составлено автором по результатам исследований ВЦИОМ [321].

Таким образом, приведенные результаты убедительно подтверждают, что именно статус гражданина России продолжает сохранять приоритетное место в системе основополагающих идентификационных установок российских граждан и в 2000-е, и в 2010-е годы.

Вместе с тем, использование несколько иной методики, предполагающий открытый вопрос «для Вас важно, что вы являетесь... кем именно? (не более пяти вариантов ответов)», при которой респондентам не напоминают об их гражданском, этническом и прочих статусах, дает несколько иную картину. О собственной национально-государственной самоидентификации в 2017 году говорили 55% опрошенных, что существенно выше, чем в 2011-2012 гг. (46%). Но только 8% при этом используют слово «гражданин»; остальные – предпочитают обобщенные понятия: «россиянин», «житель России», «житель нашей страны» и т.д. Поэтому можно полагать, что устойчиво высокий показатель гражданского самосознания участников таких исследований – часто не более чем демонстрация социально одобряемого поведения со стороны респондентов. Кроме того, разночтение в формулировках, которыми респонденты описывают свою принадлежность к России – «гражданин», «россиянин», «житель», «население», «русский человек» (в значении носителя русской

культуры, «русского по духу») – еще раз подтверждают продолжающуюся коэволюцию в массовом сознании различных прототипов национально-государственной самоидентификации: гражданско-политического, социокультурного («расширенного русского»), государственно-ориентированного патерналистского.

Существенную научную ценность представляет анализ базовых оппозиций – характеристик генерализованного образа России. Использование аналогичной методики символического дифференциала ранее позволяет сравнить результаты соответствующих исследований 2011-2012 и 2017 годов, которые представлены на рисунке 12.

Качественные оппозиции	Среднее значение 2011-2012 гг.	Среднее значение 2017 г.
Слабая - сильная	5,9	5,2
Неблагополучная - благополучная	4,1	4,4
Закрытая - открытая	4,6	3,5
Отсталая - развитая	4,4	4,2
Тревожная - спокойная	3,3	2,7
Распадающаяся - единая	5,4	5,7
Зависимая - независимая	5,3	5,6
Разобщенная - сплоченная	3,8	3,3
Опасная - безопасная	3,7	3,2
Бедная - богатая	6,0	5,1
Несправедливая - справедливая	4,2	4,0
Неуважаемая - уважаемая	5,5	4,9
Враждебная - дружественная	3,9	3,7
Невлиятельная - влиятельная	5,2	5,8
Отталкивающая - привлекательная	5,1	4,5
Надежная - ненадежная	3,2	4,1
Бесперспективная - перспективная	4,9	4,2

Источник: составлено автором.

Рисунок 12 – Ответы респондентов на вопрос: «Какие качества в наибольшей степени свойственны России?» в 2011-2012 и 2017 гг.

Таким образом, на первый план вышли оценки России как, безусловно, влиятельной страны (5,8). Также лидирующие позиции, по мнению опрошенных, сохраняют такие отчетливо положительные характеристики нашей страны, как единая (5,7 в 2017 г. и 5,4 – в 2012 г.) и независимая (5,6 в 2017 г. и 5,3 – в 2012 г.). С этим трендом в определенной мере диссонирует выявленное снижение оценок по шкале «сильная – слабая»: 5,2 в 2017 году по сравнению с 5,9 в 2012 году. В сопоставлении с 2011-2012 гг. сохранили позиции в *умеренно-позитивном диапазоне* оценки по критериям «неблагополучная – благополучная» (4,4) и «отсталая – развитая» (4,2).

Помимо этого выделяется заметное снижение оценок по шкале «закрытая – открытая» (3,5 и 4,6 – в 2017 г. и в 2011-2012 гг. соответственно), «тревожная – спокойная» (2,7 – 3,3), «опасная – безопасная» (3,2 – 3,7), «неуважаемая – уважаемая» (4,9– 5,5), «отталкивающая – привлекательная» (4,5 – 5,1) и «неперспективная – перспективная» (4,2 – 4,9). То есть, можно заметить, что в 2017 г. российском обществе стала вырисовываться понижительная тенденция восприятия России с точки зрения её безопасности, привлекательности и перспективности.

В то же время особое внимание на себя обращает выраженный рост уровня тревоги в сознании граждан, более сдержанная оценка перспектив нашей страны. Очевидно, эти трансформации в первую очередь связаны с фокусированием на внешнеполитической повестке дня: обострением конфронтации со странами Запада, вовлеченностью Российской Федерации в военные конфликты на Донбассе и в Сирии, радикализацией риторики официальных СМИ. Но можно полагать, что весомый вклад в такое ощущение *формирующегося социального дистресса* вносит информационно-психологическая специфика Рунета как естественной «среды обитания» значительной части российских граждан. Прежде всего, здесь необходимо говорить о таких свойствах «симулятивной реальности», как выраженная турбулентность (что создает чувство нестабильности «Я-»

и «Мы-» идентификаций), эмоциональная избыточность и высокий уровень социальной агрессии в различных её проявлениях [254].

*Образ российской власти в 2010-х годах: иерархия и отчуждение.*

В рассматриваемый период происходит заметная трансформация образов власти в политическом сознании россиян, обусловленная рядом факторов. Во-первых, в 2012-2013 гг. правящим элитам удалось преодолеть турбулентность политической системы, обозначившуюся в ходе «болотных протестов». Во-вторых, события 2014 года – вхождение Крыма в состав России и противостояние на Донбассе – привели к тому, что «все большую роль в восприятии власти и лидеров начинают играть внешние факторы», обеспечившие консолидацию общества вокруг фигуры В.В. Путина [290, с.13]. В-третьих, ряд непопулярных решений, принятых в 2018-2020 гг., среди которых особенно выделялась пенсионная реформа, способствовали смене массовых настроений и частичному разочарованию общества в действующей власти, снижению доверия к ключевым политическим институтам и лидерам.

Исследование «*Национально-государственная идентичность в России*», позволило выделить пять важных и, отчасти, взаимно оппозиционных тенденций трансформации образа российской власти в его взаимосвязи с национально-государственной идентичностью.

Первая тенденция связана со *снижением значимости персоналистского компонента* в данном образе: 41,3% респондентов отметили, что власть в России у них ассоциируется с личностью В.В. Путина. 17,8% указали маркеры «президент», «Президент России». При этом, однако, можно предполагать, что существенное число опрошенных, отметивших политических институт президента, всё же вкладывали в него конкретно-персоналистское содержание, имея в виду В.В. Путина.

Вторая тенденция состоит в следующем: в поле российской идентичности, относящимся к её государственной сфере, более рельефно,

чем ранее, вырисовывается институциональная составляющая. Так, среди институтов, с которыми у россиян ассоциируется власть, фигурировали Правительство (15,6%), политические партии (10,2%, из них «Единая Россия» – 6,3%), Государственная Дума (6,7%), полиция – 3,8%, суды – 2,9%. Вместе с тем, сопоставление с другими группами ответов показывает, что институциональные сюжеты занимают в образе российской власти, несомненно, вторичное положение.

Третья тенденция, в целом унаследованная из 2000-х годов и усилившаяся к концу 2010-х годов – связана с формированием широкого спектра ассоциаций, которые можно трактовать как *негативно-безличные*. В центре таких ассоциаций – образ коррумпированного и непрофессионального чиновника. В данном случае мы можем говорить о многообразии артикуляций: от обобщенно-констатирующих («чиновники», «бюрократы» и т.д.), до эмоционально выразительных оценок и эвфемизмов: *«полчища некомпетентных управленцев», «эффективные менеджеры, которые ничего не знают», «коррумпированные и слабые чиновники всех уровней», «депутаты, олигархи и им подобные люди», «руководители без опыта и понимания ситуации».*

Учитывая значительное количество ответов, лежащих в плоскости подобного – эмоционального негативно-генерализованного – восприятия правящего слоя (32,3 %), справедливо говорить о том, что данная тенденция трансформации образа российской власти сегодня становится одной из ведущих и составляет конкуренцию персоналистским установкам политического сознания граждан.

Можно полагать, что данный тренд массового восприятия власти крайне негативно воздействует на вектор трансформации общероссийской национально-государственной идентичности. С одной стороны, он продуцирует рост недоверия к проводимой государственной политике, тем самым *размывая контуры государственно-ориентированной*

патерналистской модели самоидентификации (власть не «заботится» и людях, а *«иногда вспоминает о них», «даёт поправки»* и т.д.).

С другой стороны – способствует воспроизводству и без того сильного отчуждения между властью во всех её ипостасях и «народом», тем самым генерируя протестные настроения, *но не приводя к выстраиванию* иной – *национально-гражданской* – модели общероссийской идентичности. Такое отчуждение и ранее эпизодически прослеживалось в отдельных комментариях респондентов, насыщенных чувством исторической обреченности: *«так сложилось», «никогда не думали о том, как и в каких условиях люди живут».*

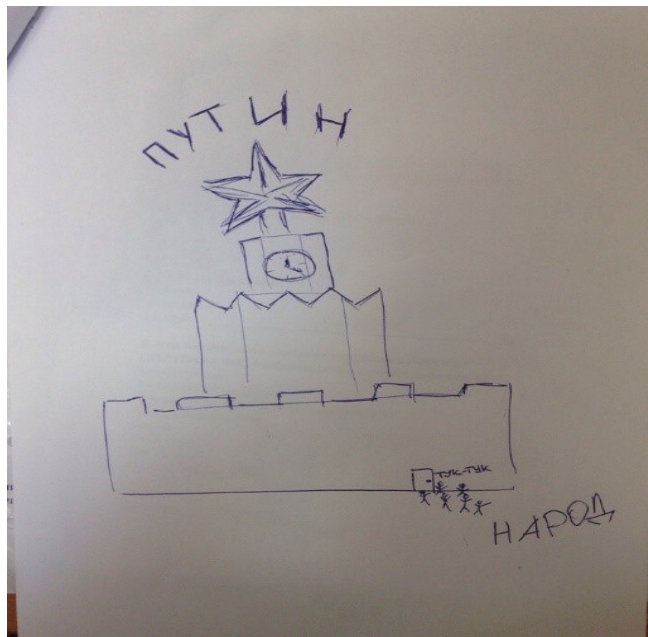
*Четвертая*, относительно новая тенденция эволюции образа российской власти – это появление в ней зримого *силового элемента*. Помимо упоминаний таких институтов, как полиция и суды, 7,6% респондентов отметили и другие административные структуры: *«налоговики», «контролирующие органы», «спецслужбы», «силовики, прокуроры»*, следственный комитет и т.д. Указанные оценки, в большинстве своём, имели преимущественно негативный оттенок и сочетались с представлением о коррупции *«в коридорах власти».*

*Пятая тенденция*, которая на наш взгляд, также заслуживает внимания – это усиление по сравнению с периодом 2011 – 2012 гг. расплывчатых по смысловому наполнению, но весьма выразительных в плане негативных эмоций *конспирологических сюжетов*. В том числе – с отчетливым фокусированием на зависимости отечественного правящего слоя от внешних сил и факторов. Наличие таких интенций было зафиксировано у 8,1% респондентов. Согласно их мнению, власть в современной России олицетворяют: *«мировые финансовые рынки», которые «диктуют, что делать», «глобальные элиты», «западные олигархи, которые контролируют наши офшоры».*

Естественно, подобные представления подпитывают негативные фреймы восприятия российской власти, отрицательно влияя на

государственный компонент в структуре национально-государственной идентичности. Государство в этой схеме – не просто аморфный и деструктивный элемент, оппонирующий гражданам и «народу» («*хочет всех обобрать*»), но и a priori не самостоятельный субъект, лишенный какого-либо, даже потенциального, созидательного начала.

Существенный вклад в детализацию представлений россиян о действующей власти вносит широкий комплекс *проективных политико-психологических методик*. Использование проективных методов позволяет диагностировать целый ряд политико-психологических особенностей, которые генерируются и проявляются на неосознаваемом уровне восприятия. По нашему мнению, интерес представляют результаты проекта «Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России», который с 1993 года осуществляется под руководством Е.Б. Шестопаля [290]. Позволим себе привести характерные рисунки 13 и 14, которые иллюстрируют основные тенденции структуризации образа российской власти вне рациональных её оценок, на неосознаваемом уровне.



Источник: материалы проекта «Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России» [82; 290].  
Рисунок 13 – Образ власти в сознании россиян: персонализация и ориентация на иерархию



Источник: [289, с. 60].

Рисунок 14 – Власть в политическом сознании россиян:  
отчуждение и препятствие

По нашему мнению, анализ неосознаваемого уровня структуризации образов власти в идентификационной «матрице» россиян позволяет особо выделить три тенденции. Первая тенденция – это четкая *ориентация на иерархию: вертикальные и пирамидальные проекции, которые* занимают одно из главных мест в образе российской власти. Такая иерархическая установка может интерпретироваться как констатация устойчивости патерналистских и, отчасти, персоналистских паттернов восприятия. То есть, речь идёт о глубоко укоренившейся модели самоидентификации *именно с государством*, концентрированным отображением которого является фигура правителя. В результате формируется особый – *государство-центричный патерналистский тип – макрополитической самоидентификации*, основанный на вертикально структурированном восприятии социального пространства (и разумеется – сферы политических отношений). Немаловажно, что указанная *модель-прототип национально-государственной идентичности*, как правило, дополняется рельефными сюжетами неоимперской геополитической картины мира, в котором Россия неизбежно *должна*, если не доминировать, то играть одну из главных ролей.



*Вторая тенденция* связана с заметным элементом *отчуждения*: на рисунках респондентов власть отчетливо дистанцирована от «народа», отделена от него препятствиями, и отчасти прибывает в «вакуумном состоянии». Такие композиции в полной мере коррелирует с комментариями, полученными ранее (2012-2013 гг.) в ходе фокусированных интервью: «*живут своей жизнью, на нужды людей им наплевать*», «*заняты своими делами, а до нас им нет никакого дела*», «*мне кажется, они там не в курсе, что реально в стране происходит*».

*Третья, менее отчетливая тенденция* проявляется в том, что часть общества – пока еще не вполне осознанно – квалифицирует власть как *препятствие на пути развития России* (характерен рисунок, где «народ – Солнце» пытается выйти из-за «тучи – власти», которая ему мешает). Такая установка полностью соотносится с высказываемым рядом респондентов мнением, о том, что власть в современной России не только чрезмерно дистанцирована, по существу закрыта от общества, но и осознанно противопоставляет себя ему.

Следовательно, можно сделать вывод, что на неосознаваемом уровне восприятия, в отличие от сдержанных рациональных оценок, кристаллизуется не просто фрагментированный, а *расщепленный образ власти*, в котором императивы иерархии и силы переплетаются с мотивами сегрегации и потенциально – противопоставления власти основной массе населения, «народу», «простым гражданам».

Безусловно, выявленные черты неосознаваемой проекции восприятия власти не могут быть экстраполированы на социальный массив в целом. Однако, в совокупности с негативными оценками, диагностированными посредством формализованных интервью, снижением доверия к политическим лидерам, они позволяют говорить о существенной трансформации образа российской власти. При сохранении в его композиции доминантной установки на иерархию и персоналистского фрейма,

он подвержен нарастающей фрагментации – в структурном своём измерении и негативизации – в психоэмоциональном.

*Инерционно-мобилизационный образ «чужого»: доминирование «дикого Запада».*

Определенные изменения по сравнению с предшествующим периодом происходят в структуре и валентности образа «значимого другого». Прежде всего, они связаны с неуклонной негативизацией массовых представлений о «коллективном Западе», которая началась еще во второй половине 1990-х годов и продолжилась в 2000-е годы. Взрывной рост отрицательного отношения к западным государствам произошел на пике конфликта на Донбассе в феврале – сентябре 2014 года. Так, по данным опроса «Левада - центра» в сентябре 2014 года 39% респондентов охарактеризовали российско-американские отношения как враждебные, 43% – как напряженные [336].

Для сравнения: в январе 2014 года (накануне событий февраля – марта 2014 года) эти цифры составляли 4% и 13% соответственно. Аналогичные тенденции прослеживались и в восприятии стран Европейского Союза. Если в январе 2014 года 36% россиян оценивали их как «нормальные, спокойные», то в сентябре 2014 года эта цифра снизилась до 3%. При этом число тех, кто считал отношения между Россией и «объединенной Европой» напряженными выросла с 9% до 50%, а враждебными – с 1% до 16% [336].

Следует отметить, что тренд на негативизацию образа Запада, хотя и смягчился после пика во второй половине 2014 года, тем не менее, оказался весьма устойчивым. В октябре 2015 года 71% россиян считали, что США играет отрицательную роль в мире. При этом в сентябре 2013 года указанный показатель был равен только 50% [336]. То есть можно говорить о том, что 2014-2015 гг. стали переломными в восприятии россиянами Запада: произошел форсированный транзит от образа «чужого» (с которым

отношения, скорее, «прохладные», но не откровенно враждебные) к полноценному образу «врага».

Важным моментом является то, что тенденция негативизации «коллективного Запада» как «значимого другого» является ведущей, но не однозначно доминирующей в российском политическом сознании. По существу, в представлениях россиян продолжает имплицитно циркулировать унаследованный из 2000-х годов *двухконтурный дифференцированный образ* западного мира, в котором неприятие Запада как относительно монолитного геополитического субъекта сочетается с, в целом, положительным отношением к отдельным европейским странам, не распространяется на сферы экономики и культуры.

Тем не менее, интерес представляют *мотивационные основания* конституирования негативного образа Запада в современной России («почему россияне плохо относятся к Западу?»). Представляется, что они достаточно широки и не могут быть сведены к неким универсальным формулам (например, бинарной схеме «чувство превосходства плюс комплекс неполноценности»). Первое, о чем необходимо говорить в данном случае – это предельно архетипизированное (часто не зависящее от принадлежности человека к тому или иному политическому поколению) установка восприятие Запада как комплексной – военной и социокультурной – угрозы. Причем, заметим, что, как и большинство подобных установок массового сознания, она базируется на иррациональном импульсе в сочетании с механизмом негативной когнитивной селекции (позитивная информация – отвергается, негативная – извлекается и гиперболизируется). В результате Запад в этом случае выступает объектом негативной атрибуции – «историческим врагом» России.

Вместе с тем, очевидно, что в 2014 году произошла импульсивная активация «Запада-угрозы» в представлениях россиян, ранее не испытывавших каких-либо явных фобий по отношению к нему. На наш взгляд, это достаточно четко коррелирует с рассмотренными ниже

территориальными представлениями граждан – содержанием образа «нашего» пространства. Если до событий на Украине (февраль 2014 года) «коллективный Запад» воспринимался как враг преимущественно теми, кто относится к кластеру условных «империалистов», то вмешательство США и ряда европейских государств в украинский внутривнутриполитический кризис радикально изменило ситуацию.

Это изменение было детерминировано очевидным обстоятельством: к 2014 году Украина в политической картине мира большинства россиян так и не обрела статуса «настоящей заграницы», психологически воспринималась как частично «наша» территория – если и не «временно утраченная» часть единого политического пространства, то сфера приоритетного геополитического и культурного влияния России. В этом смысле содействие США и ЕС «евромайдану» были интерпретированы «интеграционистами» и, отчасти, «прагматиками» (поскольку события стали развиваться непосредственно вблизи границ России), ранее воспринимавшими Запад «прохладно» или нейтрально, уже не как потенциальная угроза, а как прямой военно-политический вызов нашей стране, её экзистенциальным интересам.

*Образ «нашего» пространства: имперский ренессанс и его рационализация.*

Результаты исследований показывают, что образ «нашего» пространства в сознании российских граждан по сравнению с предшествующим периодом также претерпел существенную трансформацию. Драйвером этих изменений стали события 2014 года, вызвавшие кратковременный всплеск неоимперских ожиданий и «великодержавных» реминисценций в российском обществе. Однако необходимо заметить, что к 2017 году (на момент проведения исследования «Национально-государственная идентичность в России») данный импульс был в значительной мере утрачен. Об этом, в частности, свидетельствуют

ответы респондентов на вопрос «*существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы войти в состав России?*», представленные в таблице 25 и приведенные в сравнении с результатами аналогичного исследования 2011-2012 гг.

Таблица 25 – Существуют ли территории, регионы, которые в будущем могли бы войти в состав России?

Территории	В процентах	
	2017 г.	2011-2012 гг.
«Донбасс», Донецкая и Луганская народные республики	64,1	-
Украина, отдельные её территории помимо Донбасса	45,1	57,4
Беларусь	32,6	38,7
Казахстан, отдельные его территории	8,6	21,1
Другие республики бывшего СССР	11,7	22,6
Территории, входившие в состав Российской империи: Финляндия, Польша, Аляска и т.д.	3,8	3,5

Источник: составлено автором.

Более того, сопоставление результатов 2017 года и 2011-2012 гг. свидетельствует, что «империалистический» и «интеграционистский» кластеры российского общества сокращаются. Вполне объяснимым исключением в этом случае выступает Украина. Особое место в сознании россиян занимают Донецкая и Луганская народные республики, которые мыслятся большей частью респондентов *de facto* как часть России. В то же время, доля респондентов, рассматривающих возможность вхождения в состав России Беларуси и, особенно, Казахстана (или некоторых его областей) снизилось.

Представляется, что всё это объясняется не только «заморозкой» конфликта на Донбассе, но и критической рационализацией геополитической ситуации, в которой оказалась Россия во второй половине 2010-х годов. На первый план стали выходить возможные внутренние издержки

и долгосрочные негативные последствия территориального расширения, что неизбежно бы предполагало дальнейшее обострение отношений с Западом, резкое усиление давления на российскую экономику. Это, в свою очередь, способствовало бы снижению качества жизни населения, то есть, переводу во многом абстрактных для среднестатистического гражданина геополитических рисков, которые таит в себе «вражда» с Западом, на новый, абсолютно конкретизированный уровень индивидуального потребления и благосостояния.

Вместе с тем, достаточно предсказуемые результаты были зафиксированы нами в ходе исследования мнений россиян при ответах на вопрос: «какими пределами лично для Вас ограничивается Россия?», что отражено в таблице 26 (ответы даны в сравнении с 2011-2012 гг.).

Таблица 26 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «какими пределами лично для Вас ограничивается Россия?»

В процентах

Ответы респондентов	2017 г.	2011-2012 гг.
Нынешней территорией России	52,7	41,8
Пространством бывшего СССР	14,9	19,3
Регионами, где проживают преимущественно русские	10,5	9,4
Территорией Российской империи	4,4	6,7
Регионом, где я живу	5,7	5,0
Местом, где я живу	6,3	6,1
Территорией Москвы	0,4	0,4
Территорией Кремля	0,0	0,4
Затрудняюсь ответить	5,1	3,4

Источник: составлено автором.

Как видно из представленной таблицы 26, три из четырёх выделенных нами ранее кластеров – «империалисты», «интеграционисты» и «редукционисты» – в целом остались в прежних границах. Исключением

является рост числа «прагматиков»: с 41,8 % в 2011-2012 годах до 52,7 % – 2017 году. Это еще раз свидетельствует, что при всей своей инерционной фрагментарности пространственный образ России всё более подвержен прагматизации и тяготеет к существующим ныне территориально-политическим реалиям.

*Образы прошлого: актуализация, мобилизация, инерция.*

Можно констатировать, что, начиная с 2014 года, происходила *актуализация* образов прошлого в структуре национально-государственной идентичности на фоне всплеска патриотических настроений россиян. Помимо этого, события 2014-2015 гг. ознаменовали дальнейшую интенсификацию «войн памяти» на постсоветском пространстве [151; 294]. Аккумулируя многообразие исследований по рассматриваемой проблеме, можно отметить, что трансформация массовых представлений о прошлом в сознании российских граждан в 2014 - 2021 гг., носила сложный нелинейный и часто разнонаправленный характер. Если говорить о событийно-символическом профиле российского прошлого, то все исследования свидетельствуют: безусловно, центральное место в пространстве исторической памяти занимает победа в Великой Отечественной войне [151; 329; 342]. Так, 69 % россиян указали, что это важнейшее событие в российской истории; 27% – что это «важное событие в отечественной истории, наряду с другими». При этом 95 % респондентов также назвали это событие главным в истории России XX века [329].

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что в ответах на данный вопрос присутствуют серьезные поколенческие различия. Так, Великую Победу считают важнейшим событием всей российской истории только 44% представителей поколения Z – молодежи в возрасте 18-24 лет. Однако еще 49 % молодых «зумеров» уверены в важности этого события, наряду с другими. В старшей возрастной группе (60 лет и старше), исключительное место победы в Великой Отечественной войне в ряде других

событий отметили значительно большее количество респондентов, а именно, 81% опрошенных [329].

Во многом схожие тенденции структуризации событийного профиля образа прошлого были зафиксированы и в рамках исследования «Национально-государственная идентичность в России» (январь – май 2017 года). Отвечая на вопрос, «какими событиями в истории нашей страны вы гордитесь?» (открытый вопрос, не более трех вариантов ответа), респонденты высказали следующие мнения, которые приведены в таблице 27 в сравнении с ответами, полученными в 2011-2012 гг.

Таблица 27 – Топ-5 исторических событий, которыми гордятся россияне в 2017 году (в сравнении с 2011-2012 гг.)

В процентах

Событие	2017 год	2011-2012 гг.
Победа в Великой Отечественной войне	86	82
Полет в Космос	52	58
Победа в Отечественной войне 1812 года	20	13
Вхождение Крыма в состав России («присоединение Крыма»)	19	-
Окончание Смуты 1612 года - в различных интерпретациях: «Минин и Пожарский» и т.п.	5	2

Источник: составлено автором.

При этом проведенные исследования также показывают, что за звание «золотого века» в сознании современного российского общества конкурируют «хрущевско-брежневская», «путинская» и «сталинская» эпохи. На существенной дистанции от них находятся «екатерининский» и «петровский» периоды отечественной истории.

Указанные тенденции восприятия исторических эпох россиянами отражены в таблице 28.



Таблица 28 – Какой исторический период был наиболее успешным временем в истории России?

В процентах

Период	Количество респондентов
«Хрущевско-брежневская эпоха» - в различных интерпретациях: «семидесятые», «СССР после Сталина до Горбачева» и т.д.	41
«Путинская эпоха»	33
«Сталинская эпоха»	27
«Екатерининская эпоха»	9
«Петровская эпоха»	6

Источник: составлено автором

Интерпретируя приведенные выше цифры, нужно обратить внимание на два момента.

*Во-первых*, на продолжившийся рост позитивных оценок времени правления И.В. Сталина (20% – в 2011-2012 гг., 27% – в 2017 г.), что коррелирует с всплеском популярности его как исторического деятеля. Таким образом, можно согласиться с мнением ряда политологов, что 2000-е и, в особенности, 2010-е годы стали периодом кристаллизации и утверждения «сталинского мифа» как центрального (не всепоглощающего и нивелирующего значимость других фрагментов российского прошлого, но лидирующего) политико-исторического конструкта в сознании российского общества. При этом на основе материалов глубинных интервью, которые проводились ранее, удалось диагностировать, что *мотивационные параметры* этого мифа имеют триединую природу – «сталинская эпоха» симбиотически вобрала в себя терминальные ценности:

– национального величия в его апофеозе (победа в Великой Отечественной войне, национальная модернизация и успешное геополитическое оппонирование Западу): «*войну самую страшную в истории*

*выиграли», «экономику отстроили, до сих пор на этом капитале и живём», «США и все другие страны нас боялись и уважали»;*

– меритократии и нестяжательства: *«все равны были и получали по заслугам», «он был самым могущественным человеком на Земле, а у него никаких богатств после смерти не нашли»;*

– противопоставления нынешнему политическому строю и действующей власти: *«думал о народе, его благополучии, а не о себе, как сейчас».*

*Во-вторых,* произошла утрата неоспоримого лидерства «путинской эпохи» в перечне наиболее успешных периодов российской истории (в 2011-2012 гг. такое мнение озвучили 49% респондентов, в 2017 году – 33%). Более того, некоторое число опрошенных (3%) более четко дифференцировали временные рамки – «успешные годы» – в правлении В.В. Путина, например, *«с 2000 по 2014», «нулевые», «первый срок Путина»* (подразумевалось – до 2008 года).

Учитывая, что это сопровождается более сдержанными оценками места действующего Президента в мировой истории (чем те, которые имели место еще несколько лет назад), но сохраняющимся высоким рейтингом доверия к В.В. Путину, можно говорить о важной *тенденции рационализации исторических представлений россиян* через их сепарацию от существующих социально-политических контекстов и практик. По существу, общероссийский образ «недавнего прошлого» частично утратил гипертрофированный эмоциональный заряд и выраженную иррационально-дихотомическую направленность.

В данном ракурсе отдельный интерес представляют мнения россиян о наиболее *худшем периоде российской истории – эталонной «смуте»*. Проведенное исследование позволяет утверждать, что эту нишу прочно заняли распад СССР и 1990-е годы. Иллюстрацией этого служат ответы респондентов на вопрос, *«какие события в истории нашей страны*

вызывают у Вас чувство разочарования, стыда?», которые приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Топ-5 событий в истории России, вызывающих у респондентов чувство разочарования, стыда?

В процентах

Событие	Количество упомянувших
Распад СССР	55
1990-е годы, правление Б.Н. Ельцина	47
Революция и гражданская война	24
«Сталинская эпоха»: репрессии, ГУЛАГ	22
Монголо-татарское иго	4

Источник: составлено автором.

Помимо упомянутых тенденций, существенные изменения происходят в восприятии россиянами *персоналистского пласта* представлений о прошлом.

Если в 1990-х годах, на пике кризиса национально-государственной идентичности, наблюдалась, в известной мере, апология Петра I как наиболее выдающегося исторического деятеля России (и эталонного правителя), в 2000-е годы происходил стремительный рост популярности таких знаковых, по мнению граждан, фигур, как В.И. Ленин, И.В. Сталин и, в особенности, В.В. Путин, то на современном этапе сохраняется тенденция признания исключительной роли И.В. Сталина в мировой и российской истории.

Более того, российские граждане считают его не только самым великим правителем России, но и самым выдающимся человеком «всех

времен и народов». При этом крайне симптоматично, что, как показано в таблице 30, одновременно наблюдается и пересмотр места действующего Президента России в пантеоне выдающихся личностей прошлого.

Таблица 30 – Кого россияне считают самым выдающимся человеком в истории?

В процентах

Личность	1994	1999	2003	2008	2012	2017	2021
И. Сталин	20	35	40	36	42	38	39
В. Ленин	34	42	43	34	37	32	30
А. Пушкин	23	42	39	47	29	34	23
Петр I	41	45	43	37	37	29	19
В. Путин	-	-	21	32	22	34	15
Ю. Гагарин	8	26	33	25	20	20	3
Г. Жуков	14	20	22	23	15	12	2

Источник: составлено автором по материалам [355].

Представляется, что, анализируя *персонально-символический* профиль российского прошлого, необходимо обратить внимание и на такой тренд, как поэтапное его сужение за счет концентрации внимания российского общества на исключительной исторической роли И.В. Сталина и, отчасти, В.И. Ленина. Параллельно на второй план уходят персонажи, не являющиеся, представителями нашей страны (характерный пример – падение популярности Наполеона с 19% в 1994 году до 5% в 2021 году), а также некоторые военные и научные деятели, традиционно символизирующие достижения Российского государства (М.И. Кутузов, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и др.) [355].

Вместе с тем, можно заметить, что сегодня происходит снижение если не остроты публичных дискуссий о прошлом России, то степени вовлеченности общества в них. По нашему мнению, эта ситуация может быть квалифицирована двойственно: и как частичная утрата интереса

к определенным фрагментам и персоналиям российской истории, и как продолжающийся отход граждан от крайних, «черно-белых» оценок прошлого. Следует признать, что «подобная тенденция свидетельствует об известной внутривнутриполитической деидеологизации российского общества. История уже не воспринимается как поле битвы «Добра» и «Зла», «белых» и «красных», «коммунистов» и «демократов», «западников» и «патриотов» [176, с. 135].

В целом можно отметить, что базовые *представления россиян о прошлом* претерпели некоторое видоизменение по сравнению с предшествующим, реставрационно-модернизационным, этапом формирования национально-государственной идентичности (2001-2013 гг.), и существенно трансформировались – в сопоставлении с «ельцинской эпохой».

Важен также и тот момент, что современный этап, начавшийся в 2014 году, характеризовался постепенным и не завершенным упорядочиванием системы представлений граждан о прошлом: произошло, пусть и не значительное, но расширение когнитивного поля коллективной исторической памяти, укоренение победы в Великой Отечественной войне в качестве мемориальной «точки сборки» национально-государственной самоидентификации российского общества [329; 342].

Таким образом, можно полагать, что к концу 2010-х годов *кризис базовых исторических оснований российской национально-государственной идентичности* был в целом преодолён.

Здесь нужно оговориться, что речь не идёт о выстраивании непрерывной темпоральной последовательности и символической выразительности исторической памяти россиян. Отчасти, образ прошлого в отечественном массовом сознании по-прежнему характеризуется когнитивной дефицитарностью.

Однако он, наряду с чертами конвенциональности, обрел *фрагментарно-фокусированную конфигурацию*: «выпадение» отдельных

важных исторических эпизодов, личностей и даже эпох компенсируется концентацией на других знаковых событиях и персоналиях прошлого, воспринимаемых преимущественно в позитивном ракурсе.

*Образ будущего как лакуна российской идентичности: социальная апатия и неопределенность.*

Говоря о формировании образа будущего в политическом сознании россиян на мобилизационно-инерционном этапе (2014-2021 гг.), необходимо, прежде всего, признать, что механизм массовой спонтанной экстраполяции настоящего в перспективу стал утрачивать свое центральное место. Более того, к концу 2010-х годов для российского общества, его ожиданий, стали вновь характерны беспокойство и неопределенность.

В данном ключе весьма иллюстративны результаты face-to-face опроса «Россия через 20 лет и личные планы на будущее», проведенного ФОМ в 2019 году. Отвечая на вопрос «Как вы думаете, через 20 лет жить в России будет более спокойно и безопасно, чем сейчас, менее спокойно или примерно так же?», только 18% опрошенных сказали, что «более спокойно». 20% респондентов считают, что «менее спокойно»; 32% – «так же», и 29% – затруднились с ответом. То есть, 61% (32+29) участников опроса либо ограничиваются механической – без расстановки эмоциональных акцентов – экстраполяцией «сегодня» в долгосрочное «завтра», либо не имеют каких-либо внятных представлений о России будущего [385]. При этом также показательно, что «Россия через 20 лет» воспринимается респондентами, скорее, как общество недоверия: только 12% опрошенных (вопрос: как вы думаете, через 20 лет доверия между людьми в нашей стране будет больше или меньше, чем сейчас? Или в этом отношении ничего не изменится?) ответили, что уровень доверия возрастет, 35% высказывают мнение, что доверия «будет меньше» [385].

Весьма симптоматичным является и серьезное расхождение между предполагаемым и условно «идеальным» (желаемым) коллективным

будущим. Если в оценках первого преобладают инерция и неопределенность в сочетании с пессимизмом, то в восприятии второго - акцентированный запрос на социальную справедливость и эффективную борьбу с коррупцией. Опираясь на это, М. К. Горшков формулирует следующее описание современной «русской мечты», обращенной в будущее: «социальная справедливость. Ценности, традиции, уверенность в своем будущем. И вместе с этим — страна, в которой существует сильная власть» [392].

*Символический профиль русской идентичности: воспроизводство стереотипов и новые элементы.*

Рассматривая содержание символического пространства русской идентичности, полагаем, что (опираясь на результаты исследования «Национально-государственная идентичность в России») можно выделить шесть ключевых векторов его структуризации, которые нашли отражение в таблице 31.

Таблица 31 – Структуризация символического профиля русской национально-государственной идентичности

Символический вектор	Основные маркеры	Ключевой политико-психологический механизм воспроизводства
<i>Официальный</i>	гимн, флаг, двуглавый орёл, Кремль	атрибуция через официальный дискурс в сочетании с эффектом «спирали молчания»
<i>«Народный» (стереотипизированный)</i>	«матрешка», «медведь», «балалайка»	стереотипия
<i>Территориально-ресурсный</i>	«нефть», «газ», «леса», «запасы воды»	стереотипия в сочетании с атрибуцией
<i>Культурно-технологический</i>	«космос», «хоккей», «великие писатели»	реминисценции в сочетании с когнитивной экстракцией
<i>Повседневно-политический</i>	«чиновники», «коррупция», «разбитые дороги»	рефлексия социального опыта в сочетании с негативной атрибуцией
<i>Географический</i>	Москва, Сибирь, Байкал, Курилы	экстракция когнитивного поля представлений

Источник: составлено автором.

*Первый вектор* – это ограниченное *формализованное пространство официальных и полуофициальных символов* российской государственности (51,4 % респондентов): флаг (37,5%), герб («двуглавый орел», «орел российский и т.д. – 22,5%), гимн (21,9%). Указанная тенденция в первую очередь свидетельствует о том, что официальные символы Российской Федерации не только приняты гражданами, но и достаточно прочно интегрированы в политическое сознание общества, воспринимаются ими как нечто естественное.

Вместе с тем, можно предполагать, что такая востребованность официального нарратива имеет и иной подтекст. Она может сигнализировать об аморфности неформального символического пространства национально-государственной идентичности: не имея каких-либо устойчивых символических ассоциаций с Россией, респонденты предпочитают ограничиться перечислением формальных и общеизвестных атрибутов государства. *Второй вектор* связан с *воспроизводством предельно стереотипизированных символов* (35,4% респондентов), которые активно тиражируются массовой культурой и укоренились в общественном сознании: «морозы», «скверная погода», «природные богатства», «медведи по улицам бродят», «матрешка», «балалайка», «Обломов», «лентяи и тунеядцы» и т.д. *Третий вектор*, также кристаллизовавшийся под влиянием массовых стереотипов, может быть обозначен как *территориально-ресурсный* (22,2% респондентов). Типичные ответы в данном случае звучат следующим образом: «большие пространства», «богатства», «зерно», «нефть», «газ», «запасы пресной воды и угля». Наличие и весомость этого пласта в символическом поле политического сознания подчеркивает, что территория, идея большого пространства как исторического метанарратива, не нуждающегося в какой-либо легитимации и представляющего собой терминальную ценность, по-прежнему занимает одно из ведущих мест в композиции национально-государственной идентичности.



*Четвертый вектор* формирования символического профиля (15,2% респондентов) является продолжением аналогичной тенденции предшествующего периода и отражает *культурные и научно-технологические достижения* прошлого и настоящего: «Гагарин, полёт в космос», «новые технологии», «таблица Менделеева», «советский хоккей», «российский спорт», «балет», «Большой и Малый театры», «династия Романовых», «автомат Калашникова», «ракета «Сатана», которая может уничтожить Штаты за три минуты» и т.д.

*Пятый вектор*, являющийся весьма устойчивым, востребованным у части российского общества и перекликающийся с образом власти – совокупность *аморфных и достаточно негативных ассоциаций*, преимущественно коррелирующих с негативными оценками современного состояния страны: «произвол чиновников», «низкие зарплаты», «бездомные», «разбитые дороги».

На наш взгляд, пристального внимания заслуживает *шестой вектор* – такая пока, в целом, периферийная тенденция, как формирование *географического кластера* в символическом профиле самоидентификации российских граждан. Так, 6,7% респондентов, говоря о том, с чем у них ассоциируется Россия, отметили различные территориально-географические объекты: «Москва», «Байкал», «Урал», «Сибирь» и т.д.

Представляется, что географический компонент, хотя и выражен сегодня достаточно слабо, не занимает центрального места в общей структуре идентификационных представлений, в дальнейшем может способствовать когнитивному насыщению образа «нашего» пространства, смещению паттернов его восприятия от крайне обобщенных территориальных и ресурсных («огромные просторы, леса, нефть») к более предметным и детализированным.

Результаты исследований свидетельствуют: противоречивая ситуация складывается в сфере восприятия обществом государственных праздников.

Например, согласно данным ВЦИОМ (октябрь 2018 года), приведенным в таблице 32, перечень праздников, которые отмечают граждане нашей страны, выглядит следующим образом.

Таблица 32 – Топ-10 праздников, которые отмечают россияне

В процентах

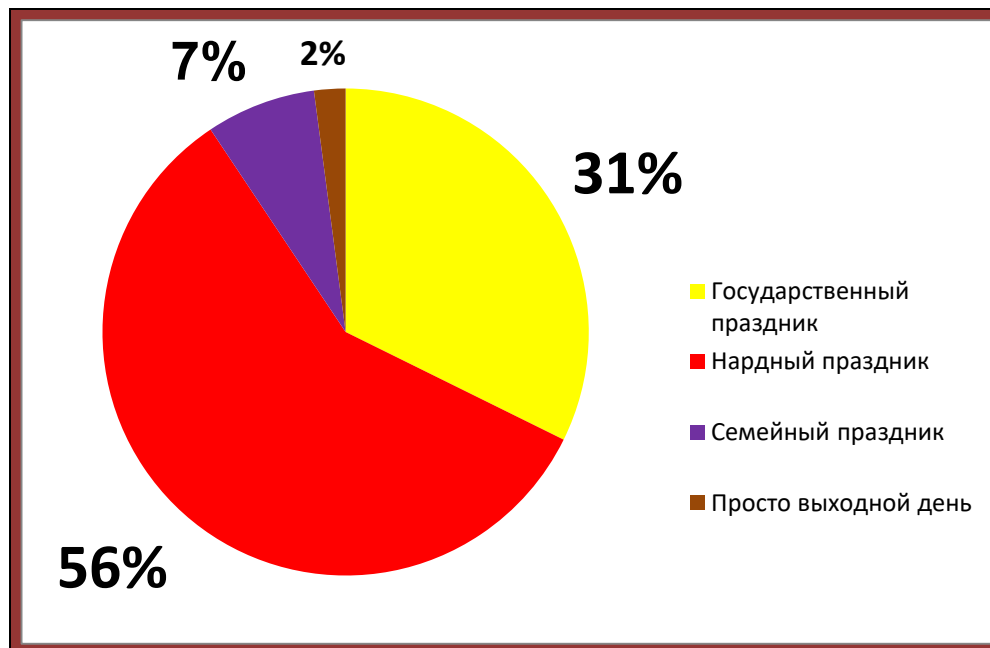
Праздник	Число респондентов
Новый год	96
День Победы	95
Международный женский день	88
День защитника Отечества	84
Пасха	82
Рождество Христово	77
День весны и труда	63
День России	54
День народного единства	42

Источник: составлено автором по данным опроса ВЦИОМ [352].

Аналогичные социологические исследования ФОМ также свидетельствуют о непререкаемой роли Великой Победы в символическом пространстве общероссийской идентичности [342]. Указанные результаты эмпирически подтверждают консенсус общества (равно как и большинства российских политологов) по поводу, безусловно, особого – «полусакрального» – статуса Дня Победы и образа Великой Отечественной войны как центрального элемента и наиболее устойчивого интегрирующего основания национально-государственной идентичности в современной России.

Можно говорить, что именно образ Великой Победы занял место метанарратива в идейно-политической конструкции российского общества. Он обладает во многом уникальной для постсоветских реалий

функциональной способностью нивелировать множественные идеологические, метальные и социокультурные размежевания. И одновременно, в силу своей когнитивной емкости и эмоциональной выразительности, он весьма адаптивен к различным интерпретационным схемам и акцентам («левому», в котором упор делается на фигуру И.В. Сталина, условному «консервативному» с его идеей «исторической России» как великой военной державы, умеренно-либеральному, в рамках которого Вторая мировая война рассматривается как борьба «добра» с тотальным «злом», официальному и т.д.). При этом он представляет собой не просто «точку пересечения» официального и социально-традиционного нарративов Великой Отечественной войны, а во многом уникальную смысловую нишу, в которой симбиотически переплетены и взаимно обогащаются канонический (государственный) и неформальный – «народный» – взгляды на прошлое. Об указанном «государственно-народном» характере восприятия Дня Победы свидетельствуют, в частности, и данные, представленные на рисунке 15.



Источник: составлено автором по данным [342].

Рисунок 15 – Чем для Вас лично в первую очередь является День Победы?

Однако существенно более редуцированная и тревожная картина выявилась в ходе исследования «Национально-государственная идентичность в России», результаты которого представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Праздники и памятные даты, которые отмечают россияне

В процентах

Праздник, памятная дата	Количество респондентов
Новый год	98
Международный женский день (8 марта)	64
День победы (9 мая)	63
День весны и труда (1 мая)	59
День России (12 июня)	19
День народного единства (4 ноября)	24
Другие:	-
Рождество Христово (7 января)	59
Пасха	70
День Октябрьской революции (7 ноября)	11

Источник: составлено автором.

Комментируя представленные результаты, следует сделать два замечания. Во-первых, опрос «Национально-государственная идентичность в России» проводился на полтора года раньше, чем исследование ВЦИОМ, предполагал иную методику и носил диагностический политико-психологический характер. Во-вторых, в рамках обоих исследований фокус внимания был сосредоточен именно на *поведенческих практиках* российских граждан без должной конкретизации (уточняющий вопрос «как именно Вы отмечаете этот праздник?» не задавался). Но можно полагать, что произошло его смещение из сферы мотивированного действия («праздную, потому что...») в когнитивную плоскость (эту аберрацию можно описать формулой

«знаю о его существовании – значит, праздную») и в контекст пассивной коммуникации («слышал о нём», «меня в этот день поздравляют»).

Вместе с тем, из приведенных выше данных следует, что два государственных праздника «новой России», относящиеся к «ельцинскому» и «путинскому» периодам постсоветской истории, – День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября) – на сегодняшний день недостаточно укоренены в сознании российских граждан. Причем, речь идёт как о концептуальной проблеме – аморфности понимания того, «что празднуем?», так и о назревшей необходимости их дальнейшего ритуального наполнения (формулирования четкого ответа на вопрос «как празднуем?»). При этом можно отметить, что в формировании символического поля национально-государственной идентичности российских граждан сегодня, безусловно, определяющее место занимает такая терминальная *политическая ценность*, как *патриотизм*: «главной гордостью россиян остаются армия и флот (24%), люди и русский дух (9%), внешняя политика (9%), а также президент и его политика (6%)» [329].

*Идентификационные альтернативы 2014-2021: от «русской весны» к прообразам «России будущего».*

Предваряя анализ идентификационных альтернатив, необходимо оговорится, что в рассматриваемый период общественно-политический дискурс России находился под воздействием двух важных, на наш взгляд, тенденций. Первая тенденция – это продолжающиеся попытки формирования официального исторического нарратива параллельно с вытеснением альтернативных смысло-символических конструкторов на периферию политического процесса. Вторая тенденция связана с активным развитием политического сегмента Рунета и становлением в нём контурных дискурсивных полей, которые условно можно обозначить как националистическое, «левое» и либеральное [150, с. 8]. При этом каждое из указанных полей отличается чрезвычайной когнитивной размытостью,

эмоциональной перегруженностью и зависимостью от макрополитических контекстов. Так, всплеск интереса российского общества к условно националистической идентификационной альтернативе неоимперского типа был порожден, в первую очередь, украинским кризисом 2014 года, формированием событийной повестки и позитивного информационно-психологического импульса вокруг «русской весны», которая ограничилась масштабами Крыма и Донбасса.

В то же время специфическую форму в 2014-2021 гг. обрела кристаллизация «левой» идентификационной альтернативы. Во многом солидаризируясь с внешнеполитической линией действующей власти, её представители сделали упор на критику внутренней социально-экономической ситуации, фактически отказавшись от моноцентричной и гиперболизированной опоры (по крайней мере, в публично-политическом поле) на геополитическое наследие СССР и, таким образом, косвенно – от притязаний на проектирование «больших», исторических и геополитических, смыслов. Вместо этого на первый план была выдвинута идея внутренней социально-экономической модернизации на базе такой популярной и, несомненно, дефицитарной в российском обществе политической ценности, как справедливость.

Можно отметить, что именно социальная справедливость в сочетании с акцентом на внутреннее развитие (и, следовательно, хотя бы временный отказ от внешнеполитических притязаний) стала в 2018-2020 гг. точкой соприкосновения идентификационных альтернатив, которые пытались сформировать лидеры «левого» и «либерального» оппозиционных дискурсов. В данном случае существенную роль играла определенная абберация смыслов, вариативность и гетерогенность указанной политической ценности: если «левые» говорили преимущественно о социально-экономической справедливости и материальном благосостоянии граждан, то «либералы» – о политической конкуренции, свободе слова, борьбе с коррупцией и равенстве перед законом. Одновременно представители этих течений

видели уязвимое место власти в её избыточно ретроспективных ориентациях, концептуальной слабости и аморфности предлагаемого ею образа будущего. Поэтому, инерционно критикуя прошлое (преимущественно «лихие девяностые», которые стали эталоном и одновременно негативной квинтэссенцией «смутного времени» в сознании различных сегментов общества, вне зависимости от политических предпочтений), они, тем не менее, фокусировались на неспособности власти предложить конструктивный общенациональный образ будущего.

Безусловно, указанная *триада идентификационных альтернатив* («имперская», «левая», «либеральная») не является четко очерченной; сегодня в ней присутствует множество гибридных вариаций. Однако симптоматично, что неизменной их чертой является акцент на *негативную идентичность*, причем в двух её проекциях – условно антивластной и геополитической. Первая, более выраженная и поверхностная, презентует себя в установках резкого неприятия действующего политического режима и курса, проводимого правящими политико-административными элитами. Вторая, более глубокая, связана с отрицанием закономерности исторического пути, пройденного страной в постсоветский период, идеей кардинальной реорганизации социально-политического устройства Российской Федерации (часто такое негативное отношение отчетливо прослеживается и по цифровым следам: «эрэфия», «рашка» и т.д.).

В то же время показательно, что альтернативные политические акторы, пытаясь продуцировать элементы *негативной и конфликтной самоидентификации общества*, не предлагают развернутого консолидирующего образа «мы» в его геополитическом и геокультурном разрезах. Они лишь ограничиваются дублированием уже существующих когнитивно бедных реминисцентных сюжетов политического сознания (у России «особый путь» и великая история) или балансируют в рамках «вечной» – наследуемой из XIX столетия – дилеммы «Запад – анти-Запад».

То есть, можно сделать вывод, что ни одна из упомянутых идентификационных альтернатив не предполагала позитивной трансформации ценностно-смысловых оснований российской государственности и, тем более, не формулировала целостного проекта новой модели российской национально-государственной идентичности.

Таким образом, подводя итоги исследования трансформационной траектории российской национально-государственной идентичности в 2014-2021 гг., можно систематизировать её ключевые особенности, которые выделены в таблице 34.

Таблица 34 – Мобилизационно-инерционная модель российской национальной идентичности (2001-2013 гг.)

Компоненты идентификационной структуры	Ключевые качественные характеристики	Интегральная оценка
1	2	3
Социально-политические контексты	- крымский консенсус 2014 -2016 гг.; - «посткрымский синдром» - эффект усталости и запрос на перемены	-нестабильные; -негативизация
Генерализованный ассоциативный образ России	- <i>позитивные</i> : влиятельная, единая, независимая; - <i>умеренно-негативные</i> : опасная, тревожная, закрытая	-умеренно-позитивный
Образ «значимого другого»	внутренняя консолидация негативного образа Запада как «врага»	негативизация в 2014 - 2015 гг., в дальнейшем – негативная инерция
Образ власти	- <i>на рациональном уровне</i> – симбиоз персоналистских и негативно-обезличенных сюжетов; - <i>на неосознаваемом уровне</i> – отчуждение и инертность	-умеренно-негативный; - рост фрагментации
Образ «нашего» пространства	всплеск неоимперских реминисценций в 2014-2015 гг.; в дальнейшем - инерция представлений	фрагментарный с тенденцией консолидации вокруг прагматического ядра



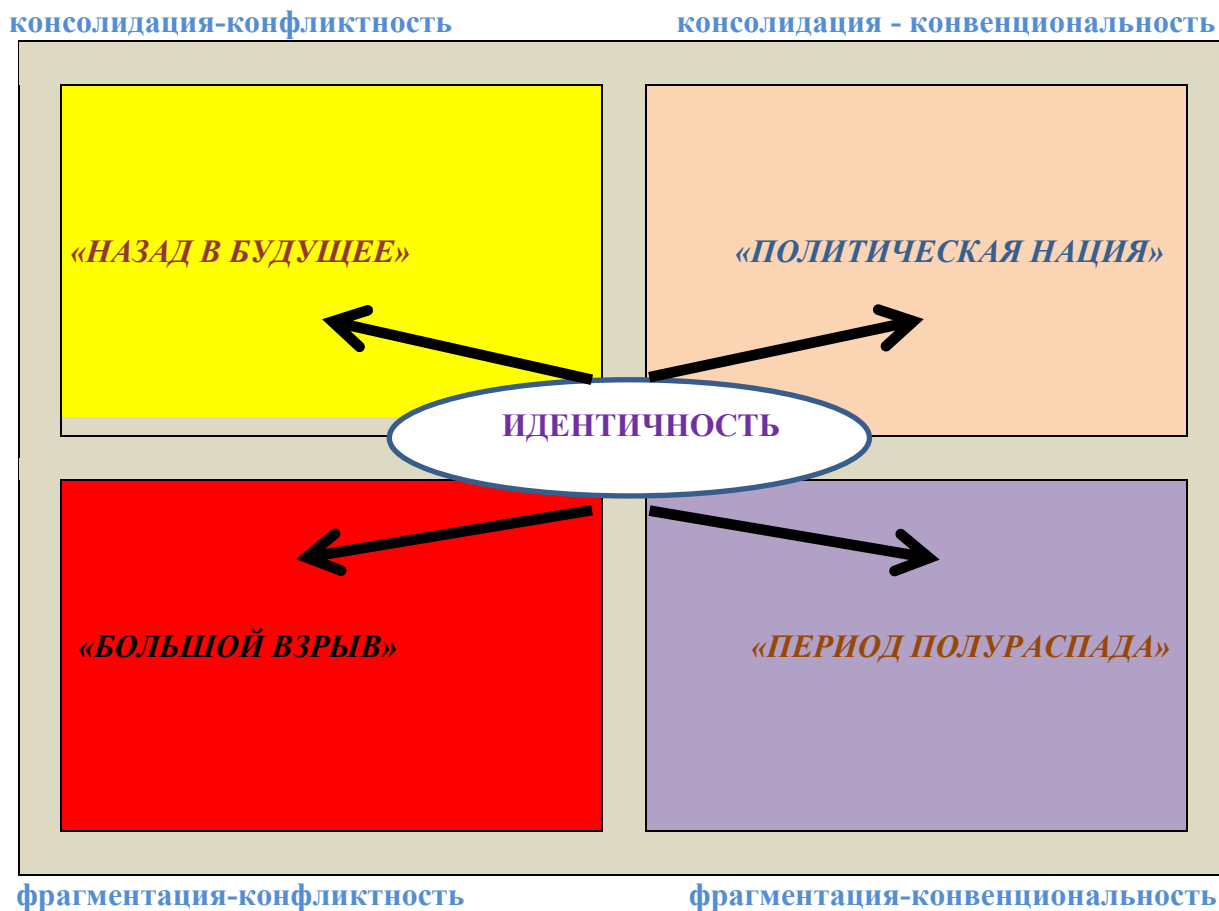
Продолжение таблицы 34

1	2	3
Образ прошлого	- актуализация и усиление эмоциональной составляющей; - конкуренция / сосуществование позитивных образов Российской империи и СССР	позитивный; флуктуирует между консолидацией и фрагментацией
Образ будущего	-рост неопределенности и социального недоверия	- аморфный; - фрагментарный; - умеренно-негативный
Символический профиль	эклектичный: сочетание официальных и неофициальных символов	фрагментарный; тенденция медленного когнитивного насыщения
Идентификационные альтернативы	- «либеральная» - «левая» - «неоимперская»	мощный импульс негативной идентичности: смысловой стержень – неприятие действующей власти

Источник: составлено автором.

*Сценарии трансформации российской национально-государственной идентичности.*

Таким образом, был проведен анализ специфики и основных трендов эволюции инерционно-мобилизационной модели российской национально-государственной идентичности, оформившейся на современном этапе. Основываясь на полученных результатах, можно контурно выделить следующие четыре базовых сценария дальнейшей трансформации национально-государственной идентичности в России [272, с. 17-20], которые представлены на рисунке 16.



Источник: составлено автором.

Рисунок 16 – Сценарии трансформации российской национально-государственной идентичности

Безусловно, наиболее деструктивным представляется *сценарий № 1* («*большой взрыв*»), предполагающий распад российского идентификационного пространства через фрагментацию национально-государственной идентичности и отказ государства от выработки и реализации стратегии государственной политики в данной сфере. Результатом такого развития событий может стать хаотизация территориально-политической конструкции Российской Федерации, всплеск разнообразных альтернативных идентификационных конструкторов – от ренессансных и архаических до этноцентричных и сугубо виртуализированных.

*Сценарий № 2* – инерционный – названный нами «*период полураспада*», представляется на сегодняшний день весьма вероятным, так

как предполагает собой status quo – фактическую «заморозку» сложившейся ситуации в сочетании с нарастающим деструктивным влиянием инерционного тренда, если оно будет иметь место в перспективе. Формой воплощения такого политического сценария в жизнь может стать *бинарная государственно-патерналистская модель идентичности*: граждане привычно ожидают всевозможных инициатив сверху (в том числе и ответов на вопросы «кто мы?» и «куда идём?»), но при этом воспринимают их критически и нацелены на отчуждение от всевозможных макрополитических проектов.

*Сценарий № 3 – «назад в будущее»* – предполагает активизацию государственной политики идентичности через обретение ею предельно моноцентричного характера. Она может принять форму унифицирующей «национальной идеи» или агрессивно транслируемой «государственной идеологии», в основу которой положен эмоционально выраженный «образ врага». Представляется, что такая – *государственно-центричная – ренессансная идентификационная модель*, соответствуя по своим основным параметрам запросам части россиян (но не большинства), может опираться, преимущественно, на разнородные гипертрофированные мотивы неоимперского сознания, носить тотально ретроспективный и ностальгический характер [272, с. 18-20].

*Сценарий № 4 – «политическая нация»* – видится оптимальным, и в то же время наиболее сложным. Вероятность его реализации зависит от способности политических и интеллектуальных элит выработать консолидирующую стратегию и эффективные механизмы многоуровневой государственной политики идентичности. Однако это условие представляется необходимым, но недостаточным для формирования гражданско-политической модели российской нации. Очевидно, её перспективы также напрямую определяются сочетанием двух факторов: повышением уровня институционального и повседневного (горизонтального)

доверия в обществе, а также переходом к всеобъемлющей социально-экономической и гуманитарной модернизации.

Рассматривая указанные сценарии, можно говорить о том, что сегодняшняя модель российской национально-государственной идентичности находится в своеобразной точке бифуркации (с некоторым акцентом на инерцию): состоянии неустойчивого равновесия-выбора, на перекрестке четырех указанных траекторий, периодически тяготея к различным вариантам трансформации: инерционному, ретроспективному, фрагментарно-конфликтному, модернизационному.

*В заключение параграфа 4.3* можно констатировать, что изменение социально-политических контекстов – транзит от «крымского консенсуса» к «посткрымскому синдрому» – серьезно воздействовало на трансформацию идентификационных образов в сознании российских граждан. Прежде всего, речь идёт о существенной негативизации представлений о Западе как «значимом другом»: он стал отчетливо восприниматься в качестве «врага» России. Параллельно в 2017-2021 гг. намечается негативизация образа российской власти. Продолжается рост таких ощущений, как неопределенность и тревожность, в процессе трансформации образа будущего, который сохраняет фрагментарность и аморфность.

#### *Выводы по главе 4*

В заключение главы 4 представляется важным сделать ряд выводов.

1) В 1991-2021 гг. наблюдалось серьезное видоизменение российской национально-государственной идентичности в политическом сознании граждан. Так *кризисно-конфликтный этап* специфичен тем, что в массовом сознании существовал явный смысловой и символический вакуум: аморфность и атомизация массовых представлений о прошлом, отсутствие общенационального образа будущего. Всё это детерминировалось неустойчивостью политической системы «новой России», острыми идеологическими и ценностно-мировоззренческими конфликтами

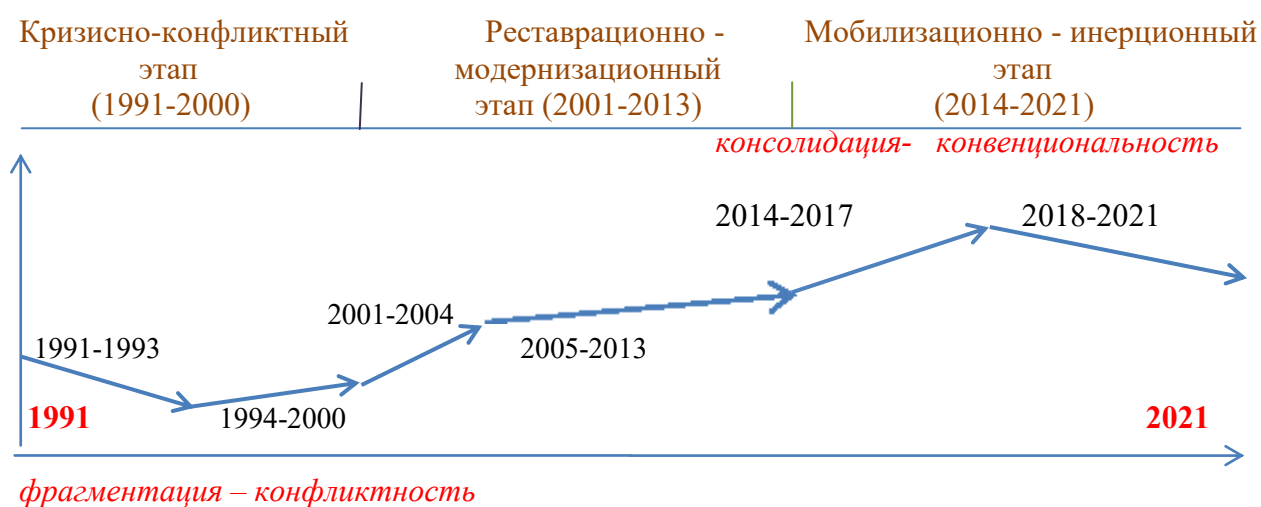
в обществе, частичной декомпозицией и резкой негативизацией представлений о действующей власти, ростом недоверия на всех уровнях социальных отношений, включая политическую сферу.

2) *Реставрационно-модернизационный* этап характеризовался двумя базовыми политико-психологическими трендами. Первый – это реконструкция массовым сознанием «великодержавных» сюжетов в образе прошлого. Второй тренд связан с кристаллизацией весьма размытого образа постсоветской России как привлекательного объекта самоидентификации для большинства граждан, являющегося при этом терминальной политической ценностью. Этому сопутствовали психологическое принятие российским обществом принципиально новой – постсоветской – политической реальности, нисходящая психологическая острота ностальгии по советскому прошлому: последняя не улетучивалась, но приобрела отчетливо мемориальные формы, в основе которых лежало понимание невозможности реверсивного транзита к советской политической конфигурации. В основании указанных тенденций лежало резкое изменение вектора политического и социально-экономического развития Российской Федерации: консолидация политической системы, радикальная трансформация представлений о власти в позитивную сторону и кристаллизация «путинского консенсуса» как феномена массового сознания, а также рост благосостояния значительного числа россиян.

3) *Мобилизационно-инерционный* этап трансформации российской национально-государственной идентичности характеризуется внутренней непоследовательностью с точки зрения динамики массового сознания. Тенденция социально-политической мобилизации (2014-2017 гг.), обусловленная «крымским консенсусом» и всплеском патриотических настроений, сменилась инерционным вектором. При этом также параллельно развивались два процесса: дальнейшее укрепление исторических и символических оснований российской национально-государственной идентичности и вызревание запроса на политические изменения, в том числе,

посредством обращения к символам и образам, связанным с советским периодом прошлого.

4) Как показано на рисунке 17, траектория российской национально-государственной идентичности в массовом сознании в 1991-2021 гг. отличалась существенными флуктуациями: кризис начала-середины 1990-х годов сменился повышательной динамикой, усилившейся в 2000 – начале 2010-х годов, затем – мобилизационной фазой, а в последствие – нарастанием инерции.



Источник: составлено автором.

Рисунок 17 - Траектория трансформации национально-государственной идентичности в российском массовом сознании (1991 -2021 гг.)

Специфика и основные тенденции трансформации ключевых компонентов структуры российской национально-государственной идентичности, выявленные в главе 4, могут быть представлены в обобщенном виде на основе ранее разработанной схемы-матрицы.

5) Можно отметить, что базовая установка национально-государственной идентичности, состоящая в устойчивом ощущении гражданами собственной принадлежности к «стране России», является резистентной и слабо зависит от флуктуаций образов власти, «значимых других», территории, прошлого и будущего, а также иных элементов «матрицы» общероссийской идентичности. При этом важно также

зафиксировать то, что ассоциативный образ России в 2000-2010-е годы в целом отличался умеренно-позитивной модальностью. Наиболее положительно россияне оценивали его ресурсные и внешнеполитические составляющие, характеризуя Россию как богатую, влиятельную и независимую страну. Существенно более сдержанные оценки связаны с восприятием внутренней ситуации в стране.

б) Выраженной трансформационной динамикой характеризовалось содержание иных идентификационных представлений, в частности, образа «значимого другого». Так, в 1990-е годы он отличался высоким уровнем фрагментации, эмоциональной неустойчивостью и разновекторностью. В 2000-е гг. рельефно проявилась тенденция дифференциации «значимого другого» в представлениях россиян и усиление негативных установок по отношению к Западу. Форсированная негативизация образа «коллективного Запада» наблюдалась в 2014-2015 гг. Данное обстоятельство способствовало тому, что российская национально-государственная идентичность, особенно в её неоимперской вариации, обрела мощный негативный потенциал, стала кристаллизоваться через запуск механизма психологического дистанцирования от «западного мира».

7) Динамика образа власти в системе политических представлений россиян была волнообразной и во многом детерминированной персоналистской оптикой её восприятия. Негативное отношение к российской власти, доминировавшее в 1990-е годы, сменилось на выраженное положительное в 2000 – начале 2010-х годов. Однако в середине 2010-х годов в указанном образе вновь начинают нарастать критические интенции и сюжеты.

8) Логика эволюции образов прошлого и будущего в российском массовом сознании была крайне противоречивой. Становление российской идентичности в 1990-е гг. происходило в ситуации разрушения образа прошлого. В 2001-2013 гг. имела место противоположная тенденция: происходила реставрация представлений о прошлом на основе отказа от

конфликтных сюжетов в пользу конвенциональных. Также, в 2014-2021 гг. началось некоторое усиление фрагментации и конфликтности в содержании образов прошлого.

Симптоматично, что образ коллективного будущего в представлениях российских граждан в 1991-2021 гг. отличался не только аморфностью, но и, по существу, когнитивной пустотой. Определенный позитивный тренд его эволюции наблюдался в 2000-х годах, когда он приобрел не детализированные, размытые, но, тем не менее, всё же позитивные психоэмоциональные оттенки.

9) В рамках анализа возможных путей дальнейшей трансформации национально-государственной идентичности в российском массовом сознании выделены и охарактеризованы четыре сценария: фрагментарно-конфликтный («большой взрыв»), инерционный фрагментарно-конвенциональный («период полураспада»), конфликтно-консолидационный («назад в будущее») и конвенционально-консолидационный («политическая нация»). Реализация первого из них («большой взрыв») подразумевает разрушение когнитивных и ценностно-символических элементов идентичности в условиях доминирования кризисных тенденций в российском обществе. Четвертый сценарий («российская нация») носит конвенциональную и консолидационную направленность: он является наиболее продуктивным и предполагает завершение формирования российской политической нации как устойчивой макрополитической конструкции. На наш взгляд, на сегодняшний день наиболее вероятным выглядит инерционный сценарий, условно обозначенный нами как «период полураспада». Его суть состоит в медленной стагнации ценностно-символических оснований общероссийской идентичности, постепенной утрате ими консолидирующего аффективного потенциала.



## Глава 5

### Политика идентичности в Российской Федерации: стратегические направления реализации и совершенствования

Несомненно, важным аспектом комплексного осмысления национально-государственной идентичности в современной России является всесторонний анализ государственной политики идентичности на различных этапах ее реализации. В рамках данного раздела представляется необходимым следовать обозначенной в главе 2 логической линии, предполагающей выделение в структуре политики идентичности двух стержневых элементов – государственной политики памяти и политики конструирования общенационального образа будущего.

В параграфе 5.1 *«Политика памяти как системообразующий компонент формирования российской национально-государственной идентичности»* изучаются особенности становления и эволюции государственной политики памяти в Российской Федерации, проблемы её институционального оформления и символично-смыслового насыщения. Параграф 5.2 *«Образ будущего в России: механизмы государственно-политического конструирования»* посвящен проблеме выстраивания образа будущего в России, которая рассматривается комплексно, в ракурсе тех политических инициатив, которые периодически, с разной частотой и степенью проработанности, выдвигала действующая российская власть. В параграфе 5.3 *«Государственная политика идентичности в России: потенциал оптимизации»* предпринята попытка оценить возможности и стратегические направления совершенствования государственной политики идентичности в Российской Федерации с учетом переосмысления предшествующих политико-управленческих практик в данной сфере, а также новых социально-политических вызовов, обозначившихся перед российской государственностью.

В ходе исследования различных элементов государственной политики идентичности в Российской Федерации использовались результаты экспертного опроса *«Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы»*, гайд которого представлен в приложении А. Это позволило более четко диагностировать текущие проблемы её реализации, обозначить ключевые тенденции трансформации двух стратегических её направлений – политики памяти и конструирования коллективного (общенационального) образа будущего.

### **5.1 Политика памяти как системообразующий компонент формирования российской национально-государственной идентичности**

Опираясь на системно-функциональный подход к пониманию государственной политики, целесообразно проанализировать особенности её эволюции на различных этапах трансформации национально-государственной идентичности в постсоветской России: первоначальном *кризисно-конфликтном* (1991-2000 гг.), посткризисном *реставрационно-модернизационном* (2000-2013 гг.) и текущем, внутренне двойственном *мобилизационно-инерционном* (2014-2021 гг.).

*Государственная политика памяти России в 1991-2000 гг.: конфликт с советским прошлым и поиск новых смысловых императивов.*

В публикациях отечественных ученых, посвященных деятельности государства в сфере исторической памяти в 1990-е годы, центральной является идея фактического отсутствия какой-либо проработанной политики в данной области – осознанного «самоустранения» государства от постулирования или хотя бы периодического производства каких-либо значимых мемориальных сюжетов и смыслов [94; 174; 362]. Вместе с тем, в публичном пространстве звучат и иные, подчас, радикальные оценки той ситуации. Их суть сводится к тому, что в тот период, власть, руководствуясь

императивом «новой России» как смысла-отрицания национальной истории, сознательно способствовала разрушению позднесоветского образа прошлого – и его когнитивных компонентов, и институциональной опоры, через бессистемные реформы образования и культуры.

Отчасти эту точку зрения разделяют и эксперты, участвовавшие в опросе «Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы». Они характеризуют политику памяти в 1990-е годы как «бессистемную»: *«телодвижения, лишённые всякого смысла»*, и подчеркивая, что *«она отсутствовала, были какие-то попытки говорить про царскую эпоху, вспоминали Великую Отечественную войну, памятник Жукову поставили в Москве, учредили орден Жукова, но это не была политика в подлинном смысле слова»*. При этом в качестве лейтмотива отношения к истории они выделяют разрыв с советским наследием: *«разрыв с Советским Союзом», «борьба с тоталитарным прошлым», «разрушение и извращение всего, что было сделано и накоплено в советскую эпоху»*

На наш взгляд, такие трактовки ситуации в области государственной политики памяти 1990-х годов представляются в существенной мере редуцированными. Более того, необходимо учитывать и то, что коммеморативные практики «лихих девяностых» не предстают перед нами однообразным периодом, некой темпоральной последовательностью – ни с точки зрения степени государственного вмешательства в историческую сферу (которое возросло во второй половине 1990-х годов), ни в оптике тех противоречивых смыслов, которые исповедовали и пытались транслировать правящие элиты [151; 155].

И всё же необходимо подчеркнуть, что первый заметный аспект, характеризующий деятельность государства в исторической сфере в тот период – это *эпизодичность и отсутствие какой-либо систематизации*. Такая дисфункциональная ситуация легко укладывалась в декларируемую стратегическую линию на выстраивание конкурентных политических

отношений (причем, речь шла не только о конкуренции акторов, но и смыслов) и всеобъемлющую деидеологизацию общества.

Следующей чертой государственной политики памяти в 1991-2000 гг. является сознательное провоцирование темпорального раскола общественного пространства памяти – конфликт с прошлым, которому и по сей день ряд исследователей пытается предать экзистенциальное обрамление (относясь к СССР как к тоталитарной «империи зла» – чужой стране, генетически противостоящей современной российской государственности). Разумеется, отсюда вытекают последующие предельно ограниченные оценки и событий начала 1990-х годов, и потенциала исторической памяти российского общества: «когда мы рассуждаем о прошлом нынешней России в историческом смысле, то имеем в виду чаще всего Советский Союз и Российскую империю. Собственного прошлого... у Российской Федерации все еще нет» [81, с. 11].

Можно выделить тот факт, что в первые годы существования «новой» российской государственности (1991-1994 гг.) приоритетом государственной активности (о политике как некотором целостном алгоритмизированном процессе говорить не приходится) в сфере исторической памяти стала гипертрофированная фокусировка на борьбе с советским наследием под эгидой поиска и популяризации «исторической правды». На наш взгляд, такая деятельность характеризовалась целым рядом неоднозначных черт.

Первая черта, особо ярко проявившаяся в 1992-1994 гг. – это *выраженный конфликтной уклон исторических интерпретаций в сочетании с доминирующей ролью самообвинения как базового фрейма восприятия прошлого: причем, не только советского, но и более раннего. На присутствие этой тенденции в информационном пространстве России того времени указали также и ряд экспертов: «копались в истории, сознательно искали всякую ложь, чтобы выставить наше общее великое прошлое в негативном свете», «весь негатив продвигали, особенно о Сталине, ГУЛАГе, Великой Отечественной войне, нашей армии».*

Такая «*презумпция исторической виновности*» России во всех её государственно-политических формах (начиная от Московского княжества как «наследника Орды» и заканчивая позднесоветским периодом – эпохой «застоя»), активно транслируемая действующей на тот момент властью, позволила западным исследователям говорить о «моральном мазохизме» и «культе страдания» как двух знаковых особенностях российского социального самовосприятия. Более того, страдальческий импульс в российской «*протополитике памяти*» активно проявлялся и позднее: в середине 1990-х – начале 2000-х годов в виде конфликтно-интроспективного нарратива Российской империи – образа «России, которую мы потеряли».

Вторая черта – фактическое *отсутствие* каких-либо внятных попыток выстраивания *институциональной и нормативной базы* управления массовым историческим сознанием. Первоначально на короткое время на роль «мозгового центра» власти, призванного развернуто сформулировать отношение руководства России к прошлому, претендовала Комиссия при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, созданная в декабре 1992 года. Основная функция Комиссии изначально определялась как обеспечение реализации Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». В преамбуле данного закона сказано следующее: «за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола *тоталитарного* государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам» [2].

Таким образом, еще до фактического окончания существования СССР советское государство (заметим – не власть и не политическая система) безапелляционно объявлялось тоталитарным. Также определенной новацией в сфере исторической памяти выглядело то, что речь шла о репрессиях на протяжении *всего* периода существования СССР, а не какого-то ограниченного временного отрезка (более ранние союзные акты говорили о репрессиях, «имевших место» в 1920-х – начале 1950-х годов, тем самым

строго очерчивая период «беззаконий» временем правления И.В. Сталина и косвенно выводя из-под критики как деятельность В.И. Ленина, так и хрущевско-брежневский период).

Третья черта – *бедность и эклектичность когнитивного и символического полей* национально-государственной идентичности, предлагаемых государством. Так, показательно, что одновременно с принятием закона «О реабилитации...» Верховный Совет РСФСР устанавливает День памяти жертв политических репрессий (30 октября), ставший по существу первым знаковым решением в рамках символической политики (по крайней мере, того её ответвления, которое можно именовать «политикой дат») новой российской власти. Весьма симптоматично, что это решение являлось демонстрацией не просто отрицания, но и всеобъемлющего осуждения советского периода. Второе (и последнее знаковое в составе СССР) решение от 1 ноября 1991 года – восстановление триколора в качестве государственного флага России – являлось, наоборот, демонстрацией преемственности с имперским прошлым.

Такой подход неизбежно породил массовый когнитивный диссонанс: вскоре у «новой» российской государственности оказалось не только два конфликтующих «прошлых» – советское и «царское», но еще и третий предельно аморфный элемент – искусственная точка темпоральной самоидентификации с 12 июня 1990 года. Провозглашение в 1992 году Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР государственным праздником стало выразительным маркером всеобщего идентификационного кризиса «новой России»: «свой собственный праздник Ельцин попытался заставить отмечать всю страну. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у «дорогих россиян» сути нововведения» [322].

Вместе с тем, идея празднования «Дня независимости» обозначила начало медленной концептуализации *символико-смысловой триады* эклектичной и разбалансированной государственной политики памяти в

России 1990-х годов, в которой соседствовали (механически сосуществовали, а не органично сочетались) такие компоненты, как:

- попытка выстраивания преемственности с Российской империей;
- мемориальные нововведения (такие, например, как учреждение в 1992 году медали «Защитнику свободной России» [3]);
- поэтапно редуцировавшееся неприятие советского исторического периода (частично «символически реабилитированного» властью уже в 1994-1995 гг. через память о Великой Отечественной войне, образ Г.К. Жукова и других советских полководцев) [179, с. 132].

Последняя тенденция стала заметной с 1994 года и выразилась, прежде всего, в попытке предать Великой Отечественной войне статус центрального символического события всей российской истории, что коррелировало с состоянием массового исторического сознания середины 1990-х годов (учитывая, что образ Победы, помимо официального обрамления, тогда еще активно подкреплялся «устной» микросоциальной памятью). Несомненно, знаковыми действиями в этом направлении стали открытие мемориала на Поклонной горе и возвращение к традиции проведения парадов Победы, которые с 1996 года ежегодно проходят на Красной площади [179, с. 132]. Последнее означало, что именно Великая Победа стала рассматриваться руководством постсоветской России как стержневая историко-символическая «точка сборки» новой российской идентичности вместо годовщины Великой октябрьской социалистической революции, которая занимала главенствующее положение в советской иерархии праздников.

Представляется, что такой шаг власти был крайне востребован на том, глубоко кризисном этапе развития – по существу, разрушения – смыслового поля российской идентичности, отвечал запросам общества и способствовал запуску примирительного течения в общероссийском дискурсе прошлого [264, с. 49]. Это было существенно и по той причине, что в первой половине 1990-х годов именно Великая Отечественная война пришла на

смену «массовым репрессиям» 1930-х годов в качестве главного исторического объекта агрессивных информационно-политических ударов по национальному самосознанию россиян. В наиболее мягкой форме они выглядели как смещение фокуса внимания в сторону трагических её эпизодов (так, показательно название сериала Ю. Озерова – «Трагедия века»). В более открытой – как генерирование и распространение множества слухов («закидали немцев трупами», «в 1941 наши полководцы воевать не умели», «Жуков гнал на минные поля пехоту» и т.п.) [264, с. 47]. Характерно, что все это подкреплялось соответствующей неонацистской литературой, мемуарами высших офицеров Вермахта на полках российских книжных магазинов. В наиболее изощренном виде речь шла о новой версии истории XX века, в которой СССР объявлялся главным виновником второй мировой войны.

Вторым символическим шагом, призванным свидетельствовать если не о примирении политических элит новой России с историческим наследием СССР, то о смягчении официального антисоветского нарратива, стало переименование Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в День согласия и примирения, который учреждался в целях «единения и консолидации российского общества» [7]. Более того, 1997 год был объявлен указом Президента России годом согласия и примирения. Напомним, что именно период 1995-1996 гг., когда власть заговорила о необходимости единства и консолидации, стал пиковым с точки зрения глубокого идеологического раскола и политической поляризации общественного сознания (квинтэссенцией которой стали выборы Президента России в июне – июле 1996 года).

Закономерно, что такая нелинейная и крайне непоследовательная в своем ценностно-смысловом преломлении *эволюция (1994-2000 гг.) от однозначно конфликтной модели мемориальной политики к неустойчивому прообразу политики конвенциональной*, тем не менее, провоцировала появление и новых идентификационных расколов в обществе: «к концу



1990-х годов власть стала объектом атаки как левых сил, так и радикальных «либералов», требовавших от неё дальнейших мер по борьбе с советским наследием» [94, с. 83].

При этом показательно, что на декларативном уровне руководство Российской Федерации и лично Президент Б. Н. Ельцин продолжали все 1990-е годы последовательно выступать с осуждением советского периода истории. Квинтэссенцией данного взгляда является последнее заявление Б.Н. Ельцина на посту Президента России, сделанное 31 декабря 1999 года. В нём он дважды затронул тему истории, сказав: «Россия уже никогда не вернется в прошлое... Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из *серого, застойного тоталитарного* прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее» [15].

По нашему мнению, психологически знаковым моментом в этом обращении является не только характеристика прошлого как «тоталитарного» и «застойного» (что вполне укладывалось в русло официального исторического нарратива 1990-х годов), но и то, что говоря о *российском «прошлом» как таковом*, первый Президент России отождествляет его *исключительно с советским прошлым*. Это еще раз ярко высвечивает подсознательную фиксацию правящих элит того времени именно на конфликте с историческим образом СССР, а не на конструировании темпоральной целостности и позитивных смыслов отечественной истории.

Можно полагать, что концентрированным отражением – апофеозом – когнитивной бедности государственной политики идентичности 1990-х годов стал гимн Российской Федерации того времени – «Патриотическая песня» без слов. При этом на государственном уровне неоднократно предпринимались попытки наполнить гимн внятным содержанием, которые упирались в фундаментальные ценностно-исторические противоречия: ностальгически настроенная часть общества выражала мнение,

что необходимо вернуть мелодию гимна СССР. Параллельно с этим периодически проводились разнообразные конкурсы принципиально новых текстов, предполагавших, в том числе, и явное антисоветское содержание (с упоминанием «лагерной могилы» и т.д.) [345].

Таким образом, следует признать, что на кризисно-конфликтном этапе трансформации российской национально-государственной идентичности политика памяти отличалась слабой институционализацией, высокой конфликтогенностью (что перекликалось с конфликтным состоянием массовых представлений о прошлом и будущем), фактическим самоустранением из сферы исторического просвещения, носила подчеркнуто эклектический и дискретный характер с существенным антисоветским акцентом [94; 179]. При этом на рубеже 1994-1996 гг. государство, признав вакуум смыслов в идентификационной матрице российского общества, начинает осуществлять медленный поворот к конвенциональным мемориальным практикам.

*Государственная политика памяти в 2001-2013 гг.: от моратория к реставрационным практикам.*

Серьезные изменения в государственной политике памяти в Российской Федерации происходят на *реставрационно-модернизационном этапе* трансформации российской национально-государственной идентичности (2001-2013 гг.). Характеризуя этот период в целом, необходимо зафиксировать факт поэтапного возвращения государством себе роли главного актора конструирования политической памяти в России. В связи с этим можно полностью солидаризироваться с оценкой А.И. Миллера: «в первой половине 2000-х годов власть начинает активно заниматься политикой памяти и доминирует в формировании повестки дня в этом вопросе. От властей исходят почти все инициативы в этой сфере» [362].

Вслед за урегулированием вопроса о государственных символах России в декабре 2000 года, осуществленного на конвенциональной основе,

исходя из принципа темпоральной преемственности истории, руководство России получило возможность перейти к выработке полноценной стратегии конструирования общенациональной памяти. Такое «окно возможностей» открылось по причине сочетания двух взаимосвязанных тенденций эволюции российского массового сознания:

– высоким персональным рейтингом доверия Президенту В.В. Путину [323; 334], что детерминировалось в 2000-2004 гг. соответствующим психоэмоциональным состоянием общества (то есть, он выступал «президентом надежды», а не только адресатом сугубо прагматических запросов отдельных социально-политических сегментов);

– снижением остроты (именно психологической остроты переживания, а не социологически фиксируемых масштабов) ностальгии по СССР как неотъемлемого элемента постсоветской политической культуры [94, с. 83-86].

Основываясь на результатах экспертного опроса, можно выделить четыре главных блока причин, сдерживающих усилия государства по выстраиванию и реализации политики памяти в этот период (2001- 2013 гг.).

Первый блок причин связан с тем, что до 2005-2006 гг. развитие мемориальных практик и управление ими не входили в число очевидных приоритетов «путинской республики». Такая ситуация была детерминирована острой необходимостью решения первоочередных политико-управленческих задач: сохранения территориальной целостности России, противодействия транснациональному терроризму на Северном Кавказе, форматирования «вертикали власти», стабилизации социально-политической ситуации и обеспечения восстановительного экономического роста.

Более того, яркой чертой политического стиля В.В. Путина стал взвешенный прагматизм, ставка на предсказуемость власти в сочетании с декларируемым приматом государственных интересов в различных сферах общественной жизни.

Второй блок причин, сдерживающих становление целостной исторической политики в «нулевые» годы, связан с наметившимся в обществе запросом на предсказуемое будущее, которое могла обеспечить только «сильная» власть [139; 156; 291]. В этих условиях вопрос ближайшей исторической перспективы («куда идём?») стал обретать в массовом сознании приземленное практическое звучание («как мы будем жить завтра?»); его мемориально-идеологическая репрезентация («кто мы и откуда?») потускнела и утратила былой психоэмоциональный накал.

*Третий блок причин* – это внутренние идейно-политические расколы и противоречия в среде российских политических элит начала XXI века, их неготовность внятно и однозначно формулировать приоритеты общенационального развития *именно в макроисторическом контексте*. То есть, в 2001-2004 гг. речь шла о некоем подобии *стратегии моратория* на выработку официального (государственного) пространства исторической памяти, в том числе, и с целью сохранить целостность такого политико-психологического образования, как «путинское большинство». Оно, как известно, было неоднородным и по идейно-политическим предпочтениям, и с точки зрения доминирующих исторических представлений групп, его составлявших. Необходимо особо выделить тот момент, что политика (стратегия) моратория, выбранная руководством Российской Федерации в тот период, не являлась чем-то оригинальным для посткризисных обществ, внутренне расколотых и переживших слом идентификационных ориентиров. Например, аналогичный подход, основанный на моратории исторических оценок событий 1936-1975 гг., доминировал в политических практиках постфранкистской Испании на начальном этапе её развития (1975-1982 гг., до прихода к власти испанской социалистической рабочей партии, что само по себе символизировало начало «примирения» с прошлым).

Ограниченность данной стратегии видится в двух моментах.

Первый – её реализация возможна в течение весьма непродолжительного по историческим меркам времени, пока происходит

восстановительный рост уровня жизни населения. Его завершение или прерывание (например, погружение в новый политико-экономический кризис) автоматически выступает импульсом актуализации общественных дискуссий о прошлом. Второй момент – эффективность моратория может быть обеспечена только лишь в условиях политической стабилизации: наличии в обществе институционального или персоналистского начала, вокруг которого складывается общественный консенсус, пусть и предполагающий разнонаправленные, а иногда и диаметрально противоположные ожидания (в России такой фигурой консенсуса тогда, безусловно, выступал В.В. Путин; в Испании второй половины 1970-1980-х годов – Хуан Карлос I, для политических элит Китая конца 1970-1980-х годов – Дэн Сяопин).

Можно констатировать, что серьезные изменения на уровне официального исторического дискурса начинаются на рубеже 2004-2006 гг. Так, 25 апреля 2005 года В.В. Путин в послании Федеральному собранию назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века» [333].

Также важной вехой в концептуализации *конвенциональной модели* государственной политики памяти в тот период стало учреждение в 2004 году Дня народного единства 4 ноября (стал государственным праздником с 2005 года). Аргументируя этот шаг, руководство России обратило внимание именно на его консолидационный потенциал. Он заключался в способности нового праздника выступать не просто очередной точкой абстрактного постсоветского «примирения» (в том числе, единства «власти» в лице князя Д.М. Пожарского и «народа» в лице «гражданина» К. Минина), а мотивационной основой исторического осознания российского народа в качестве субъекта созидательного исторического и политического действия.

Суммируя мнение ученых и экспертов-политологов по данному вопросу, можно указать несколько причин, побудивших власть выступить с этой инициативой:

– необходимость предать идее общероссийской консолидации статус государственного императива, а не только партийно-политической установки, дистанцировавшись тем самым от конфликтного официального нарратива 1990-х годов;

– близость даты праздника к 7 ноября. Это позволило критикам говорить о попытке искусственной подмены годовщины Октябрьской революции. Но сегодня, в начале 2020-х годов, можно отчасти согласиться с мнением, что в восприятии этого праздника наметились некоторые позитивные изменения [387];

– очевидные параллели, которые существовали в массовом сознании между Смутой начала XVII века и «ельцинской эпохой» – событиями конца XX столетия;

– заинтересованность в использовании пребывавшего в «спящем» состоянии символического потенциала «допетровского периода» российской истории, который, в отличие от эпох СССР и Российской империи, не служил катализатором избыточной политической конфликтности (если вывести за скобки профессиональные исторические дискуссии и идеологизированные споры об отдельных личностях – прежде всего, Иване Грозном);

– символический реверанс в сторону русской православной церкви, признание *de facto* исключительной (несоизмеримой с другими конфессиями) роли православия в качестве одного из стержневых элементов общероссийской национально-государственной идентичности;

– политическая и ментальная приемлемость учреждаемого праздника для различных этносов и религий, населяющих Россию. Место «врага» в данном символическом конструкте занимал внешний актер, негативно

воспринимаемый и однозначно идентифицируемый в массовом сознании как «чужой»: историческая Польша – Речь Посполитая [341].

Вместе с тем, основными линиями критики вновь учрежденного праздника в экспертном сообществе являются и его *субституциональная функция* (попытка вытеснить годовщину Октябрьской революции на периферию национального пространства памяти), и очевидный религиозный подтекст, а также «кремлецентричность», поскольку освобождение Москвы от интервентов не означало автоматического прекращения внутреннего политического противостояния и внешней агрессии (общеизвестно, что фактически Смута на территории России продолжалась и далее: Столбовский мирный договор со Швецией – заключен только в 1617 году; массированное вторжение польских войск и осада Москвы – датированы 1618 годом).

Однако главной проблемой, на наш взгляд, является то, что День народного единства не получил должной *ритуализации*: ответ на вопрос «как празднуем?» на официальном уровне не был сформулирован четко и однозначно. Поэтому вполне естественно, что наиболее заметной ритуальной репрезентацией 4 ноября в течение нескольких лет являлся проводимый националистами «русский марш». То есть, фактически произошел «символический перехват» властной инициативы националистической оппозицией. В то же время можно привести и обратный пример успешных мемориальных новаций – «Бессмертный полк», когда общественная инициатива, сформулированная на региональном уровне в 2012 году, была инкорпорирована в рамки государственной политики идентичности, а в последствие приобрела не только общенациональный статус, но и международное звучание.

В 2005-2009 гг. одним из важных векторов политической активности Кремля становится государственная молодежная политика, которая практически сразу приобретает зримую историко-патриотическую оболочку и конфронтационный политический уклон (в этом плане иллюстративным выглядит название созданного в 2005 году провластного молодежного

движения – «Наши», что а priori подразумевало идентификационный раскол, наличие «чужих»). Вместе с тем, признавая важность данного направления с точки зрения исторической памяти российской молодежи, следует отметить, что уже в начале 2010-х годов активная деятельность государства в этой сфере была частично свернута, приобрела инерционную траекторию. Представляется, что такая трансформация была обусловлена как рядом объективных обстоятельств (прежде всего, низкой конкурентоспособностью этих политических проектов в условиях тотального погружения молодежи в интернет-пространство), так и конъюнктурным моментом, заключающимся в стремлении государства в начале 2010-х годов сделать ставку на сознательную деполитизацию молодежной повестки дня.

Немаловажно, что данный период характеризуется активным «возвращением» государства в информационное пространство (прологом чему явилось «дело НТВ» 2000-2003 гг. ), сферы культуры и образования. Прежде всего, можно отметить усиление просветительской исторической составляющей в деятельности государственных СМИ. При этом в центре внимания оказалась идея выстраивания *темпоральной преемственности* – исторической непрерывности общественного пространства памяти [179]. В ракурсе информационной политики она предполагала решение трех взаимосвязанных задач:

- символического расширения и когнитивного насыщения досоветского сегмента исторической памяти;
- частичную деперсонализацию советского исторического периода через акцент на коллективизм («подвиг народа») и событийные интерпретации (культурные, военные и технологические достижения «извлекались» из внутривнутриполитического контекста);
- генерирование позитивных психоэмоциональных фреймов восприятия прошлого в сочетании с постепенной минимизацией наиболее травмирующих негативных сюжетов советской истории в официальных СМИ.



Таким образом, можно частично согласиться с точкой зрения А.И. Миллера, что «в период 2006-2009 годов власти начинают еще более интенсивно действовать в сфере политики памяти. Их линия в это период вполне соответствует понятию «историческая политика», будучи партийной и конфронтационной как на внешнеполитическом, так и на внутривнутриполитическом направлении» [362]. Вместе с тем, необходимо сделать и две важные ремарки.

Первая связана с тем, что историческая политика того времени не должна, на наш взгляд, трактоваться как «партийная», даже в расширенном понимании этого слова, поскольку она явно не сводилась исключительно к инструментальной функции легитимации правящего режима, защите интересов властной группы. По нашему мнению она всё же имела более масштабные цели и представляла собой попытку кристаллизации идейно-символических оснований (пусть и весьма редуцированных) общероссийской идентичности.

Вторая ремарка состоит в том, что *конфронтационный вектор* государственной политики памяти в тот период скорее проявлялся на *внешнеполитическом контуре* – в форме «войн памяти», активизировавшихся на постсоветском пространстве после событий «оранжевой революции» 2004-2005 гг. на Украине [49]. Однако, и с точки зрения текущих идеологических размежеваний в российском обществе, и в темпоральном ракурсе (с точки зрения преемственности или противопоставления различных исторических эпох) она носила преимущественно примирительный – *конвенциональный* – характер.

По нашему мнению, весьма продуктивным направлением реализации политики памяти во второй половине 2000-х и начале 2010-х годов было государственно-общественное партнерство в сфере культуры, искусства и образования. Главным образом, можно указать развитие исторического направления российского кинематографа, где произошел рациональный отказ от крайних исторических интерпретаций – «черно-белого» понимания

прошлого – в пользу более взвешенных оценок. В культурной сфере, прежде всего, заметными становятся систематические попытки популяризации российского прошлого (причем, разных его периодов) через кинематограф [264, с. 49-50]. При этом был сделан смысловой акцент на следующие ниши:

- критический анализ деятельности знаковых исторических персоналий, который, однако, уже не предполагал их тотальной негативизации (Иван Грозный, И.В. Сталин, Г.Е. Распутин и др.);

- стремление использовать телевидение в качестве базового инструмента первичной и вторичной гражданско-политической социализации, что выразилось в использовании инструментов культуры, создании исторических фильмов для детей и подростков младшего возраста («Князь Владимир», «Александр Невский» и др.);

- укрепление сюжетной линии, связанной с формированием умеренно-позитивного образа Российской Империи (фильм «Романовы: венценосная семья», телевизионный проект «Тайны дворцовых переворотов»), продолжение дискурса «русской смуты» («Империя под ударом»);

- конвенциональный мотив памяти о недавнем прошлом: примирение «красных» и «белых» на основе традиционных социальных ценностей и противостояния общему врагу (фильмы «Остров» П.Лунгина в 2006 г., «Русский крест» Г. Любомирова в 2009 г. и т.д.).

Существенное место в коммеморативных практиках того периода занимала и просветительская деятельность, которая, сохраняя дискуссионные форматы ретрансляции смыслов, была также нацелена на выстраивание конвенциональной картины прошлого. Наиболее заметным и массовым стал общероссийский медиапроект «Имя России» (май – декабрь 2008 г.). Важной на тот момент технологической новацией являлась его мультимедийность: сочетание виртуального и телевизионного форматов [349]. Тем не менее, указанная инициатива власти подверглась серьезной критике по двум

направлениям. Первая претензия была связана с тем, что организаторов проекта обвиняли в стремлении редуцировать пространство исторической памяти – вывести за скобки многие знаковые фигуры «давнего» и «актуального» российского прошлого: от Ярослава Мудрого и Ивана Великого до А.Д. Сахарова и М.С. Горбачева.

Вторая претензия состояла в избыточной политизации проекта, его имплицитной антисоветской направленности, свидетельством чему стало «поражение» символов советской эпохи – Сталина и Ленина – в голосовании зрителей. Более того, слабая техническая организация интернет-опроса, проводимого в рамках проекта (отмена промежуточных результатов, многочисленные заявления о «накрутках», «ботах» и хакерских атаках), позволили создать у части аудитории представление о том, что итоговые результаты были сфальсифицированы в угоду действующей власти [146, с. 60-61].

Параллельно высказываются и частично обоснованные, на наш взгляд, мнения, что позитивный социально-консолидирующий эффект реализации этого начинания был крайне ограниченным и, по сути, свёлся к попыткам конструирования и тиражирования официального исторического нарратива – в его предельно сжатой версии. Согласно таким оценкам проекта «Имя России», «его промежуточные результаты и окончательные итоги *предсказуемы с точки зрения пропагандиста, но не имеют значения ни для истории, ни для социологии*» [349].

Однако, нельзя не заметить, что в рамках этого проекта парадоксальным образом (в контексте многочисленных обвинений в политизации исторической памяти и пропагандистской направленности) прослеживалась тенденция деполитизации прошлого через очевидное государственное стремление кооптировать в официальный «исторический пантеон» деятелей культуры и науки, которые не вызывали бы острых идеологических разногласий.

Важным аспектом деятельности государства в сфере общероссийской коллективной памяти конца 2000-х – начала 2010-х годов стала *попытка институциональной организации и функциональной настройки* проводимой исторической политики [264]. Наиболее заметными шагами в этом направлении являлись создание *Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации* [8] и Российского военно-исторического общества. Факт появления первой вызвал наиболее оживленные дискуссии в отечественном политологическом (и более широко – в социально-гуманитарном) дискурсе. Однако если отрицательное отношение к указанной институциональной новации объяснялось эмоциональными, идеологически детерминированными мотивами, то широкий спектр неопределенных, сдержанных оценок заслуживает серьезного научного внимания. Их обобщение позволяет выделить пять основополагающих смысловых линий критики Комиссии:

- слабая проработка механизмов воздействия Комиссии на процессы кристаллизации общероссийского пространства исторической памяти, изначально подчеркиваемый приоритет внешнего контура над внутренними задачами (собственно, что вытекало из названия данной структуры);

- расплывчатость вопроса о критериях «исторической правды»: кто и на каких основаниях будет решать вопрос о достоверности или фальсификации научного контента? Особенно, при условии, если он преимущественно состоит из субъективных интерпретаций, эмоционально окрашенных оценок, авторских предположений;

- наличие в указе о создании комиссии существенной ремарки «в ущерб интересам Российской Федерации» [8]. Это породило множество как содержательных (например, в чем состоят интересы России в сфере исторической памяти?), так и этических вопросов (допустимы ли политизированные исторические интерпретации в целях защиты национальных интересов России?);

– политико-административный подход к формированию персонального состава Комиссии: ведущие роли в ней заняли государственные служащие высокого ранга;

– сложность и комплексный характер первоочередной задачи, возложенной на Комиссию, которая заключалась в выработке «стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России» [264]. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что указанная задача представляется крайне трудной и не могла быть оперативно решена в тех условиях.

Очевидно, именно последнее обстоятельство в сочетании с дефицитом (на тот момент – начало 2010-х годов) эффективных технологий противодействия историческим фальсификациям и критическим откликом некоторой части научного сообщества предопределило её ликвидацию в 2012 году.

Рассматривая деятельность государства по упорядочиванию сферы исторического образования, следует, прежде всего, обратиться к такой теме, как дискуссии по вопросу о необходимости создания «единого учебника истории», которые активизировались в 2013 году. Они были инициированы президентом В.В. Путиным в ходе прямой линии 25 апреля 2013 года, где он подчеркнул важность целостного подхода к преподаванию отечественной истории на основе принципов её непрерывности и уважения к различным эпохам российского прошлого. Министр культуры России В.Р. Мединский, оценивая данное предложение, отметил: «никакой линейки учебников истории быть не может. Их должно быть всего два: для общей школы и для школы с углубленным изучением гуманитарных наук. За линейкой уследить невозможно. Мы же хотим, чтобы у нас была одна страна, а не линейка стран...» [346].

Вместе с тем, и сама идея такого учебника, и его возможное содержание, сразу же подверглись критике со стороны ряда представителей

научно-экспертного сообщества. Например, шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Ю. Соколов высказал следующее мнение: «меня пугает идея единого одобренного учебника истории... Ученик обязан знать, что была опричнина, но он не должен быть обязан любить опричников. Нас же сейчас снова обязуют кого-то непременно любить, а кого-то непременно поносить» [353].

В результате идея внедрения «единого» учебника истории в образовательное пространство России, несмотря на свои очевидные преимущества (например, синхронизацию учебного процесса, что упрощало бы переход ученика из одной школы в другую) не была реализована. Представляется, что это связано с рядом серьезных причин, среди которых особо выделяются:

- изначально негативный резонанс, который вызвала перспектива открытого вмешательства «сверху» в содержание (заметим, речь идёт не об институциональной организации, упорядочивании и выработке приоритетов, а именно о желании трактовать отдельные исторические события) школьного исторического образования;

- сохраняющиеся идейно-политические разногласия в научном и экспертном сообществах, которые носят весьма острый характер и фактически блокируют выработку конвенциональных версий многих значимых событий недавнего прошлого.

*Государственная политика памяти в 2014-2021 гг.: эмоциональная мобилизация и ситуативное реагирование.*

Принципиально новые элементы государственной политики памяти можно проследить, начиная с 2014 года – в ходе *мобилизационно-инерционного этапа трансформации российской национально-государственной идентичности.*

Немаловажно, что само начало этого этапа было сопряжено с актуализацией политики памяти как наиболее действенного инструмента

внутриполитической легитимации вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Можно заметить, что исторические реминисценции стали вторым по значимости легитимирующим звеном произошедшего в официальном дискурсе власти после формально-юридического и гуманитарного объяснения (право наций на самоопределение, закрепленное Уставом ООН; «воля народа», «в условиях антиконституционного переворота в Киеве» и т.д.).

Показательно и то, что такие апелляции к общероссийской исторической памяти оказались эффективными и в контексте конструирования неоимперского профиля российской идентичности (поскольку легко вписывались в паттерны имперского сознания, где центральное место занимают «собрание земель» – территория как терминальная политическая ценность), и с точки зрения прагматических политических задач – через выстраивание *кросс-темпоральных персонализированных параллелей*, вызывающих позитивные ассоциации в российском обществе.

Следует отметить, что механизм выстраивания кросс-темпоральных персонализированных и событийных параллелей имманентно присущ массовому сознанию и активно функционировал и в более ранние периоды. Так, в 2000-е годы неоднократно наблюдались попытки провести аналогию между В.В. Путиным и И.В. Сталиным; «лихие девяностые» стали интерпретироваться в рамках реминисценций Смутного времени.

Более того, в 1990-е годы отечественный политический дискурс также был наполнен множеством негативных аналогий с эпохой Смуты, которые отчетливо прослеживались в семантическом поле («семибанкирщина», «царь Борис»). Их востребованность еще раз свидетельствует о важности механизма стереотипии в формировании массовых политических представлений.

Важно подчеркнуть, что указанные аналогии (даже без непосредственного государственного вмешательства) были

инкорпорированы в пространство российского публично-политического дискурса и получили в нём активное развитие, наглядным примером чему является рисунок 18.



Источник: [378].

Рисунок 18 - Использование кросс-темпоральных персонализированных аналогий для исторической легитимации вхождения Крыма в состав России в 2014 году

Детализируя специфику государственной политики памяти в 2014-2021 гг., можно выделить четыре основные тенденции её трансформации.

*Первая тенденция* – это *интенсификация* (по сравнению с предшествующим этапом) *попыток макроисторической легитимации* и, в какой-то мере, мемориализации сложившейся политической конфигурации. Их содержание часто сводилось к иллюстрации если не стержневой роли, то безусловной значимости «эпохи Путина» и «путинизма» (в различных его трактовках) в многовековой исторической традиции России. Такие подходы, как правило, опирались и на упомянутый выше механизм конструирования исторических аналогий («государство Петра – «государство Ленина» – «государство Путина», призванное быть «долгим» [335]), и на



предельно редуцированные схемы интерпретации существующей социальной реальности, основанные на эксплуатации такой массовой эмоции, как страх перед неопределенностью будущего.

*Вторая тенденция* – активизация деятельности государства в сфере символических и монументальных практик, в том числе, и в уже упомянутом контексте легитимации проводимой государственной политики. Так, к числу легитимирующих государственно-политических решений в сфере исторической памяти можно, например, отнести включение в число памятных дат 19 апреля 1783 года – Дня вхождения Крыма и Кубани в состав России, принятое в 2018 году [4].

Помимо этого, в 2014-2021 гг. более выраженные очертания приняла *монументальная политика власти*. Среди наиболее заметных действий в данной сфере, вызвавших общественный резонанс, следует назвать открытие памятника Владимиру Великому в Москве 4 ноября 2016 года и памятника Ивану Грозному в Орле в октябре 2016 года. Если первое мемориальное событие вызвало в целом нейтральную общественную реакцию, хотя и со ссылкой на очевидные исторические параллели (заметим, что и сам князь Владимир, именуемый ранее «красно солнышко» и «святой»), превратился в официальном историческом дискурсе в «крестителя» и даже «великого»), то неформальная историческая реабилитация Ивана Грозного – пусть и на региональном уровне – сопровождалась всплеском конфликтных оценок.

*Персоналистско-мемориальная линия* государственной политики памяти продолжала сохраняться и в российском кинематографе: её олицетворяли фильмы «Великая» (2015 г.), «София» (2016 г.), «Демон революции» (2017-2018 гг.), «Годунов» (2018-2019 гг.). При этом симптоматично, что акцент целенаправленно делался как на известных, в целом, конвенциональных фигурах прошлого, так и на «втором эшелоне» отечественной исторической памяти – персонажах, не вызывающих острых идеологических разногласий, но, безусловно, противоречивых с точки зрения исторических оценок и недостаточно рельефно представленных в массовом

сознании. Однако, начиная с 2018 года, власть в диалоге с обществом нередко возвращается к тактике моратория на коммеморативные практики: отказа от инициации и, тем более, реализации политических решений в сфере исторической памяти. Характерный пример – общественное обсуждение целесообразности установки памятника той или иной знаковой исторической личности на Лубянской площади в Москве, проходившее в формате онлайн-голосования на портале «Активный гражданин» в феврале 2021 года. Оно завершилось решением С.С. Собянина прервать опрос 26 февраля 2021 года – уже на второй день его проведения [389].

*Третья тенденция* связана с продолжающимся реактивным реагированием на всплески «войн памяти» – внутрироссийских и на постсоветском пространстве (в частности, следует упомянуть так называемый «черкесский вопрос», присутствующий в публичном пространстве). При этом заметим, что речь идёт не о формулировании институционального (например, через создание структуры, отвечающей за формирование общенационального пространства памяти) или развернутого смыслового (посредством модификации и расширения официального исторического нарратива) ответа на «исторические атаки», а об инструментальном стремлении конвертировать образ «исторического врага» в собственный политико-символический капитал. Естественно, такие практики неизбежно приводят к постепенной негативизации национально-государственной идентичности (хотя этот процесс не носит пока радикального характера), усиливают её зависимость от образа «значимых других».

*Четвертая тенденция*, которую можно диагностировать в структуре государственной политики памяти, также является продолжением аналогичных практик более раннего периода. Она связана с вопросами институционализации и функциональной настройки разнонаправленной деятельности властных и общественных институтов в пространстве исторической памяти.

Так, на рубеже 2010-х – 2020-х годов, в российском публично-политическом поле вновь активизировались дискуссии о необходимости формального закрепления ценностных оснований российской идентичности: тех традиционных духовно-нравственных ориентиров, на которые должно опираться российское государство в своей деятельности. Результатом этих дебатов и стала концептуализация указанной идеи в виде проекта Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который был размещен на сайте Министерства культуры России уже в январе 2022 года [30]. По нашему мнению, в данном случае крайне важным может рассматриваться то, что акцент сделан на максимально широкое и ёмкое понимание социально-политических ценностей, цементирующих исторический фундамент российской государственности в XXI столетии, а также на обеспечение их конкурентоспособности и воспроизводства в условиях глобальных информационно-психологических и социокультурных вызовов современности.

Отдельно необходимо сказать и о том, что, несмотря на попытки, предпринятые ранее, в 2014-2021 гг. институциональный профиль государственной политики памяти не получил должного развития. При том, что такие общественные структуры, как, например, Российское военно-историческое общество, продолжали свою деятельность, государство не предпринимало явных попыток дальнейшей институционализации этой сферы. Справедливо полагать, что такая линия поведения может быть, отчасти, обусловлена и ожиданием негативной реакции в публичном дискурсе (особенно, в тех его сегментах, которые весьма сдержанно относятся к присутствию власти в пространстве исторической памяти). Помимо этого, сдержанный подход государства к задаче институционального оформления российского пространства памяти может быть вызван также и тем обстоятельством, что отдельные её исторические инициативы нередко

приобретают инерционную форму и не всегда приводят к конкретным позитивным изменениям. Яркий пример такой инерционности – периодические всплески дискуссий по поводу «единого учебника истории», необходимость которого обсуждалась в публичном пространстве, начиная со второй половины 2000-х годов.

Тем не менее, нельзя не отметить, что в создавшейся ситуации существенный круг государственных задач по формированию национально-государственной идентичности (в том числе и тех, которые соприкасаются с областью мемориальной памяти) взяли на себя структуры гражданского общества. Так, серьезного внимания заслуживает деятельность Общественной палаты Российской Федерации. Прежде всего, указанные вопросы лежат в сфере компетенции комиссий Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия (председатель – И.Я. Великанова); по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию (председатель – Е.Г. Родионова) и по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений (председатель – В.Ю. Зорин). Деятельность последней в наибольшей степени сфокусирована на решении конкретных проблем, связанных с выстраиванием конвенциональной модели национально-государственной идентичности в Российской Федерации. Согласно мнению председателя Комиссии В.Ю. Зорина, российское государство и общество смогли уйти от «фестивально-пожарного подхода» в национальной политике и способны решать задачи более высокого уровня [369, с. 82]. Представляется, что этот позитивный опыт не только позволяет более эффективно и комплексно воздействовать на динамику этнополитических процессов в России, но открывает дополнительные возможности внедрения наиболее продуктивных практик и наработок гражданского общества в сферу политики памяти.

Вместе с тем, безусловно, практики государственно-общественного сотрудничества в мемориальной сфере не ограничиваются деятельностью такого института, как Общественная палата Российской Федерации.

Например, сегодня широкий спектр вопросов, связанных с развитием и сохранением исторического наследия этносов, населяющих Российскую Федерацию, решают Конгресс национальных объединений России, созданный в 1994 году, и Ассамблея народов России (образована в 1998 году). В перечне приоритетных задач деятельности Ассамблеи выделяется следующая: «сохранение и развитие культур, традиций и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности» [33].

На наш взгляд, значительный управленческий потенциал, накопленный общественными организациями, работающими в сфере национальной политики, может быть конвертирован в многоступенчатую модель политики идентичности, которая будет носить не «вертикальный» характер (опираясь только на конструируемые государством нарративы и смыслы), а интегрирует в себя наиболее перспективные локальные и региональные практики. Таким образом, можно полагать что длительная и, в целом, позитивная активность гражданского общества в сфере формирования национально-государственной идентичности (и политики памяти – в частности), нуждается в дальнейшей переоценке с учетом возможностей последующей интеграции такого опыта в целостную систему государственной политики идентичности и политики памяти – как её ключевого направления.

*Государственная политика памяти в «путинскую эпоху»: мнения экспертов.*

Для комплексного понимания государственной политики памяти проводимой на современном этапе (начиная с 2000-2001 гг.), весьма показательным является широкой массив мнений, аккумулированных в ходе экспертного опроса *«Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы»*. Отдельный блок данного исследования был посвящен специфике эволюции государственной политики памяти в Российской Федерации.

Отвечая на вопрос *«Какое место занимает политика памяти в процессе формирования общероссийской идентичности? Как менялись её приоритеты в 2000-е годы? В 2010-е годы?»*, эксперты отметили три наиболее заметных трансформационных вектора, прослеживавшихся, по их мнению, в 2000-2010-е годы.

Первый можно охарактеризовать как нарастание *эффекта присутствия государства в сфере исторической памяти*. В его основе лежат близкие по сути ответы, что государство в начале «нулевых» наконец-то обозначило *«хоть какую-то осмысленную активность в сфере истории»*, *«вернулось к своей прямой обязанности вырабатывать и поддерживать память о прошлом в сознании людей»*, *«проявило заинтересованность историческими вопросами, хотя и не в той мере, в которой следовало бы»*, *«положило конец наиболее наглым попыткам вмешательства в нашу историческую память, её обесценивания»*, *«попыталось заполнить пустоту исторического сознания девяностых»*.

Второй вектор, который отметили более 20 % участников экспертного опроса – условно можно назвать *идеологическим* или, более узко, *антилиберальным*. Здесь были озвучены следующие комментарии: *«попытались порвать с идеологией девяностых, ельцинизмом, тотальным осуждением всего советского»*, *«отказались от вестернизации в её агрессивных формах и смогли по-новому и здраво взглянуть на прошлое, включая то, что было во времена СССР»*, *«поставили заслон исторической агрессии против России из вне»*, *«отказались от либерального очернительства, сделали ставку на патриотизм и независимое понимание прошлого, в центре которого лежит подлинная историческая память народа, а не фальшивки, насаждаемые нам другими»*, *«с приходом Путина произошла не только централизация власти, но и постепенное свёртывание либерализма во всех сферах, включая политику памяти и конструирование национальной идентичности. Упор был сделан на патриотизм, преемственность и целостное понимание образа прошлого. Такое*

*понимание... не исключает критики отдельных событий и людей, но противостоит попыткам сознательной и последовательной дискредитации истории нашей страны в целом».*

Третий трансформационный вектор, который особо выделили эксперты (более 40% участников опроса), – *инструментальный*. Суть большинства ответов сводилась к следующему: действующая власть активно использует исторические интерпретации в целях легитимации существующего политического порядка, пытаясь обосновать собственную ценностно-символическую связь с прошлым. Типичные комментарии экспертов, отметивших инструментальную составляющую как основную: *«стремятся использовать прошлое в своих интересах», «эксплуатируют идею сильной власти в её историческом контексте, чтобы оправдать нынешнюю политику», «апеллируют к истории, чтобы удержать власть и продемонстрировать, что они выражают подлинные исторические интересы и ценности, традиционно присущие России и её народу».*

При этом показательна *дифференциация мнений экспертов по поводу эффективности политики памяти*, проводимой российской властью в 2001-2021 гг. Большинство из них (более 30%) сводятся к тому, что *«пытались что-то делать, отчасти это выглядело эффективно, но целостную систему исторической политики создать не удалось», «Кремль сделал ставку на исторический консенсус и восстановление пространства памяти, были предприняты серьезные шаги в этом направлении, но все эти попытки столкнулись с кризисом смыслов и содержания».* При этом справедливо отмечалось, что *«не удалось выстроить государственную, ориентированную на общенародные интересы систему исторического образования, создать работающий институт памяти».*

Однако другие участники опроса (примерно 15% экспертов) отмечают следующее: *«политика (памяти) в тот период была достаточно эффективной, и в сфере целеполагания, и с точки зрения прекращения внутренних войн памяти», «первоначальные действия власти, связанные*

*с реконструкцией прошлого, выглядели продуктивно, но уже к 2010 году этот заряд был утрачен, всё сменилось сиюминутной деятельностью, в основном, на украинском направлении, в рамках внешней политики». Высказывается также мнение, что «политика была правильной в целом, но недостаточно последовательной, и не предполагала полный отказ от антисоветизма, реабилитацию советских ценностей». Более того, было озвучено мнение, что представители российской власти «после 2018 года вернулись к охаиванию СССР и всего, что с ним связано. Они просто завидуют популярности советского строя, которая только растет».*

Весьма симптоматично, что в целом, при обработке результатов экспертного опроса было выявлено превалирование слабых сторон над сильными – их упомянули 36 экспертов, в то время как сильные назвали только 18. При этом среди сильных сторон в той или иной семантике фигурирует наличие серьезного ценностно-мотивационного *потенциала реконструкции* коллективного исторического сознания в российском обществе («богатая история, на которую можно опираться для того, чтобы выстроить российскую гражданскую идентичность», «уникальное прошлое, заслуживающее внимания и уважения. О нём нужно и можно говорить, в том числе, и на уровне государства», «хорошая по мировым меркам система исторического и общественного образования, что позволяет не утратить образ прошлого» и т.д.).

К очевидным *слабым сторонам* государственной политики памяти на сегодняшнем, мобилизационно-инерционном этапе её реализации эксперты отнесли:

– концептуально-стратегическую лакуарность российской политики памяти (её упомянули 22 эксперта: «государство само не может понять, чего хочет, каковы приоритеты, кто – национальные герои, а кто нет»; «отсутствие четкого понимания целей», «нет системного подхода и видения, на каких исторических основаниях развивается Россия сегодня»);



– внутриэлитарные идейно-политические противоречия (11 экспертов). Наиболее развернутый ответ - *«создается впечатление, что по поводу истории имеет место борьба кланов, у одних либеральное и негативное видение всего нашего прошлого, особенно советского, у других – какие-то патриотические идеи, которые не всегда понятны»;*

– сохраняющийся низкий уровень функциональной проработанности и тенденцию управленческой дезорганизации в сфере исторической памяти (27 экспертов): *«отсутствие работоспособных механизмов и инструментов, которые позволили бы власти продвигать своё видение истории», «есть идеи и даже некоторый прообраз концепций российского прошлого, но нет инструментов их внедрения в массы, продвижения на международной арене»).*

*Подводя итог параграфа 5.1, можно констатировать, что государственная политика памяти в современной России в 1991-2021 гг. подверглась существенным трансформациям. Если в 1991-2000 гг. она носила отчетливый фрагментарно-конфликтный характер, в основе которого лежала её антисоветская направленность, то уже во второй половине 2000-х – начале 2010-х годов (через кратковременный «мораторий» на государственные оценки прошлого 2001-2004 гг.) она приобретает элементы системности, умеренно-позитивное смысловое наполнение и отчетливые конвенциональные черты. Указанные тенденции в целом получили продолжение и развитие в период «крымского консенсуса», но не были закреплены в 2018-2021 гг., когда деятельность государства в сфере конструирования целостного образа прошлого была частично заменена механизмом моратория и тактикой ситуативного событийного реагирования, всё более являющейся импульсивным ответом на проявления внешних «войн памяти».*

Однако при этом важно заметить и ряд устойчивых, наследуемых из 1990-х годов, дефектов государственной политики памяти: на протяжении всего периода её реализации она сохраняла такие свойства как слабость

институциональной организации и непоследовательность. Исключением, пожалуй, стал период 2005-2014 гг., когда государство попыталось предать собственным мемориальным практикам черты системности и долгосрочный характер. Однако в 2014-2021 гг. эти попытки не получили продолжения. Также необходимо констатировать, что в 2000-е годы произошел очевидный поворот государства от выраженной конфликтной доминанты восприятия прошлого (центральным элементом которой была антисоветская установка) к сдержанным его оценкам и реинтерпретациям. Такое изменение знаменовало отказ от инициирования внутренних «войн памяти» и стратегический курс на конструирование конвенциональной модели мемориальной политики.

## **5.2 Образ будущего в России: механизмы государственно-политического конструирования**

Следующим шагом проводимого исследования является анализ проблемных аспектов формирования образа будущего в Российской Федерации, а также осмысление политических механизмов, используемых для его целенаправленного конструирования со стороны государства.

Специфика трансформации образа будущего в политическом сознании российских граждан была рассмотрена в главе 4. В данном параграфе фокус исследовательского внимания смещен в сторону государственной деятельности по конструированию общероссийского образа будущего с учетом благоприятствующих, или наоборот, противодействующих этому тенденций эволюции массового сознания и политической системы России в целом.

На первом, *кризисно-конфликтном этапе* (1991-2000 гг.) наблюдалось отсутствие какой-либо системной государственной деятельности по конструированию общенационального образа будущего. Её слабой компенсацией служила усиленная критика прошлого и борьба

с демонизированным экзистенциальным «врагом» в лице политической оппозиции («коммунисты», «красно-коричневые», «национал-патриоты»). Апофеозом такого конъюнктурного подхода стали выборы Президента России в 1996 году, когда на первый план вышли *механизмы иррациональной субъектной атрибуции* (Ельцин равно будущее, Зюганов равно прошлое), мотивационной основой которых стала эмоция страха, активно продуцируемая действующей властью («купи еды в последний раз» и т.д.).

Безусловно, мобилизационная политическая технология «торговли страхом», подмена позитивного будущего постулатом, что «может быть еще хуже», была достаточно успешной в русле решения тактических задач, например, электорального характера (что понятно, хотя бы в силу того, что страх по своей природе – одно из самых сильных аффективных состояний). Но неизбежным её минусом было дальнейшее погружение общества в фрустрацию – в том числе, «уход» от будущего практически во всех его социальных проекциях, кроме предельно узкой витально-повседневной, направленной на обеспечение минимального «порога выживания» в краткосрочной перспективе.

Следующим моментом, олицетворяющим суть импульсивных попыток власти компенсировать отсутствие общенационального образа будущего, стала начавшаяся в 1994-1995 гг. более активная эксплуатация ностальгических настроений. Характерные примеры – возобновление военных парадов на Красной площади, а также создание Содружества суверенных республик (с ностальгической аббревиатурой ССР) России и Беларуси в 1996 году. Параллельно с этим генерирование и поддержание западно-центричных представлений о будущем («жить, как на Западе», войти в число «цивилизованных стран») утратило статус идеологической доминанты правящих элит, обратившихся к поиску «корней» в различных исторических эпохах российской государственности.

*Официальный дискурс будущего в 2001-2013 гг.: между «долгим настоящим» и социальной модернизацией.*

Существенные изменения в политике конструирования образа будущего произошли на реставрационно-модернизационном этапе (2001-2013 гг.). При всём многообразии отдельных практик в этой сфере, по нашему мнению, на первое место в инструментальном профиле «политики будущего» вышел симбиоз двух механизмов. Первый связан с *поиском властью общего ценностно-смыслового знаменателя-перспективы в его экспрессивном оформлении* («встали с колен», «мы должны сделать Россию единой, сильной» и т.д. – сентенции, которые в целом позитивно воспринимались подавляющим большинством граждан, несмотря на различие вторичных акцентов). Второй заключался в *содействии такому процессу, как позитивная экстраполяция настоящего в перспективу*. Последний был особенно актуален потому, что в тот период большинство россиян рассматривали будущее именно как проекцию настоящего и не были ориентированы на резкие изменения, пребывая в уверенности, что государство способно обеспечить умеренно-повышательный тренд развития [384]. В основе такой, в целом, позитивной *проекции-экстраполяции*, очевидно, лежали и заметный рост благосостояния в обществе, и контраст «путинской республики» образца 2000-2008 гг. со «слабой» властью 1990-х годов. И, что немаловажно – устойчивый властно-общественный консенсус, сложившийся в 2000-2003 гг. и сохранявшийся все первое десятилетие XXI века [323].

Тем не менее, в середине 2000-х годов государство, опираясь на возросшие социально-экономические ожидания населения, предприняло серьезную попытку концептуализации образа будущего (пусть и в его усеченном формате) в виде трех приоритетных национальных проектов – «Здоровье», «Образование» и «Жилье», озвученных Президентом России В.В. Путиным в 2006 году. Представляется, что указанная композиция была на тот момент адекватна массовым социально-политическим настроениям

и, в то же время, в полной мере соответствовала реставрационно-модернизационной логике выстраиваемой государственной политики идентичности. С одной стороны, речь шла о «сильном государстве» и активизации его традиционной патерналистской функции, с другой – о комплексной модернизации социальной сферы и росте качества жизни. Именно данные проекты стали прологом первого в постсоветской России концептуального документа, в котором шла речь о проектировании общенационального будущего – Стратегии-2020 [13]. Данный документ декларировал «возвращение России в число мировых экономических держав» и констатировал, что в России «преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, наблюдавшиеся в 90-е годы», а также «развиваются институты гражданского общества» [13].

При этом указывалось следующее: «стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)» [13]. Также декларировалось, что «достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия» [13].

Однако Стратегия-2020 явилась далеко не единственным начинанием того этапа, связанным с конструированием общенационального образа будущего. Важно отметить, что на рубеже 2000-2010-х годов, в период деятельности Д.А. Медведева на посту Президента России (2008-2012 гг.), российские научные и политические элиты сделали попытку оторваться от механизма повышательной проекции «дня сегодняшнего» и предложить развернутое инновационно-ориентированное видение контуров будущего. Главным образом, это выразилось в признании необходимости тотальной

институциональной модернизации российского общества, попытках разрыва с идеологическими концепциями «энергетической сверхдержавы» и «управляемой демократии», в констатации важности поиска новых форматов социально-экономического развития страны.

На наш взгляд, одну из наиболее проработанных моделей будущего в рамках модернизационной повестки дня попытались предложить аналитики (А. Гольц, Е. Гонтмахер, Б. Макаренко и др.) Института современного развития (далее – ИНСОП), подготовившие в 2010 году доклад «Россия XXI века: образ желаемого «завтра» [86]. Характеризуя настоящее как «тревожное», авторы доклада выдвинули тезис, что Россия «не может позволить еще один период безвременья, после которого страна окончательно успокоится на задворках цивилизации...Ей нужно совершить еще один модернизационный рывок, но сделать это предстоит в условиях, в которых слишком многое располагает к инерции и загниванию» [86, с.3]. При этом в докладе постулировались такие базовые принципы, как ненасилие над будущим, свобода выбора, замена паразитарно-распределительных ценностей творчески-производительными, осуществление дебиюрократизации экономики через «деэкономизацию бюрократии» и т.д. [86, с.10-15].

Вместе с тем доклад ИНСОП был воспринят политологами и экспертами крайне неоднозначно. Главная идеологическая претензия к нему состояла в наличии отчетливых ностальгических нот по отношению к «лихим девяностым». В связи с этим показательно, что один из разделов доклада назывался «Политическое будущее страны: назад к Конституции» [86, с. 12]. В нём завуалировано была обоснована необходимость демонтажа не только институциональных, но и ценностно-психологических оснований «вертикали власти», выстроенной в 2000-2008 гг.

Но, по нашему мнению, при анализе указанного доклада более существенными критическими аргументами являются:

– то, что декларации позитивных преобразований (например, «необходимое изменение в инновационной экономике и экономике инноваций заключается в создании условий, в которых корпорации гонятся за носителями знания и нематериальными активами, а не наоборот») не сопровождались детализацией механизмов их осуществления и часто сводились к структурным новациям (например, разукрупнить ФСБ, выделив из нее Федеральную службу охраны Конституции [86, с. 64]). Помимо этого отсутствие выверенных алгоритмов и четких количественных индикаторов достижения целей подменялось расплывчатыми формулировками (часто в прошедшем времени: «уже в десятые годы XXI века ... Россия заняла устойчивые позиции среди мировых экономических лидеров» [86, с. 48]);

– преобладание предложений по институциональному реформатированию системы государственного управления (характерный пример – инициатива по сокращению срока полномочий Президента России с 6 до 5 лет) над вопросами *качества жизни граждан*.

И хотя некоторые идеи, предлагаемые в докладе, были частично реализованы (такие, как создание национальной гвардии на базе внутренних войск МВД, возврат к прямым выборам глав регионов), данный интеллектуальный труд не обрел какой-либо нормативно-стратегической формы. И вполне ожидаемо не стал прологом концептуализации проблемы конструирования образа будущего на уровне государственной политики.

В целом справедливо отметить, что «модернизационный дискурс» 2008-2012 гг. в полной мере кристаллизовался лишь в сфере риторики правящих элит («свобода лучше, чем несвобода», четыре «и» и т.д.). Он не нашел своего продолжения в государственном стратегическом целеполагании и был фактически свернут властью после «болотных» событий 2011-2012 гг. Последнее особенно показательно в свете того, что, по мнению многих аналитиков, именно обновленческие сентенции власти стали одним из импульсов (наряду с ростом доходов граждан в 2000-е годы), породивших завышенные социально-политические ожидания в среде

frustrated achievers (тех, кого в 2011 году назовут «рассерженными горожанами») и в конечном счёте спровоцировавших волну массовых протестов.

*Мобилизационно-инерционный этап: между возвращением в «славное прошлое» и «приземлением» будущего.*

Ситуация с государственным конструированием образа будущего кардинально меняется на *мобилизационно-инерционном этапе формирования российской идентичности*, открывшемся после «крымского консенсуса» 2014 года. Причем изменения происходят и в массовом сознании, и в официальном «дискурсе будущего», который формирует государство. Последний, как и на рубеже 1990-2000-х годов, приобретает выраженные *конфликтно-мобилизационные черты*. Только сегодня в центральной роли «значимого другого», относительно которого проектируется «наше» – «иное, чем у них» – будущее, выступает не международный терроризм, стремящийся силовым путём разрушить территориальную целостность Российской Федерации, а «коллективный Запад», нацеленный на подрыв государственного суверенитета России (систематическое «вмешательство во внутренние дела» нашей страны) и стирание её национально-государственной идентичности.

Считаем важным зафиксировать и тот факт, что помимо мобилизационного компонента образа будущего в провластном политическом дискурсе 2014-2021 гг. инерционно присутствовала и социально-экономическая составляющая, унаследованная с конца 2000-х – начала 2010-х годов: «отказ от сырьевой модели экономики, «на смену нефти в России может прийти агрокомплекс и малый и средний бизнес» [372]. Но, тем не менее, следует признать, что такие идеи не могли оказать существенного влияния ни на текущую политическую ситуацию в стране, ни тем более – на инерцию восприятия будущего россиянами.



Определенной, хотя и мало заметной вехой в попытках власти конструировать образ будущего стало принятие Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [5]. Однако, предполагаемая государственная стратегия (получившая по аналогии с предыдущей название «Стратегия-2035»), разработка которой была поручена Министерству экономического развития России, так и не была представлена в качестве целостного документа, в котором образ будущего России обрел бы предметные позитивные очертания.

Вместе с тем, безусловно важной концептуальной составляющей конструирования общенационального образа будущего, его прагматической социально-экономической составляющей, явилась реанимация концепции национальных проектов, осуществленная в 2018-2020 гг.

Продолжением данной политики и, отчасти, её коррекцией в условиях начавшейся пандемии COVID-19 стал Указ Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который также ставил во главу угла качество жизни россиян. Так, среди индикаторов пяти национальных целей фигурируют «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года [12].

Говоря о несомненных плюсах данного подхода, следует отметить его системность и масштабность (14 предлагаемых национальных проектов покрывали фактически все значимые социально-экономические сферы, включая инновационные направления – «экология», «цифровая экономика» – ранее не входившие в число стратегических государственных приоритетов). Не менее важно и то, что закономерный акцент был сделан, как и ранее, на качество жизни граждан (направление «человеческий капитал»), обеспечение социального комфорта и модернизацию инфраструктуры [12].

На наш взгляд, при всей своей значимости, системности и высокой степени проработанности (включая вполне верифицируемые количественные индикаторы) национальные проекты-2018, равно как и национальные цели

развития, продекларированные в 2020 году, не претендуют на то, чтобы стать концептуальной платформой структуризации целостного и позитивного по своему эмоциональному наполнению образа будущего – хотя бы в его контурном виде.

По нашему мнению, это связано с несколькими основополагающими причинами:

– избыточной детализацией с точки зрения повседневного, не профессионального массового восприятия и *слабым конвертационным потенциалом*: то есть, связь между «государством» как субъектом политико-экономической деятельности и «человеком», его качеством жизни, во многих проектах прослеживается опосредованно и подменяется количественными макроэкономическими показателями;

– низким уровнем доверия различных сегментов российского общества к государству и его всевозможным стратегическим инициативам, что подкрепляется опытом не вполне удачной реализации более ранних подобных концепций («Стратегия-2020» и т.д.);

– текущей макроэкономической и политической динамикой. Первая носит всё более отчетливый негативный характер; вторая – приобрела выраженную конфликтно-депрессивную тональность, в том числе, и при активном содействии государства.

Также можно заметить, что в 2020-2021 гг. на официальном уровне стала эпизодически проявляться тактика фрагментации («измельчения») представлений о будущем. Например, В.В. Путин, выступая на предвыборном съезде партии «Единая Россия» 24 августа 2021 года, заявил: «крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей — по сути, и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно» [379]. Указанное заявление свидетельствует, на наш взгляд, о частичном моратории государства на проектирование развернутого, *именно общенационального* образа будущего. Очевидно, что идея семьи как стржевого компонента представлений россиян о будущем,

будучи позитивной по своему изначальному содержанию, всё же лишена мощного консолидирующего макрополитического потенциала. Это обусловлено тем, что она имеет лишь опосредованное отношение к стратегическим целям России как единого национально-государственного образования и субъекта мировой политики. По существу она переводит проблему конструирования образа будущего из сферы государственной политики в микросоциальную и индивидуальную плоскость.

*Контуры образа будущего в посланиях Президента России.*

В свете анализа государственной политики конструирования образа будущего существенный интерес представляют послания Президента Российской Федерации (1994-2021 гг.), эволюция их содержания и основных акцентов.

Важно заметить, что в посланиях Президента 1994-1995 гг. доминировала текущая повестка дня. Был обозначен также политико-трансформационный вектор «движения к будущему», который, однако, был представлен не детально, а, скорее, в обобщенной императивной форме. Например, в первом послании Президента (24 февраля 1994 года) говорилось следующее: «наша стратегическая цель – сделать Россию процветающей страной, в которой живут свободные люди, гордые своей древней историей и смело смотрящие в будущее; страной, в которой власть основана на праве и не подавляет гражданина; страной с эффективной экономикой» [16]. Б.Н. Ельцин отмечал *радикально-транзитный (трансформационный) характер* того политического времени: «Россия переходит из одной исторической эпохи в другую со скоростью, соизмеримой с жизнью одного поколения» [16]. И в то же время особо подчеркивалось недовольство Кремля темпами и результатами преобразований: «высокие темпы преобразований нередко приводят к издержкам ... Старая технология власти, основанная на идеологическом и политическом принуждении, с трудом сменяется современными методами и подходами» [16].

В целом же можно отметить, что в рассматриваемый период российское руководство фактически отказалось от формулирования долгосрочных приоритетов, которые имели какое-либо отношение к образу будущего. В этом плане крайне показательным послание Президента России от 16 февраля 1995 года, где в разделе «Экономический потенциал и будущее России» констатируется текущая кризисная ситуация, а также формулируются краткосрочные (на период не более 1-2 лет) макроэкономические задачи («пора начать стратегический структурный маневр» и т.д.). [17].

Указанная аморфность образа будущего была в полной мере характерна и для последующих посланий Б.Н. Ельцина (1996-1999 гг.), посвященных преимущественно констатации текущей сложной ситуации и постановке задач на ближайшую перспективу. Смена тех или иных концептуально-исторических интенций в посланиях носила реактивный характер – была обусловлена в большей степени необходимостью реагировать на негативную социально-политическую динамику, а также инструментальными соображениями. Так, например, в послании 1996 года (в преддверие выборов Президента России) упор был сделан на ретроспективу – критическую оценку советского опыта и недопустимость коммунистического «реванша», а в послании 1997 года – на необходимость «наведения порядка в стране» [18]. При этом активно использовался такой коммуникативно-психологический приём, как «измельчение» проблемы: будущее (равно как и настоящее) представало в посланиях как «бесконечное множество» разноуровневых и краткосрочных задач (помощь сельскому хозяйству, борьба с «двойными стандартами» на международной арене, отказ от директивного подхода в государственном управлении и т.д.), из которых не складывалось хотя бы приблизительного представления о желаемой и ожидаемой картинах будущего.

Принципиально иной «дискурс будущего» прослеживается в посланиях В.В. Путина Федеральному собранию, озвученных в 2000-2007 гг.

При этом в своем первом послании (8 июля 2000 года) он признал отсутствие в России не только массово разделяемого, но и контурного, желаемого образа будущего: «главное – понять, в какую Россию мы верим и какой хотим мы эту Россию видеть» [19]. Примечательно, что В.В. Путин периодически и в дальнейшем обращался к проблеме расплывчатости представлений о будущем. В Послании-2007 он сказал: «у каждого из нас свои представления о том, какие должны быть эти перемены» [22].

Прежде всего, основной упор делается на полноценное восстановление эффективности государства – соблюдение законов и «порядок» как отправные точки, без опоры на которые не возможно дальнейшее существование государственности: «в России наступает период, когда власть обретает моральное право требовать соблюдения установленных государством норм» [19]. В дальнейших посланиях все более существенное место начинает занимать рациональный *социально-преобразовательный мотив* – обеспечение благосостояния граждан, первичность которого перед иными политическим ценностями и ориентирами была отчетливо продекларирована в послании-2002. В нем была фактически выстроена иерархия средне- и долгосрочных приоритетов государства: «демократическое развитие России, становление цивилизованного рынка и правового государства. И самое главное – повышение уровня жизни нашего народа» [20].

Также в посланиях Президента эпизодически прослеживается установка на социально-экономическую модернизацию, всё более активно поднимается вопрос о необходимости повышения роли России в мировой политике. Вместе с тем, начиная с 2005 года, в них начинают вырисовываться и патерналистские интенции, сопряженные с идеей социальной справедливости, функцией государства как эффективного регулятора экономических процессов [21].

Определенное изменение тональности посланий Президента России наблюдается в 2008-2011 гг. Д.А. Медведев уделял особое внимание

социально-модернизационной повестке как наиболее значимой для общества. При этом впервые с начала 2000-х годов были выразительно обозначены и условно «либеральные» трансформационные интенции – важность таких ценностей и принципов, как демократия, экономическая конкуренция, минимизация административного давления на различные сферы жизнедеятельности граждан (включая политическую). Указывалось, что «в XXI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии» [23].

В посланиях 2012-2016 гг. В.В. Путин вновь возвращается к сочетанию патерналистских и модернизационных элементов, а также важности сохранения общенациональной консолидации в конструировании контурного «прообраза будущего». Так в обращении 12 декабря 2012 года – первом после его возвращения на должность Президента – исторический период 2000-2011 гг. был определен как восстановительный, де факто связанный с реставрацией государственности в широком понимании этого слова, а стратегическая перспективная задача определялась как создание «богатой и благополучной» России [24]. В дальнейшем, начиная с 2014 года, можно зафиксировать резкое усиление такого мотива в оценке будущего, как защита национального суверенитета – внешнеполитического и внутреннего, технологического, право России самостоятельно определять свой исторический путь и, исходя из этого, реагировать на внешние вызовы [25; 26].

Отдельный важный раздел анализа государственно-управленческих практик в сфере конструирования образа будущего связан с содержанием посланий Президента Федеральному собранию Российской Федерации, которые были озвучены в 2018-2021 гг. Прежде всего, следует отметить, что говоря о будущем в 2018-2019 гг., Президент России вновь заострял внимание на функции социального государства, качестве жизни и, в особенности, демографической политике. В частности, в послании,

озвученном 1 марта 2018 года, В.В. Путин сказал: «с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это» [26].

В послании 2019 года именно поддержка семьи была объявлена стратегическим общенациональным приоритетом: «для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. *Это вопрос нашего будущего*» [27]. Помимо этого, были озвучены и ряд вопросов, связанных с инновационным развитием страны: внедрение цифровых технологий, улучшение инвестиционного климата, модернизация транспортной инфраструктуры.

Весьма выразительным в плане конструирования контуров национально-государственного будущего выглядит послание Президента В.В. Путина, озвученное 15 января 2020 года, в котором была выдвинута идея конституционной реформы. Прежде всего, глава государства констатировал, что «сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия... Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием» [28]. При этом Президент четко очертил две фундаментальные составляющие, на которых должен зиждиться общенациональный образ будущего: это комплексная социальная политика, включая демографическую и экологическую сферы, а также опора на традиционные российские ценности, сохранение социально-политической стабильности и преемственности развития политической системы России, отказ от резких изменений и минимизация социальных рисков [28]. Ретроспективный акцент, ориентация на историческую преемственность, в целом сохранились и в

послании Президента 2021 года. Однако в нём также прослеживалась четкая линия на выстраивание представлений о будущем вокруг идеи повышения качества жизни и социально ответственного государства: «наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет» [29].

Обобщая содержание посланий Президента России Федеральному собранию (1994 - 2021 гг.), можно выделить пять групп мотивационных интенций, вокруг которых конституируются предлагаемые в них контуры национально-государственного будущего. Указанные интенции, отраженные в таблице 35, позволяют очертить траекторию эволюции смысловых линий государственного конструирования образа будущего.

Таблица 35 – Контурсы образа будущего в посланиях Президента России (1994-2021 гг.): ценностно-мотивационные основания выстраивания

Мотив	Основные интенции
<i>Трансформационный:</i> невозможность «жить, как раньше»	демократия, права человека, отказ от советских методов управления, конкуренция
<i>Консолидационно-реставрационный</i>	единство, восстановление государства, преодоление кризиса 1990-х годов
<i>Социально-преобразовательный:</i> качество жизни граждан	демография, продолжительность жизни
<i>Государственно-патерналистский:</i> социальная защита со стороны государства	поддержка многодетных семей, опора на традиционные ценности: «уважение к старшим поколениям», «нравственный каркас»
<i>Модернизационный:</i> «запрос на перемены»	цифровизация, новые технологии развитие инфраструктуры

Источник: составлено автором по материалам [16-29].

Можно констатировать, что в посланиях Президента России Федеральному собранию рельефно прослеживаются контуры *систематизированного и позитивного образа будущего*, который государство может предложить гражданам. Они выстроены на основе тесного симбиоза трех составляющих: ориентации на повышение качества



жизни россиян; опоры на доминирующую роль государства в реализации социальной политики и традиционные социальные ценности (прежде всего, семью); и в меньшей степени – *модернизационные интенции*, связанные с цифровой трансформацией российского социума и необходимостью обновления инфраструктуры. Безусловно, указанный мотивационный фундамент коррелирует с социально-политическими установками и ожиданиями россиян, является адекватным вызовам, стоящим перед Россией сегодня и в стратегической перспективе. Однако по-прежнему острой и нерешенной в полной мере является такая задача, как имплементация данных ценностных императивов в текущие практики государственного управления.

*Представления о будущем России сегодня: экспертные оценки и прогнозы.*

Можно отметить, что эксперты дают весьма пессимистические оценки по поводу совпадения желаемого и вероятного будущего России. Так, согласно данным опроса, проведенного Институтом национальных проектов (далее – ИНП) среди 137 членов экспертного совета при Правительстве Российской Федерации в 2017 году, 67% опрошенных хотели бы видеть Россию «лидером развития», но верят в реализацию такого сценария лишь 2-3%. Подавляющее большинство участников экспертного опроса (82%) склонились к варианту «догоняющее развитие» как наиболее вероятному, при том, что желают такого будущего также не более 2-3 %. Основываясь на полученных данных, аналитики ИНП делают однозначный вывод, что «желаемое для России будущее маловероятно» [327].

Как известно, в научном сообществе при оценках будущего России одно из ведущих мест занимает сценарный подход. Его использование предопределяет полифонию мнений и представлений о перспективах и вариантах развития страны: от позитивно-идеалистических – инновационного прорыва во всех значимых сферах и глобального лидерства, до «диких карт» – тяжелого кризиса и последующего распада. При этом

показательно, что в качестве наиболее вероятных анонсируются *умеренно-негативные инволюционные сценарии*, связанные с технологическим отставанием, ростом политической и этнорелигиозной конфликтности, усилением кризисных демографических тенденций [374]. По существу, такие представления о путях развития России и её месте в «постковидном» мире зиждутся на предельно эклектичной комбинации сюжетов, извлеченных из сценариев «осажденной крепости», «умной схватки» и «цифрового беспредела». Последний представляет собой виртуализированную версию «нового средневековья», вариацией которой в отечественном публичном дискурсе «пандемийной эпохи» стал «цифровой концлагерь».

Полагаем, что системообразующая проблема, которая прослеживается в сегодняшних интеллектуальных дискуссиях о будущем России – это не только чрезмерная размытость соответствующих представлений, но и акцент на *заведомо обобщенную* ценностную платформу. Приведем характерный пример такого проективизма: «неизбежной смысловой «упаковкой» для такого общества будут идеи *справедливости, традиционных ценностей, здоровой морали, добрососедства и соработничества* разных народов ... миссия русской цивилизации - сохранить, преумножить и *нести в мир* идеи справедливости и религиозную Истину» [233, с. 101-102].

Нетрудно заметить, что при всех своих позитивных посылах, подобный взгляд на будущее России потенциально конфликтен и в то же время аморфен. Последнее, по нашему мнению, более важно. В этом случае можно наблюдать следующий *парадокс политического сознания*: вполне объяснимые попытки найти общий ценностный знаменатель для российских граждан (например, в виде справедливости, релятивистски расшифровываемых «традиционных ценностей») наталкиваются на неизбежную аберрацию смыслов, их неоправданное расширение. Это в конечном итоге приводит к утрате когнитивного ядра и консолидирующего идентификационного потенциала (поскольку нужно признать, что

представления россиян о «справедливости» и, тем более, о «здоровой морали» крайне разнообразны и нередко противоположны).

Еще один момент, свойственный различным концепциям и «проектам» желаемого будущего, возникшим в постсоветское время – это присутствующая в них *гипертрофия* «значимого другого». Она проявляется через практически неизменную (за редким исключением) претензию на некую глобальную функцию – если не на геополитическую, то на идейно-мировоззренческую, понимаемую как призвание «нести в мир» набор собственных ценностей и идеологием, в том числе, через политический конфликт с другими центрами «мягкой силы». Поэтому дальнейшее продуктивное конструирование общенационального образа будущего неизбежно упирается в поиск баланса между прагматической и идеалистической (часто – мессианской) составляющими. Представляется, что решение этой задачи возможно лишь в рамках двух взаимосвязанных шагов, которые вытекают из самой природы образа будущего как такового.

*Первое* – это констатация приоритета внутренних целей перед «внешним контуром» национально-государственных задач, что неизбежно обострит дискуссии о геополитической идентичности и месте России на геополитической карте XXI века (лидерство, альтернативный центр силы в рамках новой биполярности, макрорегиональная держава, «третий путь» и реализация изоляционистской стратегии, поэтапная интеграция в обновленные структуры «коллективного Запада» [339] и т.д.). Более того, необходимо понимать, что указанные точки зрения, так или иначе, связаны с вопросом о имперском статусе российской государственности в разных её измерениях: и в геополитическом, и религиозно-мировоззренческом, и в интеллектуально-технологическом. Сегодня в политическом дискурсе России, если рассматривать его как нечто очерченное, представлены разные мнения: от ренессансных неоимперских версий российской идентичности до констатации того факта, что и у сегодняшней России, и у России будущего «нет сил» на империю. Например, в контексте последнего

понимания обоснованным выглядит мнение Г. Бовта, что «Советский Союз так долго «догонял» Америку, а потом постсоветская Россия взяла себе в качестве «маяка» сначала Португалию, а затем Германию, что пора уже, может, стать и самодостаточными. И равняться на то, как нам самим хорошо жить, а не на каком месте мы по размерам ВВП в мире» [386].

*Второе* – знаковым является то обстоятельство, что в отечественном политическом дискурсе, посвященном образу будущего, на протяжении практически всего постсоветского периода (с середины 1990-х годов) доминирующее положение занимает *ретроспективно-селективный принцип*. В наиболее рафинированном собирательном виде он звучит так: «где взять здоровые, правильные и красивые образы, которые нас спасут? Очевидно, что нужно обратиться к истокам, «русскости». Взять лучшее, что было в языческой и православной Руси (святой светлой Руси), Русском царстве, империи Романовых и Советском Союзе. К примеру, это земства Русского царства и Советы СССР. «Горизонталь власти», которая дополнит, оздоровит и укрепит «вертикаль» [338].

По нашему мнению существенно то, что в данном случае констатируется ключевая роль механизма позитивной селекции прошлого как первоосновы конструирования образа будущего. Но вместе с тем, не менее значимые факты, сдерживающие инструментальные возможности ретроспективно-селективного принципа конструирования общероссийского образа будущего, состоят в следующем:

- в российском обществе нет консенсуса по многим важным историческим событиям (иными словами, не понятно, что конкретно является «лучшим», которое необходимо взять из прошлого в будущее);

- постоянная апелляция к национальному прошлому (и «славному», и «стыдному»), которая имеет место быть и в провластном, и в оппозиционном сегментах, не снимает негативных политико-психологических эффектов «унылого настоящего», не способна заменить стратегического целеполагания в области перспективного проектирования.

Закономерно то, что сегодня звучат и весьма резкие оценки роли государства как субъекта конструирования образа будущего, который был бы приемлемым для большинства граждан. Характеризуя сегодняшнюю ситуацию с конструированием образа будущего России, политолог И. Гращенко замечает, что «российской власти вновь повезло» в том плане, что пандемия COVID-19 ознаменовала не только своеобразный – далеко не либеральный – «конец истории» в его глобальном измерении, но и психологически способствовала сжатию временных горизонтов восприятия: и повседневного, и политического [325].

В целом можно согласиться с мнением, что неопределенность и турбулентность «дня сегодняшнего» способствуют не только тотальному разочарованию во всех предыдущих концепциях «России будущего» – и оппозиционной, и декларируемой правящими элитами – но и что более важно, известному «обнулению» всяких перспективных политических ожиданий. Будущее перестает быть объектом притязаний и экстраполяций (утверждение «завтра будет лучше/хуже, чем вчера» редуцируется до зыбкой веры в то, что «завтра будет...»). В этих условиях может сработать психологический эффект «чистого листа» – необходимость государства отвечать на социально-политические запросы общества, фактически генерируя принципиально новый образ будущего «с нуля».

*В заключение параграфа 5.2 можно сделать ряд выводов. Во-первых, на кризисно-конфликтном этапе формирования российской национально-государственной идентичности (1991-2000 гг.) государственная политика по конструированию образа будущего отсутствовала. Более того, не осуществлялось даже попыток очертить какие-либо контуры будущего. Если в 1991-1994 гг. их эмоциональной компенсацией, лишенной каких-либо когнитивных оснований, выступал эфемерный позитивный образ западного образа жизни, то во второй половине 1990-х годов всё большее место в деятельности власти стал занимать механизм продуцирования страха перед*

советским прошлым в целях сохранения status quo существующей политической конфигурации.

Во-вторых, на реставрационно-модернизационном этапе формирования российской национально-государственной идентичности (2001-2013 гг.) на первый план среди политико-психологических механизмов, используемых властью в целях проектирования будущего, вышли поддержка позитивной экстраполяции текущего опыта (что представлялось адекватным в условиях экономического роста 2001-2007 гг. и соответствующих позитивных ожиданий населения), акцент на расширенно трактуемые, обобщающие традиционные ценности (сильная власть, справедливость, статус великой державы) и целенаправленная активация патерналистских установок социально-экономической направленности.

В-третьих, на мобилизационно-инерционном этапе государственная политика конструирования образа будущего приобрела эклектичный характер, сочетая в себе идеи социального государства и акцент на подмену общенациональных представлений о будущем индивидуальными и микросоциальными.

Однако указанные властные интенции столкнулись с такими системными препятствиями, как снижение уровня жизни значительной части российских граждан и всё возрастающий темпоральный дисбаланс государственной политики идентичности – её фокусирующая ретроспективная направленность.

### **5.3 Государственная политика идентичности в России: потенциал оптимизации**

Важным вопросом является диагностика основных направлений оптимизации государственной политики идентичности в Российской Федерации. По нашему мнению, анализ проблем её реализации

на современном этапе, проведенный в параграфах 5.1 и 5.2, позволяет выделить четыре базовых вектора такой деятельности.

*Первый вектор* связан с совершенствованием *нормативных, институциональных и стратегических оснований* государственной политики идентичности в России, первоочередными задачами её концептуализации и соответствующего институционального форматирования. *Второй вектор – функциональный* – определяется необходимостью модернизации информационной, образовательной, культурной и молодежной политики, выработкой новых их форматов. *Третий вектор*, о котором следует сказать особо – это производство общенациональных политических смыслов и символическая политика (в рамках цели формирования национально-государственной идентичности), расширение и системная когнитивная поддержка «символического пантеона» российской государственности. *Четвертый*, по нашему мнению, наиболее сложный вектор – это государственная политика по целенаправленному формированию *общенационального образа будущего* в политическом сознании российских граждан.

*Институционально-стратегический вектор модернизации государственной политики идентичности в России.*

Оптимизация институционально-нормативной составляющей политики идентичности в Российской Федерации может также рассматриваться в ряду значимых государственно-управленческих задач.

Можно заметить, что сегодня сложилась во многом дисфункциональная ситуация, когда отсутствие очевидного государственного «мозгового центра» в данной сфере только отчасти компенсируется нечетким и неформальным распределением функций. Так, за элементы стратегического целеполагания отвечает Администрация Президента России, за конструирование соответствующего «контента» – исторических нарративов – главным образом, Российское военно-

историческое общество, в меньшей степени – ряд других общественных организаций (например, Русское географическое общество – в плане формирования территориального образа России) и экспертно-аналитических центров. Отдельное место в системе государственной политики идентичности занимают такие федеральные органы власти, такие как Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Однако основополагающие нормативные документы, определяющие приоритеты их деятельности, в целом лишь опосредованно связаны с задачами формирования общероссийской идентичности.

С одной стороны, указанная структурная композиция может рассматриваться как потребность действующей власти во внутренней конкуренции идей. Но, как показывает проведенный анализ, в ходе такой деятельности «выпадает» целый ряд блоков политики идентичности. Наиболее яркий пример – конструирование образа будущего, за которое никто не несет ответственности – ни формально, ни фактически. В результате страдают концептуальные основания государственной политики идентичности в целом (не говоря об уже обозначенном выше ретроспективном уклоне политики идентичности в современной России). Поэтому важнейшим направлением работы в рамках конструирования стратегических институциональных оснований государственной политики идентичности в современной России является создание интеллектуального центра её развития, отчасти аналогичного институтам национальной памяти в странах Восточной Европы, но не *претендующего на монополию* в данной сфере, а также способного выработать эффективную стратегию и механизмы её реализации.

То есть, можно полностью согласиться с мнением М.А. Колерова, что «мы не обойдемся и не справимся с той задачей, которую нам навязывает



новый мир, если наше государство не создаст единый государственный институт исторической политики» [364].

Однако, при этом необходимо отметить и два базовых отличия предлагаемой институциональной новации от восточно-европейских практик. Во-первых, очевидно, что в рамках деятельности такого института акцент должен быть сделан не на агрессивное позиционирование государственной версии истории (фактически, навязывание определенных фрагментированных и часто искаженных представлений о прошлом, в центре которых – предельно негативный образ врага и так называемый «культ страдания»), а на изучение уже сложившихся в обществе – во многом стихийных – коммеморативных практик. Такой подход позволил бы не просто «продвигать» предлагаемые властью идентификационные установки, но и корректировать их, опираясь на результаты «обратной связи» с различными слоями российского общества. Очевидно, деятельность такого института не должна исчерпываться только конструированием образа прошлого – пространства коллективной памяти российских граждан (при всей её несомненной значимости).

Не менее сложная задача состоит в *выравнивании темпорального профиля «матрицы» российской идентичности*, преодолении избыточной ретроспективной направленности и актуализации ценностно-символических императивов образа будущего. Придерживаясь такого подхода, можно добиться известной рационализации профессиональных исторических и политических дискуссий о прошлом, поставив во главу угла вопросы: как политика памяти может способствовать консолидации российской нации?; какие исторические нарративы способствуют выстраиванию национально-гражданской модели идентичности в российском обществе, а какие, наоборот, провоцируют конфликты ?

Говоря о совершенствовании нормативной составляющей государственной политики идентичности, представляется необходимым обратиться к потенциалу, который заложен в действующей Стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации [9; 10]. Данная стратегия была разработана в рамках деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям под руководством М.М. Магомедова, В.А. Тишкова, В.Ю. Зорина, В.А. Михайлова при участии ведущих представителей экспертного сообщества. Как отметил В.Ю. Зорин, «в разработке проекта Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации мы исходили из того, что, во-первых, этот документ должен соответствовать новым политическим реалиям и современным вызовам - как внутренним, так и внешним, а во-вторых, это должен быть документ общественного согласия» [332].

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что именно укрепление общенационального единства и общероссийской гражданской идентичности были объявлены одним из (и первым в порядке перечисления) стратегических приоритетов: «укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)» [10]. При этом важно отметить, что в Стратегии, справедливо постулируется синтезный культурно-исторический взгляд на общероссийскую идентичность с учетом важности русского этнокультурного ядра в процессе государственного строительства. Подчеркивается, что она «основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который *основан на сохранении и развитии русской культуры и языка*, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации» [10].

Можно также отметить, что внесение изменений в первоначальную редакцию данной стратегии [8], где отсутствовало упоминание общероссийской идентичности, представляет собой еще один важный шаг в области проработки и совершенствования нормативного регулирования

политики идентичности как самостоятельного направления государственной политики Российской Федерации.

Более того, провозглашение общенационального единства в качестве главного приоритета ознаменовало собой осознанное и неизбежное дистанцирование от идейно-политических интенций концепции 1996 года, в которой преобладали иные акценты – развитие федерализма на основе увеличивающейся самостоятельности субъектов федерации и критика «тоталитарного» советского наследия, которое нанесло «тяжелый удар по всем народам страны, включая русский» [6].

Представляется, что принципиально значимым в рамках данной стратегии является именование «многонационального народа Российской Федерации» как российской нации – единой макрополитической и социокультурной общности, содержание которой определяется не только текущей гражданско-политической составляющей (и формальным статусом гражданина), а логикой исторического вызревания российской государственности, спецификой российского общества как полиэтничного и многоукладного пространства. При этом российская нация определяется как «сообщество свободных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием» [10].

По нашему мнению такой подход является крайне продуктивным в долгосрочной перспективе, поскольку, говоря о российской нации, её формировании, он не замыкает этот процесс исключительно на государство и его функции. Кристаллизация общероссийской идентичности, её конструирование трактуется как длительный и многофакторный процесс, протекающий при поддержке государства, а не как насаждение новых унифицирующих установок в ущерб уже сложившимся – этнокультурным, религиозным, ментальным.

Вместе с тем, внедрение в научный оборот такого, оправданного, на наш взгляд, термина как «российская нация» столкнулось с рядом

искусственных препятствий – серьезным противодействием со стороны некоторой части политологического сообщества. Это ярко проявилось в ходе дискуссий о возможности принятия соответствующего закона (с рабочим названием – «О российской нации»), развернувшихся в 2017 году. Считаем, что дальнейшая разработка и обсуждение указанной инициативы представляется одним из назревших шагов. Его важность очевидна не только с точки зрения модернизации государственной национальной политики, но и в контексте дальнейшей институционализации политики идентичности в Российской Федерации.

На сегодняшний день, пожалуй, главной проблемой реализации принципов, заложенных Стратегией государственной национальной политики России, является совершенствование функциональной составляющей этой политики, более активное взаимодействие с различными сегментами общества, поиск новых инструментов, адекватных сложившейся ситуации [32, с. 9].

Справедливо полагать, что следующий шаг, являющийся логическим продолжением предшествующих институциональных и нормативных преобразований, – это разработка соответствующей *стратегии формирования национально-государственной идентичности* (тем более, что укрепление общероссийской гражданской идентичности обозначено в качестве одной из целей государственной национальной политики России). Такая стратегия, как представляется, должна включать в себя *два горизонта планирования* – *долгосрочный* (7-10 лет, например, до 2030 года, и *сверхдолгосрочный* – ориентировочно до 2050 года).

Реализация такого подхода способна продемонстрировать, что государственная политика идентичности не только приобретает отчетливые признаки стратегии, но и не рассматривается более в конъюнктурном ключе – исключительно как сумма слабо взаимосвязанных тактических решений, часто не преследующих цели длительной национально-гражданской консолидации всех сегментов российского общества, а призванных

продолжить и хотя бы частично, через апелляции к «удобному» прошлому, обосновать существование текущей властно-политической конфигурации. Представляется, что предлагаемая стратегия формирования национально-государственной идентичности должна отвечать следующим критериям:

1) *структурная целостность*, предполагающая проработку как концептуальных основ политики идентичности, так и инструментальной составляющей её реализации;

2) *наличие весомого консолидационного потенциала* и минимальная внутренняя конфликтность, конгруэнтность политическому сознанию российских граждан (заметим, речь не идёт о политике моратория, призванной избегать «острых углов» прошлого);

3) *темпоральная сбалансированность*, предполагающая, что проблема формирования общенационального образа будущего будет рассматриваться не как второстепенная задача с неизменной ныне электоральной «привязкой», а в качестве одной из стратегических целей;

4) *композиционный характер*, что позволило бы не только «вписать» отдельные задачи в сложившуюся архитектуру государственного управления (распределив их по соответствующим отраслевым политикам и отвечающим за них ведомствам), но и активизировать государственно-общественное партнерство в этой сфере;

5) *адекватность и резистентность* как ныне существующим, так и прогнозируемым макрополитическим вызовам первой половины XXI столетия (информационного, культурно-психологического, религиозного, военного характера);

6) *адаптивность и наличие внутреннего потенциала коррекции*, что позволило бы вносить необходимые поправки в процессе реализации стратегии.

Однако, обращение к сверхдолгосрочным задачам политики идентичности (уходящим «за горизонт» жизненного цикла политико-

управленческой конфигурации, существующей сегодня в России) таит в себе угрозу, связанную, в том числе, и с кризисными тенденциями глобального характера (что переведёт всю систему государственного управления в реактивный режим). Прежде всего – с широким комплексом вызовов, обусловленных цифровой трансформацией и развитием когнитивных технологий (риск полномасштабной виртуализации исторической памяти и доминирования «постправды» в сознании масс).

*Функциональный вектор совершенствования государственной политики идентичности в России.*

Второй вектор модернизации государственной политики идентичности – её функциональная настройка и совершенствование инструментария её реализации.

На сегодняшний день в ситуации, когда набор инструментов, применяемых государством, весьма однотипен и заключен в рамках неравнозначной триады «СМИ – школа – учреждения культуры», представляется важным обратить особое внимание на такой механизм, как система общего исторического образования (которая сегодня является ведомственным сектором ответственности Минпросвещения). Полагаем, что в перспективе до 2030 года именно средняя школа (а не государственные телевизионные каналы, на которые продолжает делаться упор сегодня), должна рассматриваться как один из приоритетных институтов политической социализации и конструирования устойчивой (а не ситуативно обусловленной «дрейфующей») общероссийской идентичности. Но безусловно, школьное образование при этом будет испытывать острую и все возрастающую конкуренцию со стороны «виртуальной реальности», интенсивно формируемой социальными медиа интернета.

В силу этого представляется важным обеспечить последовательность и непрерывность изучения истории России как стержневого содержательного компонента вторичной политической социализации учащихся, что

подразумевает полный отказ от принципа дискретности, когда изучение отдельных периодов истории России прерывается во времени, например, курсом всемирной истории. Более продуктивным выглядит параллельный подход, когда курс мировой истории (начиная с истории Средних веков) служит естественным темпорально-событийным фоном и дополнением непрерывного изучения истории российской, а не автономен по отношению к ней. Такое обособление, по нашему мнению, не только ограничивает масштаб исторической картины мира, складывающейся у учащихся, но и приводит к утрате ощущения целостности исторического времени как такового и, в силу этого, автоматически редуцирует многомерный характер формируемого образа прошлого России, сводя его к некоторой «сумме фактов» – аксиоматической событийно-символической последовательности.

Можно полагать, что дополнительного внимания в рамках программ средней образовательной школы заслуживает и период кристаллизации российской государственности в XV – XVI веков, а также – в известной мере – макроисторический подход, когда в центре учебного процесса в старших классах оказывается не только хронология событий (что также безусловно важно) и тем более, не гипертрофированная фокусировка на отдельных персоналиях (это закладывает во многом упрощенную событийно-персоналистскую модель восприятия России и российской идентичности), а понимание специфики социально-исторического контекста, а также основных тенденций и внутренних противоречий конкретной эпохи (от Ивана Грозного и Петра I до современности).

Отдельный острый вопрос – необходимость и возможность обеспечения известной политической нейтральности при изучении школьниками новейшей (начиная с 2000-х годов) истории России. На наш взгляд, сегодня, в начале 2020-х годов, вполне приемлемой «точкой отсечения» выглядит десятилетняя ретроспектива, поскольку именно такой отрезок времени и представляет собой среднюю длину индивидуальной памяти 13-14-летних школьников (то есть, в реалиях 2021 года последняя

эпоха, поддающаяся взвешенным интерпретациям *именно* в рамках средней общеобразовательной школы – 2000-е годы). Таким образом, сохраняется и полномасштабное восприятие российской истории как темпорально-смысловой целостности, и минимизируется необходимость субъективной, во многом конъюнктурной оценки текущих политических событий и процессов.

*Смыслы и символы государственной политики идентичности: поиск «четырёх балансов».*

*Третий вектор* оптимизации государственной политики идентичности в Российской Федерации – *расширение смыслового наполнения и совершенствование символической политики*. Как уже было отмечено, в 2010-е годы власть периодически предпринимала подобные шаги, которые касались, прежде всего, «символического контента» идентичности (наиболее характерный пример – так и не доведенная до конца попытка «воскрешения» Ивана Великого в историческом сознании). Представляется, что такая деятельность, хотя и является востребованной, сталкивается с рядом естественных ограничений, которые могут быть проиллюстрированы необходимостью *поиска «четырёх балансов»*.

*Первый* из них – баланс между *когнитивной насыщенностью и эмоциональной выразительностью*. Он предполагает, что «фактологизация» образа прошлого, конструируемого на государственном уровне, утверждение непрерывности российской истории (минимизация в ней «белых пятен» и «тёмных веков») в рамках официального нарратива всё же не приведут к её «измельчению» – девальвации знаковых фигур и событий российского символического пантеона.

*Второй симбиотический баланс*, который предстоит выстроить в рамках государственной исторической политики России – *методологический и технологический*. Его суть определяется, главным образом, степенью совпадения (или расхождения) между официальным



историческим нарративом и сюжетами массового сознания, которое, как известно, аккумулирует и элементы социальной истории, включая стереотипы. Тем не менее, задача государства в этом случае – чётко определить пределы мифологизации и политизации исторических фактов, оценить позитивный символический потенциал внедрения тех или иных смысловых конструктов – имён, событий, интерпретаций – в российское пространство памяти.

Представляется, что, безусловно, наиболее привлекательными в данном ракурсе (с точки зрения общенациональной консолидирующей функции) выглядят менее политизированные фигуры деятелей культуры, науки и искусства, а также наиболее заметные политические и военные персоналии «давней» российской истории.

По нашему мнению, опыт отечественных исторических дискуссий показывает: условная темпоральная *«граница мифологизации»* (позволяющая безболезненно делать упор на позитивную составляющую прошлого) здесь проходит по 1812 году и в целом правлению Александра I. Начиная со времён «николаевской России», а тем более, с правления его сына и внука происходит резкая идеологизация и конфликтное преломление исторической памяти в политическом дискурсе современной России. Примером этому могут служить уже упомянутые дискуссии вокруг памятника Александру III, развернувшиеся в 2021 году. В то же время целый ряд, несомненно, знаковых фигур отечественной истории, обладающих консенсусным символическим потенциалом, по-прежнему остается на периферии и массовой памяти, и официального нарратива (например, Иван Великий, Василий Тёмный, патриарх Филарет, В.В. Голицын и П.А. Румянцев – в политике и военной истории; В.О. Ключевский, С.П. Королев, И.В. Курчатов – в науке).

*Третий баланс*, который предстоит найти в процессе совершенствования государственной политики идентичности, лежит в рамках дуальной оппозиции *«позитив – негатив»* – в поиске удобоваримого

сочетания условно «героического» и «трагического» компонентов в транслируемом историческом нарративе.

Важность поиска такого баланса постулирует А. Ассман. Она, размышляя о «кризисе будущего», отмечает, что «существует два вида прошлого. Героическое прошлое – пьедестал, который создает себе государство и общество, чтобы с его высоты казаться больше, красивее и лучше. С помощью пьедестала коллективный образ себя становится светлым. Другой вид прошлого – не героическое. Прошлое – это и открытая рана или чувство вины. Общество страдает, и многое в прошлом становится предметом *критического анализа*» [324]. Рассматривая практики политики памяти в современных Германии и России, А. Ассман делает обоснованное, на наш взгляд, заключение, что у этих двух стран «разный подход к исторической политике» [324]. Согласно её мнению, «в Российской Федерации установилась логика героизма по отношению к прошлому» [324].

Однако, считаем необходимым заметить, что дихотомия «героизм – страдание», безусловно, не представляется дискретной альтернативой: речь идёт именно об *эмоциональном балансе* в интерпретациях событий прошлого. По нашему мнению, фокусирование именно на позитивной (в семантике, используемой А. Ассман, – «героической») составляющей российской истории в дальнейшем не только обосновано с научной точки зрения (с позиций «чистоты» и беспристрастности исторического знания), но и более продуктивно в русле формирования именно конвенциональной модели российской национально-государственной идентичности.

Иной путь – концентрация преимущественно на общенациональных травмах – неизбежно подразумевает конструирование образа могущественного «врага» и целенаправленную актуализацию установок «негативной идентичности» со стороны государства. Такая тактика может быть эффективной в среднесрочной перспективе, как основа ситуативной социально-политической консолидации (например, при реализации политического сценария «осажденная крепость»), но неизбежно служит

катализатором внутренних деструктивных процессов и новых идентификационных расколов, приводит к доминированию «культу страдания» в обществе.

*Четвертый баланс*, о котором необходимо сказать особо, представляется наиболее сложным, злободневным и масштабным (поскольку, так или иначе, затрагивает всю более чем тысячелетнюю историю Руси – России). Он связан с *конструированием эмоциональной и символической преемственности* между дореволюционной Россией, символично-смысловым наследием СССР и современной Российской Федерацией. Более узко речь идёт об истории России XX века и отношении к советской эпохе в целом и её наиболее драматическим страницам 1917 – начала 1940-х годов (от Октябрьской революции до причин неудач Красной армии в 1941-1942 гг.). Сложность данного вопроса детерминируется, на наш взгляд, не столько остаточным по своей сути конфликтом между «красными» и «белыми» в российском обществе (согласимся с мнениями, что он во многом симулятивен и, безусловно, лишен рациональных оснований), сколько противоречиями между фрагментами социальной памяти и внутренне разбалансированной официальной версией советского прошлого, предлагаемой сегодня.

Можно полагать, что в данном случае более эффективным выглядит использование компромиссного фрейма при оценке тех или иных событий и личностей, несущих в себе мощный заряд политической конфликтности (гражданская война, коллективизация и «большой террор» 1930-х годов, Николай II, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев и т.д.), нежели продление неформального государственного моратория на их обсуждение. Тем более, что этот «обет молчания» со стороны власти выглядит предельно искусственно, ни коим образом не соблюдается в интернет-пространстве, и государство по этой причине проигрывает «войну памяти», многочисленным иным политическим акторам с их «альтернативной историей».

*Государственная политика идентичности и перспективы конструирования образа будущего.*

На сегодняшний день наиболее сложным и лакунарным выглядит *четвертый вектор* совершенствования государственной политики идентичности, связанный с *выработкой механизмов формирования общенационального образа будущего*. Полагаем, что сегодня потенциал оптимизации образа будущего в российском массовом сознании ограничен как минимум тремя базовыми факторами:

– эмоциональной перенасыщенностью российского информационного пространства, его высокой степенью агрессивности (шок-контент различного вида, от политического до бытового; «мировой экономической кризис», «пандемия», «новая нормальность» и прочие широко известные маркеры катастрофизации сознания). Следствием этого является то, что образ будущего, предлагаемый государством, будет сталкиваться не только с конкурентной (что неизбежно в условиях радикальной цифровой трансформации социума), но и *a priori* с деструктивной коммуникативной средой;

– обозначенной выше тенденцией социально-политической фрустрации российских граждан, их недоверия различным государственным инициативам, особенно тем, которые имеют масштабный стратегический характер;

– неизбежным гипердинамизмом массовых представлений о будущем: отсутствием возможности проектировать их в статическом разрезе (в отличии, например, от ряда мифологизированных сюжетов давнего прошлого).

Можно полагать, что главным препятствием реализации государственной политики конструирования образа будущего в современной России являются именно установки недоверия политическим институтам, базирующиеся, в том числе, и на негативных реминисценциях различных поколений россиян по отношению к «прообразам будущего», которые

декларировались властью ранее: от «нынешнее поколение будет жить при коммунизме» и «перестройки» до «догнать Португалию» (изначальная слабость данной сентенции состояла в том, что Португалия не воспринимается в российском массовом сознании как «значимый другой» и, тем более – как образец для подражания ) и «Стратегии -2020» [13].

Закономерно, что неудачи в реализации всех этих идей и начинаний способствовали выработке скептического отношения к таким инициативам сегодня. Они либо отторгаются в принципе, либо воспринимаются как один из множества элементов политтехнологического манипулирования, не имеющих ничего общего ни с комплексной модернизацией страны, ни с ростом благосостояния граждан, ни, тем более, с формированием гражданско-политической модели общероссийской идентичности.

Второе препятствие в проектировании образа будущего, о котором говорят исследователи и аналитики (экспертный опрос «*Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы*»), связано с его отсутствием среди российских политико-экономических элит, что в полной мере естественно для инерционной фазы трансформации политической системы. Представления о будущем, спорадически продуцируемые действующей властью в последнее десятилетие, в большинстве своём носят не только аморфный, но и эксклюзивный корпоративный (не связанный с интересами граждан России) характер. Или, в крайнем случае – узко сегментарную и/или реминисцентную направленность, слабо отвечающую реалиям начала третьего тысячелетия.

Поэтому справедливо полагать, что полномасштабная реализация государственных инициатив в рамках данного направления в 2020-е годы возможна только при сочетании четырех фундаментальных обстоятельств, далеко выходящих за пределы только политики идентичности как одного из направлений комплекса государственной политики:

– в случае преодоления укоренившегося в течение многих десятилетий, по существу, хронического недоверия между российским обществом и властью;

– при наличии масштабного «прообраза будущего» как целостного вертикально интегрированного конструкта в политическом сознании правящих элит;

– в условиях социально-экономической стабилизации и выхода на повышательный тренд роста благосостояния основной части населения;

– если предлагаемый образ будущего будет преимущественно релевантным индивидуальным и микросоциальным (на уровне отдельных социальных общностей) потребностям и представлениям граждан, а не автономизирован от них.

Первые два обстоятельства являются критически значимыми как в контексте оценки функционально-управленческой состоятельности политических элит, их способности генерировать устойчивую конвенциональную модель государственной политики идентичности (тем самым нивелируя эффекты «разорванной страны», о которой писал С. Хантингтон), так и системно демонстрировать элементы «экономического национализма» уже в его широком – общероссийском – понимании. Он, как представляется, сегодня должен проявляться в двух базовых моментах. Первый момент – это необходимость корректировки стратегий социально-экономической политики России в целях модернизации различных сфер жизнедеятельности общества. То есть, актуальным выглядит кардинальный пересмотр ряда существующих политико-управленческих подходов, в основе которых лежат принципы «энергетической сверхдержавы», ресурсно-ориентированная экономическая модель в сочетании с акцентом на импорт технологий и преимущественном размещении финансовых резервов (как государства, так и коммерческих структур с превалирующим государственным участием) в зарубежных юрисдикциях.

Второй – более сложный – момент обусловлен назревшей необходимостью хотя бы частичного преодоления бюджетных диспропорций в финансировании центром субъектов федерации, выработке универсальных критериев, определяющих параметры поддержки регионов из федерального бюджета и в то же время сохранении целевых программ, направленных на инфраструктурное развитие «регионов-реципиентов» с ограниченным внутренним экономическим потенциалом.

Тем не менее, серьезный *символический потенциал оптимизации* в сфере государственного конструирования образа будущего содержится в историческом наследии – и многовековом опыте «войн – смут - кризисов», которые российское государство, так или иначе, преодолевало, и относительно успешных примерах социально-политической модернизации разных масштабов в прошлом (от Ивана Великого до «первой путинской республики» 2000-х годов). Но необходимо понимать, что такой «исторический миф» может иметь позитивный эффект только в системе других, не менее значимых, императивов национально-государственной идентичности. То есть, он может рассматриваться как кристаллизованная на уровне коллективного «внесознательного» психологическая «стартовая площадка», но не как самодостаточный метасмысловой компонент государственного конструирования представлений об общенациональном будущем в XXI веке.

Справедливо полагать, что важным моментом проектирования общероссийского образа будущего является сообщение ему такого качества, как *многоуровневый интегрированный* характер. То, есть, он должен органично соединять в себе *сверхдолгосрочные*, по существу, лишенные темпоральных границ политические ценности и идею национально-государственной уникальности (разумеется, в её позитивном, а не конфликтном геополитическом измерении), масштабные и *долгосрочные стратегические смыслы* национально-государственной самоидентификации (ответ на вопрос об исторической траектории: «куда мы идём?»),

функциональные социально-ролевые моменты и *среднесрочное прагматическое преломление* этого процесса на микросоциальном и индивидуальном уровнях («какова моя роль как гражданина России в этом?», «в чем состоит польза для меня и моих близких?» и т.д.). Такой интегративный подход отражён на рисунке 19.



Источник: составлено автором.

Рисунок 19 – Четырехуровневая композиция интегративного национально-государственного образа будущего в России

Очевидно, учитывая многосоставный характер российской государственности, отдельное место в структуре конструируемого образа будущего должно быть отведено и субнациональному уровню идентичности («какова будет судьба моего этноса, народа, национальности, региона через...лет?»). В противном случае такая, искусственно редуцированная, гражданско-политическая модель общероссийской идентичности (если она будет нацелена на игнорирование этнического фактора или дистанцирована от прагматических потребностей граждан) окажется крайне неустойчивой, а в долгосрочной перспективе – и нежизнеспособной.



В таблице 36 суммированы ключевые задачи, которые необходимо решать в рамках каждого из рассмотренных выше направлений.

Таблица 36 – Магистральные направления совершенствования государственной политики идентичности в Российской Федерации (2022-2030 гг.)

Направление	Ключевые задачи	Основные препятствия реализации
1	2	3
Совершенствование нормативных и стратегических оснований	<ul style="list-style-type: none"> <li>– создание интеллектуального центра: Института национально-государственной идентичности;</li> <li>– разработка стратегии формирования национально-государственной идентичности в России</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– реактивный и дискретный характер государственной политики идентичности</li> </ul>
Функциональная настройка и оптимизация инструментария	<ul style="list-style-type: none"> <li>– перенос государственного акцента со СМИ на среднюю школу;</li> <li>– обеспечение непрерывного изучения истории России в рамках общего образования;</li> <li>– развитие цифровых платформ исторического образования</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– межведомственные противоречия;</li> <li>– низкий уровень адаптации институтов политической социализации к реалиям «цифровой эры»</li> </ul>
Расширение смыслового контента и совершенствование символической политики	<p>поиск «четырёх балансов»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– между когнитивной насыщенностью и эмоциональной выразительностью;</li> <li>– между исторической достоверностью и мифологизацией массового сознания;</li> <li>– между позитивными и негативными эпизодами прошлого;</li> <li>- между дореволюционным, советским периодами и современной Россией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– риски активизации внутренних «войн памяти»;</li> <li>– темпоральный дисбаланс политики идентичности: нарастающая ретроспективность</li> </ul>

Продолжение таблицы 36

1	2	3
<p>Выработка механизмов формирования общенационального образа будущего</p>	<p>– стабилизация социально-экономической ситуации и выход на повышательный тренд;          – формирование контуров позитивного образа будущего у правящих элит;          – конструирование интегративного образа будущего: смысловой взаимосвязи между предлагаемым макрополитическим образом будущего и прагматическими микросоциальными представлениями</p>	<p>– недостаточный уровень вертикального и горизонтального доверия в социуме;          – внутриэлитарные противоречия</p>

Источник: составлено автором.

*В заключение параграфа 5.3* можно констатировать, что потенциал модернизации государственной политики идентичности Российской Федерации в долгосрочной перспективе (2022-2030 гг.) связан с реализацией четырех магистральных направлений её развития, таких как совершенствованием институциональных, нормативных и стратегических оснований; функциональная настройка и оптимизация инструментария; расширение смыслового контента и символическая политика; выработка основополагающих механизмов формирования общенационального образа будущего.

#### *Выводы по главе 5*

В заключение главы 5 представляется необходимым сделать ряд выводов.

1) Политика памяти, являясь стержневым звеном государственной политики идентичности, в современной России (1991-2021 гг.), подверглась существенным трансформациям. Если в 1991-2000 гг. она носила отчетливый

фрагментарно-негативный характер, в основе которого лежала её антисоветская направленность, то уже во второй половине 2000 – начале 2010-х годов она приобретает элементы системности, некоторое смысловое наполнение и отчетливые конвенциональные черты. Указанные тенденции в целом получили продолжение и развитие в период «крымского консенсуса», но не были закреплены в 2018-2021 гг., когда деятельность государства в сфере конструирования целостного образа прошлого была частично заменена механизмом моратория и тактикой ситуативного событийного реагирования, всё более являющейся импульсивным ответом на проявления внешних «войн памяти».

2) На всём протяжении постсоветского периода действующая власть так и не выработала эффективных государственно-политических механизмов конструирования общенационального образа будущего. На *кризисно-конфликтном этапе* (1991-2000 гг.) систематизированная государственная политика по конструированию образа будущего отсутствовала. Во второй половине 1990-х годов её слабой и деструктивной компенсацией служил механизм целенаправленного продуцирования страха перед советским прошлым в целях сохранения status quo существующей политической конфигурации. На *реставрационно-модернизационном этапе* формирования российской национально-государственной идентичности (2001-2013 гг.) наибольшее значение среди политико-психологических механизмов, используемых властью в процессе проектирования будущего, приобрели позитивная экстраполяция текущего опыта (что представлялось адекватным в условиях экономического роста 2001-2007 гг. и соответствующих позитивных ожиданий населения), акцент на расширенно трактуемые, обобщающие традиционные ценности (сильная власть, справедливость, статус великой державы) и целенаправленная активация патерналистских установок. На *мобилизационно-инерционном этапе* (2014-2021 гг.) государственная политика конструирования образа будущего приобрела эклектичный характер, сочетая в себе идеи социального

государства, роста качества жизни и акцент на подмену общенациональных представлений о будущем индивидуальными и микросоциальными.

3) Можно констатировать, что *траектория трансформации* государственной политики идентичности в России преимущественно коррелирует с аналогичной траекторией трансформации национально-государственной идентичности российских граждан, что позволяет говорить о коэволюционном характере взаимосвязи политического сознания россиян и государственной политики (за исключением начала-середины 1990-х годов).

С одной стороны, государство инициирует изменения в массовых идентификационных установках, с другой – власть стремится отвечать на запросы граждан, хотя бы частично соответствовать в своей политике политическим представлениям, доминирующим в обществе на различных этапах его развития.

На первом, кризисно-конфликтном этапе ей были присущи низкий уровень системности, дискретность и выраженная конфликтность. На втором, реставрационно-модернизационном этапе она активно приобретала такие черты, как системность, последовательность и конвенциональность, была отчетливо ориентирована на долгосрочную консолидацию российского общества.

На втором, мобилизационно-инерционном этапе она сохранила черты континуальности и конвенциональности. Однако, начиная с 2017-2018 гг., в ней всё более ярко проявляются элементы осознанного исторического моратория – отказа от принятия значимых решений в сфере конституирования общенационального пространства памяти.

*Таким образом, траектория трансформации* государственной политики идентичности в России в целом характеризуется как *повышательно-стабилизационная*, преимущественно совпадающая с вектором трансформации национально-государственной идентичности в российском массовом сознании, что отражено на рисунке 20.



Источник: составлено автором.

Рисунок 20 - Траектория трансформации государственной политики идентичности в России (1991 -2021 гг.)

4) На основании проведенного исследования можно выделить четыре основных направления модернизации государственной политики идентичности в России в долгосрочной перспективе (2022-2030 гг.): совершенствование нормативных и стратегических оснований; функциональную настройку и оптимизацию инструментария реализации государственной политики идентичности; расширение смыслового контента и совершенствование символической политики; выработку механизмов формирования общенационального образа будущего.

Реализация первого направления связана с разработкой стратегии формирования национально-государственной идентичности и возможным созданием интеллектуального центра – Института национально-государственной идентичности. Второе направление предполагает перенос государственного акцента со СМИ на среднюю школу в качестве основного института политической социализации.

Третье направление совершенствования государственной политики идентичности в Российской Федерации – это расширение смыслового контента и совершенствование символической политики. Комплекс

связанных с ним задач может быть описан формулой поиска «четырех балансов»: между когнитивной насыщенностью и эмоциональной выразительностью представлений о прошлом; между фактической достоверностью и тенденцией мифологизации истории; между позитивными и негативными сюжетами прошлого; между дореволюционной, советской, и современной российской историей.

Четвертое направление представляется наиболее сложным. Тем не менее, основная задача, которую необходимо решать в его рамках – это конструирование *интегративного образа будущего*: смысловой взаимосвязи между предлагаемым государством (в перспективе) макрополитическим «проектом будущего» и прагматической системой микросоциальных представлений российских граждан.

## Заключение

В заключение проведенного исследования можно сделать ряд выводов, характеризующих специфику формирования и трансформации российской национально-государственной идентичности, основных её компонентов, в 1991-2021 гг.

*Первое.* Логика развития дискурса идентичности в классическом знании была обусловлена его расширением, внутренней дифференциацией и тенденцией полипарадигмальности. Это способствовало переходу от одномерных детерминированных концепций к многомерному пониманию идентичности как эволюционирующего и структурно сложного явления. Необходимо выделить такие характерные черты современного дискурса идентичности, как насыщенность, мультидисциплинарность, динамичность, подверженность трансформациям под влиянием массмедиа, политизация и идеологизация, ценностная направленность, а также всё более отчетливая инструментализация.

С точки зрения концептуализации национально-государственной идентичности наибольшую теоретико-методологическую ценность представляет конструктивистское понимание нации как политической общности. При этом необходимо подчеркнуть, что речь идёт о многомерном культурно-ориентированном конструировании, а не об исключительно вертикальном воздействии государства на социум. Опираясь на положения социального конструктивизма, теории социальных представлений и когнитивных политико-психологических концепций, можно определить национально-государственную идентичность как интегративный, многомерный и динамический конструкт – представление о «нас» как о макрополитическом сообществе (как однородном, так и многосоставном), поддерживаемое посредством институтов государственного управления и политико-культурной традиции государственности. Комплексное

осмысление национально-государственной идентичности позволяет моделировать её как систему взаимосвязанных динамических образов – репрезентаций восприятия различных аспектов эволюции национально-государственной общности.

*Второе.* Была разработана структурная модель изучения национально-государственной идентичности, предполагающая последовательный трехступенчатый анализ наиболее значимых факторов, на нее влияющих, ее основополагающих содержательных компонентов, а также государственной политики идентичности. В ходе исследования были выделены три ключевых макрополитических фактора, оказывающих длительное воздействие на российскую национально-государственную идентичность – глобализационный, религиозный и этнорегиональный. Отдельно обозначены также социально-политические контексты – изменчивые внутренние импульсы, непосредственно отражающиеся на динамике массового сознания.

Проведенная структурная операционализация позволила обозначить и детализировать такие компоненты национально-государственной идентичности, как аффективная установка «мы – они» и вытекающие из нее образы «нас» и «значимого другого», образы власти и пространства, образы прошлого и будущего, символический профиль самоидентификации, а также основные идентификационные альтернативы, циркулирующие в массовом политическом сознании.

Характеризуя методологические особенности изучения государственной политики идентичности, можно сделать вывод, что наиболее продуктивным является системно-конструктивистский взгляд на ее содержание. Согласно ему государственная политика идентичности может трактоваться как целенаправленная, долгосрочная, алгоритмизированная деятельность институтов государственного управления и связанных с ними структур (прежде всего, негосударственных организаций, массмедиа, бизнеса) по формированию устойчивой модели национально-



государственной идентичности, конгруэнтной и существующим запросам общества, и перспективным задачам государственного развития, а также отвечающей основаниям национальной политической культуры. При этом в структуре государственной политики идентичности центральное место занимают такие компоненты, как политика памяти и политика конструирования образа будущего.

*Третье.* Рассматривая и конкретизируя специфику влияния трех основополагающих макрополитических факторов – глобализационного, религиозного и этнорегионального – на трансформацию российской национально-государственной идентичности, можно выделить следующие особенности. Так, безусловно, обращает на себя внимание неравномерность и полицентричность воздействия глобализации на политическое сознание российских граждан, их представления о «нас» и «других». Его рост в 1990-е годы сменился рационализацией политического восприятия в 2000-2010-е годы и всё более сдержанным, а в последствие и критическим отношением российского общества к «коллективному Западу», ассоциируемым с ним ценностям. Сегодня ключевым глобализационным фактором, способным частично переформатировать российскую национально-государственную идентичность, является цифровая трансформация социальных практик. Это, в свою очередь, приводит к распространению симулятивных идентификационных конструкторов политического сознания, ряд из которых несут в себе негативный импульс по отношению к установкам национально-государственной самоидентификации.

Иной характер воздействия на национально-государственную идентичность имел религиозный фактор. На начальном этапе (1990-е годы) он выполнял компенсаторную, а в последующем (2000-2010-е годы) – комплементарную функцию в процессе кристаллизации общероссийской идентификационной «матрицы». При этом возрастающая роль ислама, его во многом искусственная политизация в 1990-е годы, была серьезным

политическим вызовом для российской национально-государственной идентичности.

Следует особо подчеркнуть, что влияние этнорегионального фактора на содержание российской национально-государственной идентичности претерпело серьезную эволюцию. Так, в 1990-е годы превалировала конфронтационная модель коэволюции общероссийской и этнорегиональных идентичностей. В последующие годы стали складываться очертания мемориально-автономизаторской и, в меньшей степени, комплементарной моделей центр-регионального идентификационного взаимодействия. Вместе с тем, применение инструментов автоматизированного мониторинга социальных медиа IQ Buzz и «Медialogия» позволило выявить следующее: в информационно-политическом пространстве современной России существует целый ряд идентификационных конфликтов разного генезиса и остроты, зарождающихся в регионах, но имеющих частичную проекцию на общефедеральный политический дискурс.

*Четвертое.* В 1990-е годы в постсоветской России сформировалась кризисно-конфликтная модель национально-государственной идентичности. Её особенностями были структурная фрагментация, распад ценностно-смысловых и символических оснований образа «мы» в политическом сознании россиян. Ключевыми тенденциями того периода являлись расщепление массовых представлений о прошлом и отсутствие общенационального образа будущего. Вместе с тем, важно отметить, что указанные деструктивные процессы не привели к тотальному разрушению базовой аффективной установки национально-государственной самоидентификации: даже на пике кризиса, в 1991-1997 гг., не менее 2/3 российских граждан подчеркивали субъективную значимость для себя идентификационного статуса «мы - россияне».

В 2001-2013 гг. происходило поэтапное становление реставрационно-модернизационной модели национально-государственной идентичности. Её содержательная специфика состояла в поэтапной прагматизации массового

сознания, медленной кристаллизации конвенциональных фреймов восприятия прошлого и отказе от его конфликтных интерпретаций. При этом симптоматично, что символический профиль самоидентификации, а также темпоральные и пространственные образы «страны России» отличались разбалансированностью, сочетая в себе как рациональные установки, так и многообразие исторических – неоимперских и несоветских – реминисценций. Также можно говорить о радикальной позитивной трансформации образа российской власти: он обрел выраженные персоналистско-иерархические очертания, воспринимаясь как тотальный антипод «слабой» и неэффективной власти 1990-х годов.

Турбулентная политическая динамика 2014-2021 гг. способствовала тому, что в политическом сознании российских граждан стали отчетливо вырисовываться контуры внутренне противоречивой и, отчасти, разбалансированной мобилизационно-инерционной конфигурации национально-государственной идентичности. Ее первоначальное становление было связано с политической консолидацией общества, в основе которой лежал «крымский консенсус»: поддержка действий власти по интеграции Крыма в состав Российской Федерации. Не менее важно, что в этот же период радикальную трансформацию претерпел образ «значимого другого» в лице Запада, который стал всё более восприниматься в качестве «врага». Однако уже в 2017 году в социально-политических настроениях обозначились серьезные изменения, обусловленные некоторой негативизацией образа власти, чувством неудовлетворенности социально-политической ситуацией в стране, сохраняющейся неопределенностью представлений о будущем.

*Пятое.* Политика памяти в России, будучи определяющим компонентом политики идентичности, первоначально, в 1990-е годы, носила фрагментарный, дискретный и конфронтационный характер, в основе которого лежала «борьба с прошлым» – её антисоветская направленность. Но уже во второй половине 2000 – начале 2010-х годов (через

кратковременный «мораторий» на государственные оценки прошлого) она приобрела элементы системности, частичное смысловое наполнение и заметные конвенциональные черты. Указанные тенденции в целом получили продолжение и развитие в период «крымского консенсуса», но не были закреплены в 2018-2021 гг.

Также можно констатировать, что конструирование образа будущего представляет собой наиболее слабое звено государственной политики идентичности в Российской Федерации. Эта слабость обусловлена как текущими негативными политическими и социально-экономическими контекстами (включая пандемию COVID-19), так и высоким уровнем недоверия к государству со стороны общества, аморфностью институциональных оснований и стратегических приоритетов деятельности государственной власти в сфере целенаправленного проектирования массовых представлений о будущем.

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что в 1990-е годы базовыми характеристиками политики идентичности, проводимой государством, были отсутствие системности, непоследовательность и высокий конфликтный потенциал. В 2000 - начале 2010-х годов она активно видоизменялась в сторону континуальности и конвенциональности, была отчетливо ориентирована на долгосрочную консолидацию российского общества. В 2014-2021 гг. она в целом продолжала сохранять преемственность и конвенциональный характер. Тем не менее, на рубеже 2017-2018 гг. в ней начинают также прослеживаться элементы моратория – отказа государства от принятия значимых символических решений в сфере политики памяти. При этом весьма рельефно вырисовывается и тот факт, что траектория эволюции государственной политики идентичности в Российской Федерации коррелирует с генерализованной траекторией трансформации российской национально-государственной идентичности в массовом сознании и в значительной мере задаёт её вектор.

*Шестое.* Результаты исследования позволили очертить четыре возможных сценария дальнейшей трансформации национально-государственной идентичности в России: фрагментарно-конфликтный («большой взрыв»), конфликтно-консолидационный («назад в будущее»), инерционный («период полураспада») и оптимальный – конвенционально-консолидационный («политическая нация»). Представляется, что на сегодняшний день всё же наиболее вероятной является реализация инерционного сценария, предполагающего пролонгацию существующей динамики массового сознания.

*Седьмое.* Целесообразно выделить четыре вектора модернизации государственной политики идентичности в России в долгосрочной перспективе: совершенствование институциональных и стратегических оснований; функциональную настройку и оптимизацию инструментария; расширение смыслового контента и совершенствование символической политики; выработку механизмов формирования общенационального образа будущего. Последнее направление представляется сложным в силу отсутствия у различных сегментов российского общества, включая правящие элиты, целостных представлений о желаемом коллективном будущем.

Опираясь на представленные выше результаты, *можно констатировать*, что исследовательская гипотеза в целом нашла свое подтверждение: кризис массового сознания, имевший место в 1990-е годы, был в значительной мере преодолен. В начале XXI столетия рельефно обозначились контуры новой – конвенциональной – конфигурации российской национально-государственной идентичности. При этом зафиксировано, что траектория трансформации национально-государственной идентичности в современной России носила неравномерный повышательно-стабилизационный характер с проявлением инерционной тенденции и была преимущественно сопряжена с динамикой государственной политики идентичности.

## Список литературы

### Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_](http://www.consultant.ru/document/cons_) (дата обращения: 11.06.2021).

2. Российская Федерация. Законы. О реабилитации жертв политических репрессий : федеральный закон [принят Верховным Советом РСФСР 18 октября 1991] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL:[http://www.consultant.ru/document/cons\\_\\_LAW\\_1619/](http://www.consultant.ru/document/cons__LAW_1619/) (дата обращения: 14.10.2021).

3. Российская Федерация. Законы. Об учреждении медали «Защитнику свободной России» : федеральный закон [принят Верховным Советом Российской Федерации 2 июля 1992 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_15537/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15537/) (дата обращения: 20.10.2021).

4. Российская Федерация. Законы. О днях воинской славы и памятных датах России: федеральный закон [принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5978/247d1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/247d1) (дата обращения: 02.11.2021).

5. Российская Федерация. Законы. О стратегическом планировании в Российской Федерации : федеральный закон [принят Государственной

Думой 20 июня 2014 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_164841/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/) (дата обращения: 9.11.2021).

6. Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации [Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 года № 909] // Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации «Законодательство России». – Текст : электронный. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc> (дата обращения: 27.11.2021).

7. О Дне согласия и примирения [Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября 1996 года № 1537] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/10231> (дата обращения: 18.10.2021).

8. О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России [Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года № 549] // Интернет-портал «Российской газеты» : сетевое издание. – Текст : электронный. – URL: <https://rg.ru/2009/05/20/komissia-dok.html> (дата обращения: 02.11.2021).

9. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666] // Информационно-правовой портал «Гарант. РУ». – Текст : электронный. – URL: [https://base.garant.ru/70284810/#block\\_1001](https://base.garant.ru/70284810/#block_1001) (дата обращения: 28.11.2021).

10. О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 [Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 года № 703] // Президент России : официальное интернет-

представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843> (дата обращения: 05.11.2021).

11. О премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации [Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 200] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Текст : электронный. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260067> (дата обращения: 20.02. 2021).

12. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года [Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/63728> (дата обращения: 9.11.2021).

13. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=> (дата обращения: 13.11.2021).

14. Конституция (основной закон) Республики Тыва [редакция по состоянию на 18 июня 1996 года. Принята 21 октября 1993 года] // Справочно-правовая система «Предпринимательское право». – Текст : электронный. – URL: <http://www.businesspravo.ru/Docum/> (дата обращения: 11.06.2021).

15. Заявление Бориса Ельцина [от 31 декабря 1999 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24080> (дата обращения: 18.10.2021).

16. Об укреплении Российского государства (основные направления внутренней и внешней политики). Послание Президента Российской



Федерации Федеральному Собранию [от 24 февраля 1994 года ] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=I> (дата обращения: 18.02.2022).

17. О действенности государственной власти в России : Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 16 февраля 1995 года ] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/7521> (дата обращения: 18.02.2022).

18. Порядок во власти – порядок в стране (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации). Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 6 марта 1997 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_) (дата обращения: 20.02.2022).

19. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 8 июля 2000 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/214> (дата обращения: 18.02.2022).

20. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 18 апреля 2002 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21567>(дата обращения: 18.02.2022).

21. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 25 апреля 2005 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (дата обращения: 18.02.2022).

22. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 26 апреля 2007 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24203> (дата обращения: 18.02.2022).

23. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 12 ноября 2009 года.] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/31381/print> (дата обращения: 18.02.2022).

24. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 12 декабря 2012 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118> (дата обращения: 21.02.2022).

25. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 4 декабря 2014 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39443> (дата обращения: 21.02.2022).

26. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [от 1 марта 2018 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_291976](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976) (дата обращения: 14.11.2021).

27. О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства: послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию [от 20 февраля 2019 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/44032> (дата обращения: 14.11.2021).

28. О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства: послание Президента Российской Федерации

Федеральному собранию [от 15 января 2020 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45148>(дата обращения: 14.11.2021).

29. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию [от 21 апреля 2021 года] // Президент России : официальное интернет-представительство. – Текст : электронный. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/65418> (дата обращения: 14.11.2021).

30. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей [проект указа Президента Российской Федерации. Подготовлен Минкультуры России 21 января 2022 года] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=> (дата обращения: 18.03.2022).

31. Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты [Материалы по состоянию на 7 февраля 2019 года] // Правительство Российской Федерации. – Текст : электронный. – URL: <http://static.government.ru/media/files/p> (дата обращения: 9.11.2021).

32. Реализация государственной национальной политики [Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации за 2020 год] // Счетная палата Российской Федерации. – Текст : электронный. – URL: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/967/967> (дата обращения: 27.11.2021).

33. Устав Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (новая редакция) [утвержден VI съездом Ассамблеи народов России 8 июля 2013 года] // Ассамблея народов России. – Текст : электронный. – URL: [http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xnustav\\_anr.pdf](http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xnustav_anr.pdf) (дата обращения: 8.11.2021).

#### Книги

34. Абдулатипов, Р.Г. Российская нация (этнонациональная и гражданская идентичность россиян в современных условиях) : монография /

Р.Г. Абдулатипов. – Москва : Новая книга, 2005. – 472 с. – Тираж не указан. – ISBN 5-94935-0596.

35. Адорно, Т. Исследование авторитарной личности / Т. Адорно, Э. Неввит Сэнфорд, Дж. Левинсон [и др.] ; перевод с немецкого Л. Латышева, М. Попова, М. Кондратенко ; под редакцией В. П. Култыгина. – Москва : Серебряные нити, 2001. – 416 с. – ISBN 5-94396-020-1.

36. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон ; перевод с английского В. Николаева. – Москва : Кучково поле, 2016. – 416 с. – ISBN 5-93354-017-3.

37. Ассман, А. Забвение истории – одержимость историей / А. Ассман ; перевод с немецкого Б. Хлебникова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 552 с. – ISBN 978-5-4448-1151-1.

38. Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман ; перевод с немецкого М. Сокольской. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 368 с. – ISBN 5-94457-176-4.

39. Аттали, Ж. Краткая история будущего / Ж. Аттали ; перевод с французского Е. Пантелеева. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 288 с. – ISBN 978-5-496-00750-4.

40. Балибар, Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / Э. Балибар, И. Валлерстайн ; перевод с французского А. Кефал [и др.]. – Москва : Логос-Альтера, 2003. – 272 с. – ISBN 978-5-816300-58-2.

41. Бард, А. Нетократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. Зодерквист ; перевод с английского В. Миучкова. – Санкт-Петербург : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 256 с. – ISBN 5-315-00015-X.

42. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт ; под редакцией Г.К. Косикова. – Москва : Прогресс : Универс, 1994. – 615 с. – ISBN 5-01-004408-0.

43. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; перевод с английского ; под редакцией В.Л. Иноземцева. – Москва : Логос. 2005. – 390 с. – ISBN 5-98704-075-2.

44. Бек, У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / У. Бек ; перевод с немецкого А. Григорьева и В. Седелника. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 464 с. – ISBN 978-5-903844-036.

45. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; перевод с английского Е. Руткевич. – Москва : Медиум, 1995. – 323 с. – ISBN 5-85691-036-2.

46. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – Санкт-Петербург : Азбука, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-389-10964-3.

47. Блумер, Г. Символический интеракционизм / Г.Блумер ; перевод с английского А. Корбута. – Москва : Элементарные формы, 2017. – 344 с. – ISBN 978-5-9500244-1-2.

48. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр ; перевод с французского А. Качалова. – Санкт-Петербург : Постум, 2017. – 320 с. – ISBN 978-9-99800-028-5.

49. Бордюгов, Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Г.А. Бордюгов. – Москва : АИРО-XXI, 2011. – 256 с. – ISBN 978-5-91022-158-5.

50. Бродель, Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Ф. Бродель ; перевод с французского Л. Куббеля. – Москва : ЕЕ-Медиа, 2019. – 622 с. – ISBN 978-5-519-66137-9.

51. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – Москва : Либроком, 2020. – 438 с. – ISBN 978-5-397-07533-6.

52. Бурдьё, П. Практический смысл / П. Бурдьё ; перевод с французского А. Бикбова [и др.]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 562 с. – ISBN 5-89329-351-7.

53. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн ; перевод с английского П. Кудюкина. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. – 416 с. – ISBN 5-94483-042-5.

54. Геллнер, Э. Нации и национализм / Э. Геллнер ; перевод с английского Т. Бердиковой и М. Тюнькиной. – Москва : Прогресс, 1991. – 319 с. – ISBN 5-01-002-692-9.

55. Гидденс, Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс ; перевод с английского М. Коробочкина. – Москва : Весь мир, 2004. – 116 с. – ISBN 577770304-6.

56. Гирц, К. Интерпретация культур / К. Гирц ; перевод с английского О. Барсуковой [и др.]. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 557 с. – ISBN 5-8243-04742.

57. Глебова, И.И. Политическая культура России: образы прошлого и современность : монография / И.И. Глебова ; ответственный редактор Ю.С. Пивоваров. – Москва : Наука, 2006. – 332 с. – Тираж не указан. – ISBN 5-02-0338486.

58. Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации (социологический анализ) : монография / М.К. Горшков. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 384 с. – Тираж не указан. – ISBN 5-8243-01514.

59. Гринфельд, Л. Национализм. Пять путей к современности / Л. Гринфельд ; перевод с немецкого Т. Грингольц. – Москва : ПЕР СЭ. – 2012. – 528 с. – ISBN 978-5-9292-0164-6.

60. Губогло, М.Н. Симбиоз этнический и региональной идентичности / М.Н. Губогло. – Москва : Институт этнологии и антропологии РАН, 2015. – 79 с. – ISBN 978-5-4211-0130-7.

61. Делягин, М.Г. Драйв человечества / М.Г. Делягин. – Москва : Вече, 2008. – 527 с. – ISBN 978-5-9533-3539-3.

62. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм ; перевод с французского А. Гофмана. – Москва : Канон. 1996. – 432 с. – ISBN 5-88373-036-1.
63. Емельянова, Т. П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества : монография / Т.П. Емельянова. – Москва : Институт психологии РАН, 2006. – 400 с. – Тираж не указан. – ISBN 5-9270-0083-5.
64. Ильин, В.В. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности : монография / В.В. Ильин, А.С. Ахиезер ; под редакцией В.В. Ильина. – Москва : Издательство Московского университета, 2000. – 304 с. – 3000 экз. – ISBN 5-211-04238-7.
65. Калхун, К. Национализм / К. Калхун ; перевод с английского А. Смирнова. – Москва : Территория будущего, 2006. – 286 с. – ISBN 5-91129-013-8.
66. Ключевский, В.О. Неопубликованные произведения / В.О. Ключевский. – Москва : Наука, 1983. – 416 с. – ISBN отсутствует.
67. Кортунов, С.В. Национальная идентичность. Постигание смысла : монография / С.В. Кортунов. – Москва : Аспект-Пресс, 2009. – 589 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7567-0551-5.
68. Крылов, М.П. Региональная идентичность в Европейской России : монография / М.П. Крылов. – Москва : Новый хронограф. – 2010. – 500 экз. – 240 с. – ISBN 978-5-94881-109-3.
69. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон ; перевод с французского Э. Пименовой и А. Фридмана. – Москва : АСТ, 2016. – 384 с. – ISBN 978-5-17-101642-5.
70. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс ; перевод с французского В. Иванова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. – ISBN 5-04-008349-1.

71. Лейпхарт, А. Демократия в многосоставных обществах / А. Лейпхарт ; перевод с английского Б. Макаренко. – Москва : Аспект Пресс, 1997. – 286 с. – ISBN 5-7567-0208-3.
72. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар ; перевод с французского Н. Шматко. – Москва : Алетейя, 2016. – 160 с. – ISBN 978-5-91419-864-7.
73. Лосев, А.Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа» / А.Ф. Лосев. – Москва : Языки славянской культуры, 2021. – 695 с. – ISBN 978-5-907290-38-9.
74. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе ; перевод с английского А. Юдина. – Москва : АСТ, 2003. – 395 с. – ISBN 5-17-011041-3.
75. Московичи, С. Век толп: исторический трактат по психологии масс / С. Московичи ; перевод с французского Т. Емельяновой. – Москва : Академический проект, 2011. – 477 с. – ISBN 978-5-8291-1299-8.
76. Нойманн, И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / И. Нойманн ; перевод с английского В. Литвинова, И. Пильщикова. – Москва : Новое издательство, 2004. – 335 с. – ISBN 5-98379-007-2.
77. Нольте, Э. Фашизм в его эпохе / Э.Нольте ; перевод с немецкого А. Федорова. – Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. – 560 с. – ISBN 5-87550-128-6.
78. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет ; перевод с испанского С. Воробьева [и др.]. – Москва : АСТ, 2002. – 509 с. – ISBN 5-17-007796-3.
79. Пастухов, В.Б. Три времени России. Общество и государство в прошлом – настоящем – будущем / В.Б. Пастухов. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1994. – 159 с. – ISBN 5-86004-015-6.



80. Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы : коллективная монография / А.И. Миллер, Д.В. Ефременко, О.Ю. Малинова [и др.] ; под редакцией А.И. Миллера и Д.В. Ефременко. – Санкт-Петербург : Издательство европейского университета, 2020. – 632 с. – 600 экз. – ISBN 978-5-94380-289-8.

81. Понимая «девяностые» / Г.Н. Бурбулис, А.А. Евлахов, В.В. Зеленцов [и др.] ; под редакцией А.А. Евлахова. – Москва : Знание, 2013. – 129 с. – ISBN 978-5-254-02021-9.

82. Психология политического восприятия в современной России : монография / В.В. Титов, Н.Б. Бокова, Е.Б. Шестопал [и др.] ; под редакцией Е.Б. Шестопал. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 423 с. – 600 экз. – ISBN 978-5-8243-1716-9.

83. Райх, В. Психология масс и фашизм / В. Райх ; перевод с немецкого Ю. Донец. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. – 380 с. – ISBN 5-7914-0002-0.

84. Ритцер, Д. Макдональдизация общества / Д. Ритцер ; перевод с английского А. Лазарева. – Москва : Праксис. – 2011. – 592 с. – ISBN 978-5-901574-86-7.

85. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа : монография / М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова ; ответственные редакторы М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. – Москва : Наука, 2005. – 396 с. – Тираж не указан. – ISBN 5-02-033642-4.

86. Россия XXI века: образ желаемого завтра. – Москва : Экон-Информ, 2010. – 66 с. – ISBN отсутствует.

87. Самаркина, И.В. Политическая картина мира : монография / И.В. Самаркина. – Краснодар : Издательство Кубанского государственного университета, 2011. – 250 с. – Тираж не указан. – ISBN 978-5-8209-0789-0.

88. Смит, Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма / Э. Смит ; перевод с

английского А. Смирнова [и др.]. – Москва : Праксис, 2004. – 458 с. – ISBN 5-901574-39-7.

89. Содержательные основы российской идентичности. Региональный и этнокультурный контексты : монография / Л. М. Дробижина, Е.М. Арутюнова, М.А. Евсеева [и др.] ; ответственные редакторы Е.М. Арутюнова, С.В. Рыжова. – Москва : ФНИСЦ РАН, 2021. – 288 с. – Тираж не указан. – ISBN 978-5-89697-374-4.

90. Социальная идентификация личности-2. Книга 2 : сборник статей / О.Н. Дудченко, Ю.Л. Качанов, В.А. Ядов [и др.] ; ответственный редактор В.А. Ядов. – Москва : Издательство Института социологии РАН, 1994. – 298 с. – ISBN отсутствует.

91. Социология межэтнической толерантности : монография / Л.М. Дробижина, Д.В. Даен, И.М. Кузнецов [и др.] ; ответственный редактор Л.М. Дробижина. – Москва : Издательство Института социологии РАН, 2003. – 222 с. – 500 экз. – ISBN 5-89697-084-6.

92. Тард, Г Законы подражания / Г. Тард ; перевод с французского Ф. Павленкова. – Санкт-Петербург : Академический проект. 2011. – 302 с. – ISBN 978-5-8291-1329-2.

93. Титов, В.В. Национально-государственная идентичность российской молодежи в начале XXI века : монография / В.В. Титов. – Москва : МАКС-Пресс, 2012. – 168 с. – 200 экз. – ISBN 978-5-317-03950-9.

94. Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции : монография / В.В. Титов. – Москва : «Ваш формат», 2017. – 184 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-9500300-8-6.

95. Тишков, В.А. Российский народ. История и смысл национального самосознания : монография / В.А. Тишков. – Москва : Наука, 2013. – 649 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-02-037562-8.

96. Узнадзе, Д.Н. Теория установки / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Институт практической психологии, 1997. – 448 с. – ISBN 5-89395-023-2.

97. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого «Я» / З. Фрейд ; перевод с немецкого Я. Когана. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. – 190 с. – ISBN 978-5-389-05696-1.
98. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм ; перевод с немецкого Э. Телятниковой. – Москва : АСТ, 2017. – 734 с. – ISBN 978-5-17-103239-5.
99. Фукуяма, Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия / Ф. Фукуяма ; перевод с английского А. Соловьева. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-9614-2666-3.
100. Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс ; перевод с французского С. Зенкина. – Москва : Новое издательство, 2007. – 348 с. – ISBN 978-5-98379-088-9.
101. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; перевод с английского Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2003. – 603 с. – ISBN 5-17-007923-0.
102. Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон ; перевод с английского А. Башкирова. – Москва : АСТ, 2004. – 637 с. – ISBN 5-170-24800-8.
103. Хаттон, П. История как искусство памяти / П. Хаттон ; перевод с английского В. Быстрова. – Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2003. – 422 с. – ISBN 5-93615-026-7.
104. Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 года / Э. Хобсбаум ; перевод с английского А. Васильева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 308 с. – ISBN 978-5-89329-048-6.
105. Хюбнер, К. Нация: от забвения к возрождению / К. Хюбнер ; перевод с немецкого А. Антоновского. – Москва : Канон +, 2001. – 400 с. – ISBN 5-88373-154-6.
106. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде ; перевод с французского В. Большакова. – Москва : Академический проект, 2000. – 224 с. – ISBN 5-8291-0052-5.

107. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; перевод с английского А. Андреева [и др.]. – Москва : Флинта, 2006. – 352 с. – ISBN 5-89349-860-7.

108. Этнополитические конфликты и мобилизация в современном мире: постсоветский контекст : монография / В.А. Ачкасов, А.А. Никифоров, А.И. Абалян [и др.]. – Санкт-Петербург : Издательство РХГА, 2021. – 640 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-907309-56-2.

109. Юнг, К. Структура психики и архетипы / К. Юнг ; перевод с немецкого Т. Ребеко. – Москва : Академический проект, 2007. – 302 с. – ISBN 978-5-8291-0859-5.

110. Янов, А.Л. Русская идея. От Николая I до Путина : Книга 4: 2000-2016 / А.Л. Янов. – Москва : Новый Хронограф, 2016. – 319 с. – ISBN 978-5-94881-349-3.

111. Allport, G. Pattern and growth in personality / G. Allport. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1961. – 608 p. – ISBN отсутствует.

112. Armstrong, J. Nations before nationalism / J. Armstrong. – Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1982. – 411 p. – ISBN 0-8079-1501-2.

113. Castells, M. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture / M. Castells. – Oxford : Blackwell Publishing, 2004. – 537 p. – ISBN 1405107138.

114. Connor, W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding / W. Connor. – Princeton : Princeton University Press, 2018. – 264 p. – ISBN 0691087849.

115. Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age / A. Giddens. – Stanford : Stanford University Press, 1991. – 186 p. – ISBN 0-8047-1944-6.

116. Goffman, E. Stigma: notes on the management of spoiled identity / E. Goffman. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1963. – 147 p. – ISBN отсутствует.

117. Inglehart, R. Modernization and Postmodernization. Cultural, economic, and political change in 43 societies / R. Inglehart. – Princeton : Princeton University Press, 1997. – 452 p. – ISBN 978-0-691-01180-6.

118. McCrone, D. Understanding National Identity / D. McCrone, F. Bechhofer. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 238 p. – ISBN 978-1-107-49619-4.

119. Rokeach, M. Understanding Human Values: individual and societal / M. Rokeach. – New York : Free Press, 2000. – 230 p. – ISBN 978-0-743-21456-8.

120. Simon, B. Identity in modern society: A social psychological perspective / B. Simon. – Oxford : Blackwell, 2004. – 244 p. – ISBN 978-0-470-77523-8.

121. Smith, A. National identity / A. Smith. – London : Penguin Books, 1991. – 227 p. – ISBN 978-0-140-12565-8.

122. Social Theory and the Politics of Identity / C. Calhoun, M. Somers, G. Gibson ; edited by C. Calhoun. – Oxford : Blackwell, 1994 – 350 p. – ISBN 978-1-557-86473-4.

123. Znaniecki, F. Social relations and social roles; the unfinished systematic sociology / F. Znaniecki. – San Francisco : Chandler, 1965. – 372 p. – ISBN отсутствует.

### Диссертации

124. Жаде, З.А. Геополитическая идентичность России в условиях глобализации : специальность 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» : диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / Жаде Зуриет Анзауровна ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2007. – 352 с. – Библиогр. : с. 325-352.

125. Зверева, И.А. Идентичность как философская проблема (социокультурные основания) : специальность 09.00.11 «Социальная

философия» : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Зверева Ирина Александровна ; Российский государственный торгово-экономический университет. – Москва , 2010. – 179 с. – Библиогр. : с. 168-179.

#### Авторефераты диссертаций

126. Белинская, Е.П. Идентичность личности в условиях социальных изменений : специальность 19.00.05 «Социальная психология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Белинская Елена Павловна ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – 50 с. – Библиогр. : с. 46-50. – Место защиты: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

127. Бродовская, Е.В. Трансформация политической системы современного российского общества: институциональные и социокультурные составляющие : специальность 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Бродовская Елена Викторовна ; Тульский государственный университет. – Тула, 2008. – 62 с. – Библиогр. : с. 58-62. – Место защиты: Тульский государственный университет.

128. Назукина, М. В. Региональная идентичность в современной России: типологический анализ : специальность 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Назукина Мария Викторовна ; Пермский филиал Института философии и права Уральского

отделения РАН. – Пермь, 2009. – 26 с. – Библиогр. : с. 24-26. – Место защиты: Пермский государственный университет.

129. Узнародов, Д.И. Национально-государственная идентичность в политическом процессе постсоветской России : специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Узнародов Дмитрий Игоревич ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2015. – 32 с. – Библиогр. : с. 29-32. – Место защиты: Южный федеральный университет.

#### Статьи

130. Акмалова, А.А. Современная этническая миграция и миграционная политика (идентификационный аспект) / А.А. Акмалова, В.М. Капицын // Общество. Государство. Политика. – 2009. – № 1. – С. 60-73. – ISSN 2075-4981.

131. Алёхин, Э.В. Формирование православной идентичности / Э.В. Алёхин, И.А. Атяшкин // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 7. – С. 19-22. – ISSN 1815-4964.

132. Андреев, А.Л. Образ России в сознании россиян: международные аспекты / А.Л. Андреев // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. – 2007. – № 4. – С. 40-51. – ISSN 2219-5467.

133. Андреев, А.Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян / А.Л. Андреев // Философия хозяйства. – 2008. – № 1 (55). – С. 205-224. – ISSN 2073-6118.

134. Андреев, А.Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян (середина 1990-х – 2007 годы) / А.Л. Андреев // Историческая психология и социология истории. – 2009. – № 1. – С. 110-138. – ISSN 1994-6287.

135. Аникин, Д.А. Политика памяти в сетевом пространстве: Интернет как медиатор памяти / Д.А. Аникин, А.Ю. Бубнов // Вопросы политологии. – 2020. – № 1 (53). Том 10. – С. 19-28. – ISSN 2225-8922.

136. Анненкова, Н.В. Особенности российского менталитета в контексте проблемы становления идентичности / Н.В. Анненкова // Психология сознания: этнонациональные, религиозные, правовые и регулятивные аспекты : сборник материалов международной научной конференции ; под редакцией Г.В. Аكوпова [и др.].– Самара : ПГСГА, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-5-8428-1040-6.

137. Арутюнян, Ю.В. Россияне: проблемы формирования национально-гражданской идентичности в свете данных этносоциологии / Ю.В. Арутюнян // Общественные науки и современность. – 2009. – № 4. – С. 91-98. – ISSN 0869-0499.

138. Ачкасов, В.А. Политика идентичности в современном мире / В.А. Ачкасов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2013. – № 4. – С. 71-77. – ISSN 1995-0055.

139. Башкирова, Е.И. Трансформация ценностей российского общества / Е.И. Башкирова // Полис. Политические исследования. – 2000. – № 6. – С. 51-65. – ISSN 1026-9487.

140. Белла, Р. Гражданская религия в Америке / Р. Белла // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2014. – Выпуск 3. Том 15. – С. 162-182. – ISSN 1819-2777.

141. Белов, С.И. Политика декоммунизации Европы и угрозы для национальной безопасности России (по материалам Парламентской Ассамблеи Совета Европы) / С.И. Белов // Информационные войны. – № 3 (47). – С. 65-71. – ISSN 1996-4544.

142. Белоконев, С.Ю. Российская национально-государственная идентичность перед вызовами начала XXI века / С.Ю. Белоконев, В.В. Титов,



З.Р. Усманова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Политология. – 2019. – № 1. Том 21. – С. 90-98. – ISSN 2313-1438.

143. Белоконев, С.Ю. Национально-государственная и религиозная идентичность: паттерны взаимодействия в современном мире / С.Ю. Белоконев, В.В. Титов // Среднерусский вестник общественных наук. – 2019. – № 2. Том 14. – С. 144-155. – ISSN 2071-2367.

144. Бовина, И.Б. Теория социальных представлений: история и современное развитие / И.Б. Бовина // Социологический журнал. – 2010. – № 3. – С. 5-20. – ISSN 1562-2495.

145. Бойков, В.Э. Социально-политический фон самоидентификации российского населения / В.Э. Бойков // Социология власти. – 2007. – № 1. – С. 35-51. – ISSN 2074-0492.

146. Борусьяк, Л. Ф. Проект «Имя России» как новый учебник истории / Л.Ф. Борусьяк // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2008. – № 5 (97). – С. 58-66. – ISSN 2070-5107.

147. Бродовская, Е.В. Трансформация политической системы постсоветской России: анализ базовых тенденций / Е.В. Бродовская // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2008. – № 1. – С. 74-81. – ISSN 2071-6141.

148. Бройи, Дж. Подходы к изучению национализма / Дж. Бройи // Нации и национализм : сборник статей ; под редакцией Б. Андерсона. – Москва : Праксис, 2002. – С. 201-235. – ISBN 5-901574-07-9.

149. Брубейкер, Р. За пределами «идентичности» / Р.Брубейкер, Ф. Купер // Ab Imperio. – 2002. – № 3. – С. 61-115. – ISSN 2166-4072.

150. Бубнов, А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного прошлого в публичной сфере / А.Ю. Бубнов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2017. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 2071-6141.

151. Бубнов, А.Ю. Память о войне и войны памяти / А.Ю. Бубнов // Философия в полицентричном мире : сборник научных статей Восьмого

русского философского конгресса ; под редакцией А.В. Смирнова. – Москва : Логос, 2020. – С. 621-623. – ISBN 978-5-6045241-5-2.

152. Бурда, М.А. Риски нелегальной миграции как угроза национальной безопасности России / М.А. Бурда // PolitBook. – 2015. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 2227-1538.

153. Бурмистрова, Т.Ю. Некоторые вопросы теории нации / Т.Ю. Бурмистрова // Вопросы истории. – 1966. – № 12. – С. 100-110. – ISSN 0042-8779.

154. Буттаева, А.М. Идентичность как результат социализации человека / А.М. Буттаева // Богословское наследие мусульман России. II Международный форум : сборник научных докладов конференции : II том ; под редакцией Д.М. Абдрахманова [и др.]. – Казань : МедДок, 2021. – С. 17-21. – ISBN 978-5-6045949-1-9.

155. Бушуев, В.В. Национально-государственная идентичность в современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-методологический анализ) / В.В. Бушуев, В.В. Титов // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Серия : История и политология. – 2011. – № 4. – С. 77-93. – ISSN 2219-3987.

156. Бызов, Л.Г. Представления и мечты россиян об устройстве России через призму ценностных и идейных противоречий общества / Л.Г. Бызов // Россия реформирующаяся : ежегодник ; под редакцией М.К. Горшкова. – Москва : Новый хронограф, 2012. – Выпуск 11. – С. 148-150. – ISSN 2618-7523.

157. Бызов, Л.Г. Ценностная эволюция «путинского консенсуса» в первый год последнего президентского срока / Л.Г. Бызов // Общественные науки и современность. – 2019. – № 4. – С. 42-56. – ISSN 0869-0499.

158. Волков, Ю.Г. Общероссийская и этническая идентичность на Юге России: соотношение и ресурсы / Ю.Г. Волков, Г. С. Денисова, А.В. Сериков [и др.] // Государственное и муниципальное управление.

Ученые записки Северокавказской академии государственной службы. – 2017. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 2079-1690.

159. Волков, Ю.Г. Образы будущего в формировании российской идентичности / Ю.Г. Волков // Социально-гуманитарные знания. – 2019. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 0869-8120.

160. Гаджиева, Р.Г. Кризис российской идентичности в условиях глобализации / Р.Г. Гаджиева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Международные отношения. – 2009. – № 2. – С. 35-41. – ISSN 2313-0660.

161. Гаман-Голутвина, О.В. Идея развития в ценностном поле российского общества / О.В. Гаман-Голутвина // Элитологические исследования. – 2000. – № 1-2. – С. 65-77. – ISSN отсутствует.

162. Гельман, В.Я. Россия в институциональной ловушке / В.Я. Гельман // Pro et Contra. – 2010. – № 4-5. Том 14. – С. 23-38. – ISSN 1560-8913.

163. Герштейн, И.З. Национально-государственная идентичность: историческая эволюция моделей и современная типология / И.З. Герштейн, М.А. Казаков // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. – 2016. – № 6. – С. 36-42. – ISSN 1993-1778.

164. Гузенина, С.В. Образ Запада в российском массовом сознании / С.В. Гузенина // Современные исследования социальных проблем. – 2011. – № 1. Том 5. – С. 264-267. – ISSN 2077-1770.

165. Данилова, Е.Н. Изменения в социальных идентификациях россиян / Е.Н. Данилова // Социологический журнал. – 2000. – № 3-4. – С. 76-86. – ISSN 1562-2495.

166. Дилигенский, Г.Г. Политическая институционализация в России: социально-культурные и психологические аспекты / Г.Г. Дилигенский // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 8. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227.

167. Дробижева, Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость / Л.М. Дробижева // Россия реформирующаяся : ежегодник ; под редакцией Л.М. Дробижевой. – 2002. – Выпуск 1. – С. 213-244. – ISSN 2618-7523.

168. Дробижева, Л.М. Возможен ли конструктивный национализм? / Л.М. Дробижева // Россия в глобальной политике. – 2008. – № 6. – С. 176-189. – ISSN 1810-6439.

169. Дробижева, Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости / Л.М. Дробижева // Россия реформирующаяся : ежегодник ; под редакцией М.К. Горшкова. – 2008. – Выпуск 7. – С. 214-227. – ISSN 2618-7523.

170. Дробижева, Л.М. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России / Л.М. Дробижева, С.В. Рыжова // Полис. Политические исследования. – 2015. – № 5. – С. 9-24. – ISSN 1026-9487.

171. Дробижева, Л.М. Российская гражданская идентичность в научно-политических дискуссиях и общественном мнении / Л.М. Дробижева // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2018. – № 4 (43). Том 8. – С. 324-336. – ISSN 2226-8596.

172. Евгеньева, Т.В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи / Т.В. Евгеньева, В.В. Титов // Полис. Политические исследования. – 2010. – № 4. – С. 122-134. – ISSN 1026-9487.

173. Евгеньева, Т.В. Историческая память и национально-государственная идентичность в современной России / Т.В. Евгеньева // Ценности и смыслы. – 2012. – № 5 (21). – С. 27-36. – ISSN 2071-6427.

174. Евгеньева, Т.В. Политические представления в контексте исторической памяти: обращение к прошлому в ситуации кризиса идентичности / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2013. – № 3-1. – С. 158-166. – ISSN 2071-6141.

175. Евгеньева, Т.В. Образ «врага» как инструмент формирования политической идентичности в сети Интернет: опыт современной России / Т.В. Евгеньева, В.В. Титов // Информационные войны. – 2014. – № 4 (32). – С. 22-26. – ISSN 1996-4544.

176. Евгеньева, Т.В. Образы прошлого в российском массовом политическом сознании мифологическое измерение / Т.В. Евгеньева, В.В. Титов // Политическая наука. – 2017. – № 1. – С. 120-137. – ISSN 1998-1775.

177. Евгеньева, Т.В. «Свои» и «чужие»: образы зарубежных государств в контексте восприятия России её гражданами / Т.В. Евгеньева, З.Р. Усманова // Вестник Московского университета. Серия 12 : Политические науки. – 2018. – № 2. – С. 57-75. – ISSN 0868-4871.

178. Евгеньева, Т.В. Место образа славянского мира в формировании современной российской идентичности / Т.В. Евгеньева, С.Ю. Белоконев, В.В. Титов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2019. – № 48. – С. 135-144. – ISSN 1998-863X.

179. Ефременко, Д.В. Политика памяти и историческая наука / Д.В. Ефременко, О.Ю. Малинова, А.И. // Российская история. – 2018. – № 5. – С. 128-140. – ISSN 0869-5687.

180. Ефремова, В.Н. Государственная политика в области праздников в России: пересмотр оснований идентичности / В.Н. Ефремова // Вестник Пермского научного центра УрО РАН. – 2016. – № 5. – С. 93-98. – ISSN 1998-2097.

181. Зверев, А.Л. Влияние событийного контекста на политическую социализацию российских граждан / А.Л. Зверев // Вестник РГГУ. Серия : Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2008. – № 1. – С. 95-117. – ISSN отсутствует.

182. Зверев, А.Л. Региональная идентичность личности в условиях социокультурного кризиса / А.Л. Зверев // Ценности и смыслы. – 2012. – № 5. Том 21. – С. 92-105. – ISSN 2071-6427.

183. Зорин, В.Ю. От национальной политики к этнокультурной: проблемы становления доктрины и практики / В.Ю. Зорин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – № 3. Том VI. – С. 122-154. – ISSN 1029-8053.

184. Зорин, В.Ю. Об аспектах этнической политики в России / В.Ю. Зорин // Этнодиалоги. – 2013. – № 1 (42). – С. 8-30. – ISSN 2071-8349.

185. Зорин, В.Ю. Стратегии государственной национальной политики: проблемы и решения / В.Ю. Зорин // Мир перемен. – 2014. – № 2. – С. 166-180. – ISSN 2073-3038.

186. Зорин, В.Ю. Мусульмане России: реалии формирования гражданской идентичности / В.Ю. Зорин // Россия и мусульманский мир. – 2017. – № 1 (295). – С. 18-29. – ISSN 1998-1813.

187. Иванова, С.Ю. Современная российская идентичность: цивилизационное и историко-культурное измерения / С.Ю.Иванова // Вестник ВЭГУ. – 2012. – № 2 (58). – С. 21-28. – ISSN 1998-0078.

188. Иванова, С.Ю. Гражданская идентичность и политические ценности молодежи России / С.Ю. Иванова // Гуманитарные и юридические исследования. – 2015. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 2409-1030.

189. Карл, Т. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) / Т. Карл, Ф. Шмиттер // Полис. Политические исследования. – 2004. – № 4. – С. 6-27. – ISSN 1026-9487.

190. Карсанова, Е.С. Мультикультурализм и секуляризм как основные принципы современных либеральных обществ / Е.С. Карсанова // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2017. – № 2 (37). – С. 34-41. – ISSN 2226-8596.

191. Кафтан, В.В. Концепции виртуальной и симулятивной реальности в условиях цифровой трансформации / В.В. Кафтан, Л.В. Рязанова // Власть. – 2019. – № 3 – С. 53-56. – ISSN 2071-5358.

192. Козлова, Ю.В. Национально-региональные ценности и локальная идентичность / Ю.В. Козлова // Вестник экономики, права и социологии. – 2021. – № 3. – С. 102-105. – ISSN 1998-5533.

193. Комаровский, В.С. Формирование национально-государственной идентичности в России: вызовы и риски / В.С. Комаровский // Власть. – 2015. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2071-5358.

194. Кондаков, И.В. Цивилизационная идентичность России: сущность, структура и механизмы / И.В. Кондаков // Гуманитарные и юридические исследования. – 2015. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 2409-1030.

195. Корниенко, О. Ю. Эволюция национальной идентичности в контексте глобализации / О.Ю. Корниенко // Известия Уральского федерального университета. Серия 3 : Общественные науки. – 2019. – № 4 (194). Том 14. – С. 175-187. – ISSN 2227-2291.

196. Крестинина, Е. С. Образ «другого» в структуре современной идентичности российского общества / Е.С. Крестинина // Полис. Политические исследования. – 2011. – № 4. – С. 117-128. – ISSN 1026-9487.

197. Кречетова, М.Ю. Власть и насилие в России через призму Байесовского сценарного анализа / М.Ю. Кречетова, Г.А. Сатаров // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2016. – № 4 (83). – С. 68-81. – ISSN 2078-5089.

198. Куда идёт Россия? Образ будущего в современном массовом сознании (тезисы к заседанию Научного совета ВЦИОМ) // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. – 2013. – № 4. – С. 181-184. – ISSN 2219-5467.

199. Курбачева, О.В. Феномен этнического ренессанса в условиях глобального транскультурного диалога / О.В. Курбачева // Вестник

Кемеровского государственного университета. Серия : Гуманитарные и общественные науки. –2018. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 2542-1840.

200. Лайдинен, Н.В. Образ России в зеркале российского общественного мнения / Н.В. Лайдинен // Социологические исследования. – 2001. – № 4 – С. 27–31. – ISSN 0132-1625.

201. Лапкин, В.В. Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности / В.В. Лапкин // Полис. Политические исследования. – 2008. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1026-9487.

202. Лапкин, В.В. Метаморфозы идентичности в условиях глобализации / В.В. Лапкин // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. – 2011. – № 2. Том 7. – С. 25-41. – ISSN 1818-4499.

203. Левкина, Ю.Ю. Дискурсы идентификации и проблема конструирования идентичности / Ю.Ю. Левкина, А.В. Алимбиева // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2015. – Выпуск 12. – С. 89-96. – ISSN 2223-3095.

204. Леонтьев, А.Н. Психология образа / А.Н. Леонтьев // Вестник Московского университета. Серия 14 : Психология. – 1979. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0137-0936.

205. Лубский, А.В. Этатизм и патернализм как культурные маркеры цивилизационной идентичности в России /А.В. Лубский, Р.А. Лубский // Гуманитарий Юга России. – 2013. – № 3. – С. 90-103. – ISSN 227-8656.

206. Лубский, Р.А. Проекты nation-building и формирование национально-государственной идентичности в России / Р.А. Лубский // Социально-гуманитарные знания. – 2014. – № 7. – С. 35-41. – ISSN 0869-8120.

207. Люббе, Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0042-0744.

208. Малинкин, А.Н. Историческая память о Великой Отечественной войне: эпистемологические и генеалогические аспекты / А.Н. Малинкин // Социологические исследования. – 2020. – № 5. – С. 23-34. – ISSN 0132-1625.



209. Малинова, О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере / О.Ю. Малинова // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – № 1. Том 6. – С. 5-28. – ISSN 1818-4499.

210. Малинова, О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России / О.Ю. Малинова // Полис. Политические исследования. – 2010. – № 2. – С. 90-105. – ISSN 1026-9487.

211. Малинова, О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа / О.Ю. Малинова // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2017. – № 4 (87). – С. 6-22. – ISSN 2078-5089.

212. Маслова, Е. С. Эрозия идентичности в постмодернизме / Е.С. Маслова // Гуманитарий Юга России. – 2018. – № 6. Том 7. – С. 105-111. – ISSN 227-8656.

213. Мелешкина, Е.Ю. Альтернативы формирования наций и государств в условиях этнокультурной разнородности / Е.Ю. Мелешкина // Метод. – 2010. – № 1. – С. 123-145. – ISSN отсутствует.

214. Миллер, А.И. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века / А.И. Миллер // Историческая политика в XXI веке : сборник статей ; под редакцией А. Миллера и М. Липман. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – С. 7-32. – ISBN 978-5-86793-968-7.

215. Миллер, А.И. Политика памяти в России – год разрушенных надежд / А.И. Миллер // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2014. – № 4. – С. 49–57. – ISSN 2078-5089.

216. Миллер, А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и региональных идентичностей в России: акторы, институты и

практики / А.И. Миллер // Новое прошлое. – 2020. – № 1. – С. 210-217. – ISSN 2500-3224.

217. Митрофанова, А.В. Православные инициативы как пункты социальной сборки: преодоление исторического разлома / А.В. Митрофанова // Вестник Пермского национального политехнического университета. Серия : Культура. История. Философия. Право. – 2019. – № 1. – С. 110-121. – ISSN 2224-9974.

218. Митрофанова, А.В. Память российских поколений в контексте теории культурной травмы (на материале полевых исследований) / А.В. Митрофанова // Историческая память молодого человека: способы формирования и пути сохранения : сборник трудов I Всероссийской научно-практической конференции ; под редакцией Е.В. Горбуновой [и др.]. – Москва : Российский православный университет святого Иоанна Богослова, 2021. – С. 85-91. – ISBN 978-5-98856-456-0.

219. Михник, А. Историческая политика, Российский вариант / А. Михник // Родина. – 2006. – № 6. – С. 9–13. – ISSN 6235-7089.

220. Молодыхенко, Е.Н. Идентичность и дискурс: от социальной теории к практике лингвистического анализа / Е.Н. Молодыхенко // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. – 2017. – № 3. Том 8. – С. 122-133. – ISSN 2304-9758.

221. Морозова, Е.В. Сложносоставная идентичность как объект политологического анализа / Е.В. Морозова // Человек. Сообщество. Управление. – 2012. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1179-5629.

222. Мчедлов, М.П. Диалектика взаимодействия социальных и культурно-религиозных идентичностей / М.П. Мчедлов // Россия реформирующаяся : ежегодник : выпуск 7 ; под редакцией М.К. Горшкова. – 2007. – № 6. – С. 356-369. – ISSN 2618-7523.

223. Мчедлова, М. М. Социокультурные смыслы политики: новая логика интерпретации и религиозные референции / М.М. Мчедлова // Полис. Политические исследования. — 2016. — № 1. — С. 157-174. — ISSN 1026-9487.

224. Мчедлова, М.М. Россия в ожидании перемен: религиозный фактор и социально-политические предпочтения / М.М. Мчедлова, Е.Н. Кофанова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Политология. — 2020. — № 1. Том 22. — С. 7-21. — ISSN 2313-1438.

225. Мы не красные и не белые! Мы русские! // 30 лет ЛДПР. Фракция ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации : материалы «круглых столов» ; под редакцией В.В. Нарбута. — Москва : Издание Государственной Думы, 2020. — С. 8-17. — ISBN отсутствует.

226. Мюрберг, И.И. Революция и идентичность / И.И.Мюрберг // Политико-философский ежегодник Института философии РАН ; под редакцией И.И. Мюрберг. — Москва : Институт философии РАН, 2013. — Том 6. — С. 56-75. — ISBN 978-5-9540-0247-8.

227. Назукина, М.В. Российская федерация как система и иерархия идентичностей / М.В. Назукина, О.Б. Подвинцев // Вестник Пермского научного центра УрО РАН. — 2013. — № 4. — С. 45-51. — ISSN 1998-2097.

228. Нечаев, В.Д. Региональный миф в процессе становления российского федерализма / В.Д. Нечаев // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). — 1999. — № 1(11). — С. 48-72. — ISSN 2078-5089.

229. Нора, П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти / П.Нора // Франция-память : сборник статей ; под редакцией П.Нора [и др.]. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1999. — С. 17-65. — ISBN 5-288-02318-2.

230. Омелаенко, Н.В. Теоретические подходы к исследованию национализма / Н.В. Омелаенко // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2-1. — С. 588-599. — ISSN 2070-7428.

231. Осколков, П.В. Феномен национализма: концептуализация и типологии / П.В.Осколков // Современная Европа. – 2020. – № 3. – С. 108-116. – ISSN 0201-7083.

232. Пантин, В.И. Национально-цивилизационная идентичность: специфика России / В.И. Пантин // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. – 2011. – № 2. Том 7. – С. 42–51. – ISSN 1818-4499.

233. Патоков, В.В. Образ будущего России и путь к нему / В.В.Патоков // Культурное наследие России. – 2016. – № 3. – С. 100-102. – ISSN 2308-2062.

234. Паутова, Л.А. Комплексный подход к исследованию социального представления о стабильности / Л.А. Паутова // Социология: Методология, методы, математические модели. – 2004. – № 19. – С. 32-65. – ISSN отсутствует.

235. Пеньковцев, Р.В. Компаративный анализ феномена «региональной идентичности» (Россия – ЕС – США) / Р.В. Пеньковцев, Н.А. Шибанова // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия : Гуманитарные науки. – 2007. – Книга 3. Том 149. – С. 175-190. – ISSN 1815-6126.

236. Перегудов, С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства / С.П. Перегудов // Полис. Политические исследования. – 2011. – № 3. – С. 141-163. – ISSN 1026-9487.

237. Перепелкин, Л.С. Человек верующий: религия и идентичность / Л.С. Перепелкин, В.Г. Стэльмах // Вопросы социальной теории. – 2010. – Том 4. – С. 373-395. – ISSN 2227-7951.

238. Пищева, Т.Н. Политические образы: проблемы исследования и интерпретации / Т.Н. Пищева // Полис. Политические исследования. – 2011. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 1026-9487.

239. Пляйс, Я.А. Государственное устройство современной России: состояние и проблемы радикальной трансформации / Я.А. Пляйс // Мировой кризис и политические изменения: ежегодник-2009 ; под редакцией

А.И. Соловьева. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 250-261. – ISBN 978-5-8243-1420-5.

240. Попова, О.В. Модели идентичности политических акторов в современной России / О.В. Попова // Политическая наука. – 2018. – № 2. – С. 173-194. – ISSN 1998-1775.

241. Попова, О.В. О нерешенных проблемах теории государственной политики идентичности в российской политологии / О.В. Попова // Политическая наука. – 2020. – № 4. – С. 86-110. – ISSN 1998-1775.

242. Пронина, Т.С. Религиозность современных россиян: смена форм или содержания? / Т.С. Пронина // Вестник Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. – 2012. – № 9 (113). – С. 312-319. – ISSN 1810-0201.

243. Прохоренко, И.Л. Проблема национальной идентичности в условиях региональной интеграции: испанский случай / И.Л. Прохоренко // Ибероамериканские тетради. – 2016. – № 1. – С. 49-55. – ISSN 2409-3416.

244. Пушкарёва, Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности / Г.В. Пушкарева // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 5. – С. 156-173. – ISSN 1026-9487.

245. Ракитянский, Н.М. Категории сознания и менталитета в контексте феномена политической полиментальности / Н.М. Ракитянский // Информационные войны. – № 3 (23). – С. 29-47. – ISSN 1996-4544.

246. Регнацкий, В.В. Национально-государственная идентичность в России: теоретическая модель изучения / В.В. Регнацкий // Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – №1. – С. 39-46. – ISSN 2071-2367.

247. Рогачев, П.М. О понятии «нация» / М.П. Рогачев, М.А. Свердлин // Вопросы истории. – 1966. – № 1. – С. 33-48. – ISSN 0042-8779.

248. Рыжова, С.В. Российская идентичность в православно-исламском пограничье / С.В. Рыжова // Социологические исследования. – 2020. – № 8. – С. 51-61. – ISSN 0132-1625.

249. Самсонова, Т.Н. Становление гражданина-патриота / Т.Н. Самсонова // Вопросы социальной теории. – 2015. – Том 7. – С. 231-239. – ISSN 2227-7951.

250. Самсонова, Т.Н. Государственная молодежная политика как механизм социальной интеграции и политической социализации современной российской молодежи / Т.Н. Самсонова // Историко-педагогические чтения. – 2018. – № 22. – С. 61-67. – ISSN отсутствует.

251. Селезнева, А.В. Политические представления российской молодежи как основания формирования национально-государственной идентичности / А.В. Селезнева // Ценности и смыслы. – 2012. – № 5 (21). – С. 149-166. – ISSN 2071- 6427.

252. Семеновко, И.С. Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения / И.С. Семеновко // Полис. Политические исследования. – 2009. – № 6. – С. 8-23. – ISSN 1026 - 9487.

253. Семеновко, И.С. Идентичность в системе координат мирового развития / И.С. Семеновко, В.В. Лапкин, В.И. Пантин // Полис. Политические исследования. – 2010. – № 3. – С. 40-59. – ISSN 1026-9487.

254. Семеновко, И.С. Прошлое на переднем крае политики идентичности / И.С. Семеновко // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – № 11. – С. 65-76. – ISSN 0131-2227.

255. Семеновко, И.С. Политика памяти в Европейском союзе: в поисках общих ориентиров / И.С. Семеновко // Известия Алтайского государственного университета. – 2020. – № 6 (116). – С. 62-67. – ISSN 1561-9443.

256. Смакотина, Н.Л. Молодежь в условиях глобальной социальной турбулентности / Н.Л. Смакотина // Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. – 2013. – № 1. – С. 97-102. – ISSN 2414-4894.

257. Соловьев, А.И. Цивилизационный облик российской политики: теоретические аспекты / А.И. Соловьев // Власть. – 2008. – № 11. – С. 1-12. – ISSN 2071-5358.

258. Соловьев, А.И. Массовое сознание и государственная политика точки пересечения и проблемы взаимодействия / А.И. Соловьев // Политическая наука. – 2017. – № 1. – С. 186-203. – ISSN 1998-1775.

259. Солопова, О.А. Образ будущего в программных документах политических партий / О.А. Солопова // Политическая лингвистика. – 2008. – № 1. – С. 55-63. – ISSN 1999-2629.

260. Сургуладзе, В.Ш. Политика идентичности в условиях кризиса либеральной демократии и идеологии мультикультурализма / В.Ш. Сургуладзе // Проблемы национальной стратегии. – 2021. – № 1 (66). – С. 216-228. – ISSN 2079-3359.

261. Тельнова, Н.А. Феномен идентичности: способы описания и социокультурные основания / Н.А. Тельнова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7 : Философия. Социология и социальные технологии. – 2011. – № 1 (13). – С. 25-31. – ISSN 1998-9946.

262. Титов, В.В. Политическая и геокультурная панорама современного мира: «глобальный беспорядок» и «битва идентичностей» / В.В. Титов // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 95-101. – ISSN 2227-9245.

263. Титов, В.В. Национально-государственная идентичность: проблема интерпретации понятия в политической науке / В.В. Титов // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. – 2016. – № 3. – С. 92-102. – ISSN 2500-2988.

264. Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности в России: роль институтов культуры и массмедиа / В.В. Титов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2016. – Выпуск 3. – С. 45-57. – ISSN 2071-6141.

265. Титов, В.В. Национально-государственная идентичность как пространство политических смыслов и образов / В.В. Титов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2017. – Выпуск 1. – С. 42-54. – ISSN 2071-6141.

266. Титов, В.В. Российская национальная идентичность: вызовы цифровой эпохи / В.В. Титов // Социально-гуманитарные знания. – 2019. – № 5. – С. 187-193. – ISSN 0869-8120.

267. Титов, В.В. К вопросу о конструировании национально-гражданской идентичности российской молодежи в цифровую эпоху / В.В. Титов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2020. – № 57. – С. 257-264. – ISSN 1998-863X.

268. Титов, В.В. Симулятивная реальность как вызов национальной идентичности: теория и российские политические практики / В. В. Титов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Политология. – 2020. – № 4. Том 22. – С. 590-602. – ISSN 2313-1438.

269. Титов, В.В. Образы советского прошлого как ресурс формирования национально-государственной идентичности россиян / В.В. Титов // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2020. – № 3. Том 10. – С. 20-24. – ISSN 2226-7867.

270. Титов, В.В. Политика формирования национально-государственной идентичности в современной России: проблемы и стратегические направления / В.В.Титов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – № 2 (31). Том 9. – С. 25-28. – ISSN 2712-8482.

271. Титов, В.В. Транснациональная миграция как геостратегический вызов современной России: векторы актуализации / В.В. Титов // Общество: политика, экономика, право. – 2021. – № 9 (98). – С. 37-40. – ISSN 2071-9701.

272. Титов, В.В. Национально-государственная идентичность в современной России: специфика формирования и сценарии эволюции /



В.В. Титов // Общество: политика, экономика, право. – 2022. – № 4 (105). – С. 16-20. – ISSN 2223-6392.

273. Титов, В.В. Глобализация как фактор трансформации национально-государственной идентичности в начале третьего тысячелетия / В.В. Титов // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2022. – Выпуск 8 (89). Том 12. – С. 3029-3037. – ISSN 2226-8596.

274. Тишков, В.А. Что есть Россия и российский народ? / В.А. Тишков // Pro et Contra. – 2007. – Май-июнь. – С. 21-41. – ISSN 1560-8913.

275. Тишков, В.А. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы / В.А. Тишков // Вестник Российской академии наук. – 2019. – № 4. Том 89. – С. 408-412. – ISSN 0869-5873.

276. Тхагапсоев, Х.Г. Идентичность как форма категориального синтеза / Х.Г. Тхагапсоев // Вопросы философии. – 2020. – № 5. – С. 140–149. – ISSN 0042-8744.

277. Фадеева, Л.А. Проблема идентичности в сравнительной политологии / Л.А. Фадеева // Полис. Политические исследования. – 2011. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 1026-9487.

278. Федорченко, С.Н. Политические идентичности в социальных сетях Интернета / С.Н. Федорченко // Вестник Пермского университета. Политология. – 2017. – № 2. – С. 29-46. – ISSN 2218-1067.

279. Федотова, В.Г. Типы глобальных сценариев и вектор России / В.Г. Федотова // Вестник государственного университета Дубна. Серия : Науки о человеке и обществе. – 2016. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 2687-0231.

280. Фёдорова, М.М. Мемориальный феномен и кризис исторического сознания модерна / М.М. Фёдорова // Вопросы философии. – 2020. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 0042-8744.

281. Фёдорова, М.М. Глобализационная политика, национальное государство и суверенитет личности / М.М. Фёдорова // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2018. – № 2 (55). – С. 40-47. – ISSN 1818-510X.

282. Хабермас, Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства / Ю. Хабермас // Нации и национализм : сборник статей ; под редакцией Б. Андерсона. – Москва : Праксис, 2002. – С. 364-380. – ISBN 5-901574-07-9.

283. Хаметов, Э.Ш. Символы спортивных побед как фактор формирования национально-государственной идентичности. Территориальные особенности / Э.Ш. Хаметов // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 279-284. – ISSN 0869-8120.

284. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка (отрывки из книги) / С. Хантингтон // Pro et contra. – 1997. – № 2. Том 2. – С. 114–154. – ISSN 1560-8913.

285. Цифанова, И.В. Обретение идентичности в условиях дихотомии «свои – чужие» / И.В. Цифанова // Манускрипт. –2019. – № 1. Том 12. – С. 111-115. – ISSN 2618-9690.

286. Цымбурский, В.Л. Дваждырожденная «Евразия» и геостратегические циклы России / В.Л. Цымбурский // Вестник Евразии. – 2003. – № 4. – С. 5-33. – ISSN 1727-1770.

287. Шестопал, Е.Б. Образ власти в России: ожидания и реальность (политико-психологический анализ) / Е.Б. Шестопал // Полис. Политические исследования. – 1995. – № 4. – С. 86-97. – ISSN 1026-9487.

288. Шестопал, Е.Б. Образы кандидатов в президенты 2012 в массовом сознании / Е.Б.Шестопал, С.В. Нестерова, О.В. Букреева [и др.] // Власть. – 2012. – № 3. – С. 186-190. – ISSN 2071-5358.

289. Шестопал, Е.Б. Какой видят свою страну сегодня российские граждане? / Е.Б. Шестопал, Н.В. Смутькина // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2018. – № 2 (89). – С. 51-68. – ISSN 2078-5089.

290. Шестопал, Е.Б. Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018) /

Е.Б. Шестопап // Полис. Политические исследования. – 2019. – № 1. – С. 9-20. – ISSN 1026-9487.

291. Шестопап, Е.Б. Сравнительный анализ образов своей страны у жителей российских регионов / Е.Б. Шестопап, Н.В. Смутькина, И.В. Морозикова // Сравнительная политика. – 2019. – № 3. Том 10. – С. 74-94. – ISSN 2221-3279.

292. Штомпка, П. Социальное изменение как травма (статья первая) / П. Штомпка // Социологические исследования. – 2001. – № 1. – С. 6-16. – ISSN 0132-1625.

293. Яницкий, М.С. Идентичность как динамическая иерархическая система: социальный и культурный контекст формирования / М.С. Яницкий, А.В. Серый, О.А. Браун // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2018. – № 2 (74). – С. 131-140. – ISSN 2078-8975.

294. Abric, J.-Cl. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations / J.-Cl. Abric // Papers on social representations. – 1993. – №. 2. – P. 75-78. – ISSN 1021-5573.

295. Ackelsberg, M. Identity Politics, Political Identities: Thoughts toward a Multicultural Politics / M. Ackelsberg // Frontiers : A Journal of Women Studies. – 1996. – №16 (1) - P. 87-100. – ISSN 0160-9009.

296. Anspach, R. From stigma to identity politics: political activism among the physical: disabled and former mental patients / R. Anspach // Social science and medicine. medical psychology and medical sociology. – 1979. – Volume 13. – P. 765-773. – ISSN 0160-7979.

297. Ariely, G. Globalisation and the decline of national identity? An exploration across sixty-three countries / G. Ariely // Nations and nationalism. – 2012. – № 18 (3). – P. 461-482. – ISSN 1354-5078.

298. Arts, W. National identity in Europe today / W. Arts, L. Halman // International Journal of Sociology. – 2005. – № 4. – P. 69-93. – ISSN 0144-333X.

299. Bell, D. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity / D. Bell // *British Journal of Sociology*. – 2003. – № 1. – P. 63-81. – ISSN 1469-8129.
300. Best, H. The Elite-Population Gap in the Formation of Political Identities. A Cross-Cultural Investigation / H. Best // *Europe and Asia Studies*. – 2011. – № 6. – P. 995–1009. – ISSN 0966-8136.
301. Cinnirella, M. Exploring temporal aspects of social identity: the concept of possible social identities / M. Cinnirella // *European Journal of Social Psychology*. – 1998. – № 28 (22). – P. 227-248. – ISSN 1099-0992.
302. Conover, P. Group Identification, Values, and the Nature of Political Beliefs / P. Conover, S. Feldman // *American Politics Quarterly*. – 1984. – № 2. – P. 151-175. – ISSN 0044-7803.
303. Crenshaw, K. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color / K. Crenshaw // *Stanford Law Review*. – 1991. – № 43 (6). – P. 51-82. – ISSN 0038-9765.
304. Fotou, M. Identity and Migration: From the «Refugee Crisis» to a Crisis of European Identity / M. Fotou // *Political Identification in Europe: Community in Crisis?* ; edited by A. Machin and N. Meidert. – Bingley : Emerald, 2021. – P. 21-40. – ISBN 978-1-83982-125-7.
305. Graham, C. Frustrated Achievers: Winners, Losers and Subjective Well-Being in New Market Economies / C. Graham, S. Pettinato // *Journal of Development Studies*. – 2002. – № 4. – P. 100-140. – ISSN 0022-0378.
306. Hogg, M. A social identity theory of leadership / M. Hogg // *Personality and social psychology review*. – 2001. – Issue 3. Volume 5. – P. 184-200. – ISSN 1088-8683.
307. Huddy, L. Contrasting theoretical approaches to intergroup relations / L. Huddy // *Political Psychology*. – 2004. – № 6 (25). – P. 947-967. – ISSN 0162-895X.

308. Jodelet, D. On structuring and outlining processes in the study of social Representations / D. Jodelet // *Papers on social representations*. – 2016. – Issue 2. – P. 1-11. – ISSN 1021-5573.

309. Levi, N. Memory studies in a moment of danger: Fascism, postfascism, and the contemporary political imaginary / N. Levi, M. Rothberg // *Memory Studies*. – 2018. – Volume 11. – P. 355-367. – ISSN 1750-6980.

310. Marcia, J. Development and validation of ego-identity status / J. Marcia // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 1966. – № 3 (5). – P. 551-558 – ISSN 0022-3514.

311. Marcus, H. Culture and the Self: implications for cognition, emotion and motivation / H. Marcus, S. Kitayama // *Psychological Review*. – 1991. – Volume 98 (2). – P. 224-253. – ISSN 0033-295X.

312. Moscovici, S. The Group as a polarizer of attitudes / S. Moscovici, M. Zavalloni // *Journal of personality and social psychology*. – 1969. – № 2. – P. 125-135. – ISSN 0022-3514.

313. Nakano, T. Theorising economic nationalism / T. Nakano // *Nations and nationalism*. – 2004. – № 3. – P. 211-229. – ISSN 1354-5078.

314. Olick, J. Social memory studies: from «collective memory» to the historical sociology of mnemonic practices / J. Olick, J. Robbins // *Annual Review of Sociology*. – 1998. – Volume 24. – P. 105-140. – ISSN 0360-0572.

315. Pickel, A. Explaining, and explaining with, economic nationalism / A. Pickel // *Nations and nationalism*. – 2003. – № 1. – P. 105-127. – ISSN 1354-5078.

316. Pryke, S. Economic Nationalism: Theory, History and Prospect / S. Pryke // *Global Policy*. – 2012. – № 3. – P. 281-291. – ISSN 1758-5880.

317. Rubin, M. Low status groups show in-group favoritism to compensate for their low status and to compete for higher status / M. Rubin, C. Badea, C. Jetten // *Group Processes and Intergroup Relations*. – 2014. – № 17 (5). – P. 563–571. – ISSN 1368-4302.

318. Schwartz, S. Universal in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries / S. Schwartz // *Advances in experimental social psychology*. – 1992. – Volume 25. – P. 1-65. – ISSN 0065-2601.

319. Turner, J. Social comparison and group interest in ingroup favouritism / J. Turner, R. Brown, H. Tajfel // *European Journal of Social Psychology*. – 1979. – Issue 2. Volume 9. – P. 187-204. – ISSN 0046-2772.

320. Wagner, W. Theory and method of social representations / W. Wagner, G. Duveen, R. Farr // *Asian Journal of Social Psychology*. – 1999. – № 2. – P. 95-125. – ISSN 1367-2223.

321. Wodak, R. Commemorating the Past: the Discursive Construction of Official Narratives about «Rebirth of Second Austrian Republic» / R. Wodak, R. de. Cillia // *Discourse & Communication*. – 2007. – № 3. – P. 337-363. – ISSN 1750-4813.

### Электронные ресурсы

322. 12 июня: праздник не страны, а лично Ельцина // KM.RU : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.km.ru/front-projects/russkie-prazdniki-kak-otrazhenie-dukhanaroda/12-iyunya-prazdnik-ne-strany-lichno-elt> (дата обращения: 17.10.2021).

323. 20 лет рейтинга одобрения Владимира Путина // Россия в данных. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://ourcountryindata.ru/rejting-doveriya-putinu-s-1999-goda-vcziom-levada-i-fom/> (дата обращения: 20.10.2021).

324. Ассман, А. Современное человечество переживает «кризис будущего» / А. Ассман // Европульс. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <http://www.euro-pulse.ru/anfas/assmann/> (дата обращения: 28.11.2021).

325. Безвременье: Россия потеряла образ будущего // Хакасия Информ : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/150643-bezvremene-rossiya-poteryala-obraz-budushchego> (дата обращения: 26.11.2021).

326. Блокада Ленинграда, «доска Маннергейма» и забытые уроки истории // РИА Новости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://ria.ru/20160908/1476401912.html> (дата обращения: 29.10.2021).

327. Будущее России: в целом нежелательно // Ведомости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/17/681663-budushee-rossii> (дата обращения: 17.11.2021).

328. В. Путин посетил могилу убитого болельщика «Спартака» Е. Свиридова // РБК : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.rbc.ru/society/21/12/2010/> (дата обращения: 14.09.2021).

329. Великая Победа – главное событие в истории нашей страны в XX веке // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/velikaya-pobeda-glavnoe-sobytie-v-istorii-nashej-strany-v-xx-veke> (дата обращения: 15.09.2021).

330. «Великая Финляндия» и Карелия: мягкая финнизация // Regnum : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://regnum.ru/news/polit/2153254.html> (дата обращения: 29.12. 2021).

331. Вице-премьер РФ: Еврейскую автономию нужно ликвидировать // Федерал Пресс : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <https://fedpress.ru/news/79/policy/2728472> (дата обращения: 11.06. 2021).

332. Владимир Зорин: «Стратегия государственной национальной политики РФ – Это документ общественного согласия» // Башинформ : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL:

<https://www.bashinform.ru/news/politics/2012-11-29/vladimir-zorin-> (дата обращения: 30.12.2021).

333. Владимир Путин: «Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века» // Regnum : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://regnum.ru/news/economy/444083.html> (дата обращения: 21.10.2021).

334. Владимир Путин: вчера и сегодня // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vladimir-putin-vchera-i-segodnya> (дата обращения: 14.12.2021).

335. Владислав Сурков: Долгое государство Путина // Независимая газета : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: [https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5\\_7503\\_surkov.html](https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html) (дата обращения: 02.11.2021).

336. Внешнеполитические ориентации // Левада-центр. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.levada.ru/2015/10/13/vneshnepoliticheskie> / (дата обращения: 15.09.2021).

337. Возвращение казанского хана. Татарстан не готов признать Владимира Путина единственным Президентом России // Новая газета : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/13/vozvrashchenie-kazanskogo-khana> (дата обращения: 30.12.2021).

338. Где образ будущего России? // Военное обозрение : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <https://topwar.ru/174857> (дата обращения: 26.11.2021).

339. Глава СПЧ посетовал на отсутствие в России образа будущего // Интерфакс : сетевое издание. – Текст : электронный. — DOI отсутствует URL: <https://www.interfax.ru/russia/696142> (дата обращения: 17.11.2021).



340. Дату окончания стояния на Угре предложили сделать федеральным праздником // РИА Новости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <https://ria.ru/20190711/> (дата обращения: 30.12. 2021).

341. День народного единства против поляков? // Закон. Ру : интернет-портал. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: [https://zakon.ru/blog/2013/11/04/den\\_narodnogo\\_edinstva\\_protiv\\_polyakov](https://zakon.ru/blog/2013/11/04/den_narodnogo_edinstva_protiv_polyakov) (дата обращения: 21.10.2021).

342. День Победы // ФОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://fom.ru/Proshloe/14572> (дата обращения: 17.02.2022).

343. Договор избирательного объединения «Родина» (народно-патриотический союз) с избирателями // Viperson. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <http://viperson.ru/articles/dogovor-izbiratelnogo-ob-edineniya-rodina-narodno-patrioticheskiy-soyuz-s-izbiratelyami> (дата обращения: 21.02. 2022).

344. Драгунский, Д.В. Пять уровней идентичности / Д.В. Драгунский // Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a059.htm> (дата обращения: 15.01.2020).

345. Евгений Евтушенко. Гимн России // Культура. РФ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <https://www.culture.ru/poems/26363/gimn-rossii> (дата обращения: 18.10.2021).

346. Единый учебник истории. Что в день грядущий нам готовит? // Служу Отечеству. – Текст : электронный. – DOI отсутствует – URL: <http://sluzhuotechestvu.info/index.php/> (дата обращения: 14.11.2019).

347. Есть ли у России враги? Если такие враги существуют, то с Вашей точки зрения, кто это в первую очередь // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [https://bd.wciom.ru/zh/print\\_q.php?s\\_](https://bd.wciom.ru/zh/print_q.php?s_) (дата обращения: 20.06. 2021).

348. Замятин, Д.Н. Россия и Запад: пространство и образ цивилизационных взаимодействий / Д.Н. Замятин // Социокультурное регионоведение. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <http://eng.regionalstudies.ru/journal/homejournal/rubric/2012-11-02-22-16-38/165-1-r.pdf> (дата обращения: 09.01.2017).

349. И словес ваших не слушаем. Подведены итоги конкурса «Имя России» // Lenta.ru : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://lenta.ru/articles/2008/12/29/name/> (дата обращения: 26.10.2021).

350. Как бы вы расценили людей, находящихся сейчас у власти? // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [https://bd.wciom.ru/zh/print\\_q.php?s\\_id=484&q\\_id=36161&date=15.04.1994](https://bd.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=484&q_id=36161&date=15.04.1994) (дата обращения: 27.08.2021).

351. Как Вам кажется, на какой срок Вы в состоянии ясно представить себе будущее своей семьи? // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [https://bd.wciom.ru/zh/print\\_q.php?s\\_id=398&q\\_id=](https://bd.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=398&q_id=) (дата обращения: 29.08.2021).

352. Календарь праздников: что отмечают россияне? // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kalendar-prazdnikov-chto-otmechayut-rossiyane> (дата обращения: 23.09.2021).

353. Карпюк, А. Учебная тревога / А. Карпюк // Грани. Ру. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <http://gr1.global.ssl.fastly.net/Society/History/m.123805> (дата обращения: 19.07.2016).

354. Катерина Кожевина: «Верит – не верит»: особенности российской религиозности // ФОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://fom.ru/blogs/11820> (дата обращения: 29.05.2021).

355. Кого россияне считают самым выдающимся человеком в истории? // Левада-центр. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:

<https://www.levada.ru/2021/06/21/samye-vydayushhiesya-lichnosti-v-istorii/>  
(дата обращения: 27.08.2021).

356. Кортуннов, А. Кризис миропорядка и будущее глобализации : доклад Российского совета по международным делам (РСМД) / А. Кортуннов. – Москва : НП РСМД, 2020. – № 60. – 60 с. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://russiancouncil.ru/activity/publications/krizis-miroporyadka-i-budushchee-globalizatsii/> (дата обращения: 14.01.2017).

357. Кремль чтит Ивана Грозного – безумного убийцу, который ослабил государство // ИноСМИ. ру : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://inosmi.ru/social/20161024> (дата обращения: 14.12.2021).

358. ЛДПР пойдет на думские выборы с лозунгом «Россия и для русских тоже» / Полит. ру : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://m.polit.ru/news/2010/10/29/forussians/> (дата обращения: 21.02.2022).

359. Легойда, В.Р. Гражданская религия: pro et contra / В.Р. Легойда // Religare. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [http://www.religare.ru/2\\_1555.html](http://www.religare.ru/2_1555.html) (дата обращения: 09.03.2022).

360. Линц, Х. «Государственность», национализм и демократизация / Х. Линц, А. Степан // Гражданское общество в России. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.civisbook.ru/files/File/1997-5-2-Linz,Stepan.pdf> (дата обращения: 14.12.2020).

361. Лишь 16 % опрошенных ВЦИОМ граждан хотят уехать из России // Ведомости : сетевое издание. – DOI отсутствует. – Текст : электронный. – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/09/07/> (дата обращения: 18.05.2021).

362. Миллер, А. Политика памяти в России. Роль негосударственных агентов / А. Миллер // Гефтер : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI

отсутствует. – URL: <http://gefter.ru/archive/20967> (дата обращения: 20.10.2021).

363. Михаил Бабич: Татарстан и Башкортостан сливаться не будут // Реальное время : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.idelreal.org/a/28896051.html> (дата обращения: 11.06. 2021).

364. Модест Колеров: России нужен свой единый институт исторической политики // Красная весна : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://rossaprimavera.ru/news/81> (дата обращения: 30.11.2021).

365. Муслим Юнусов: прожить без памятника Грозному можно // Астраханские новости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://ast-news.ru/node/muslim-yunusov-prozhit-bez-pamyatnika-groznomu-mozhno/> (дата обращения: 14.12.2021).

366. «Мы живем так – бич-пакет и черный хлеб». Как депутат из нищего карельского города стал сепаратистом // Медиазона : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://zona.media/article/2017/30/01/280.1-zavar> (дата обращения: 29.12. 2021).

367. «Нация – это метафора» // Русский архипелаг. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [https://archipelag.ru/geoculture/new\\_ident/postnatio/nation/#\\_ftn1](https://archipelag.ru/geoculture/new_ident/postnatio/nation/#_ftn1) (дата обращения: 26.04.2021).

368. О влиянии РПЦ на разные сферы жизни страны // ФОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://fom.ru/TSennosti/14371> (дата обращения: 29.05.2021).

369. Об актуальных задачах реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года : материалы всероссийского семинара – совещания с общественными палатами субъектов Российской Федерации 9 сентября 2020 года / ответственные редакторы В.Ю. Зорин, М.А. Омаров. – Москва :

Общественная палата Российской Федерации, 2020. – 92 с. – ISBN отсутствует. – Текст : электронный. – URL: <https://files.oprf.ru/storage/documents/o-zadachah-realizacii-strategii-nacpolitiki-rf-2025.pdf> (дата обращения: 15.01.2022).

370. Олейник, А. Границы эффективной власти / А. Олейник // Ведомости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/> (дата обращения: 26.10.2021).

371. ОМОН взял штурмом Среднеуральский монастырь, бывший схиигумен Сергей арестован. Что известно // BBC News. Русская служба. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.bbc.com/russian/news-55473659> (дата обращения: 27.08.2021).

372. ОНФ представляет образ будущего России // Ассоциация электронных торговых площадок. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://aetr.ru/market-news/item/402763> (дата обращения: 8.11.2021).

373. Осознать. Действовать. Развиваться. Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Федерации на выборах Президента 2 марта 2008 года // Интернет-портал «Российской газеты» : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://rg.ru/2008/02/06/kp-programma.html> (дата обращения: 18.02.2022).

374. Павленко, В. Откуда коронавирус и пришел ли конец глобализму? / В. Павленко // Regnum : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://regnum.ru/news/society/2902397.html> (дата обращения: 17.11.2021).

375. Парламент Татарстана выступил против празднования свержения татаро-монгольского ига // Радио Свобода. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.svoboda.org/a/30131106.html> (дата обращения: 30.12.2021).

376. Политическая декларация объединения «Яблоко» // Политическая партия «Яблоко». Официальный сайт. – Текст : электронный. – DOI

отсутствует. – URL: <https://www.yabloko.ru/Union/Program/decl.html> (дата обращения: 15.02.2022).

377. Предвыборная программа политической партии «Единая Россия» // Политическая партия «Единая Россия». Официальный сайт. Архив. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <http://web.archive.org/web/20040101155527/www.edinros.ru/section.html?> (дата обращения: 18.02.2022).

378. Присоединение Крыма не является аннексией, а является восстановлением исторической справедливости на основе самоопределения крымчан // Медиа Мера. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://mediamera.ru/post/20216> (дата обращения: 03.11.2021).

379. Путин назвал образ будущего России // газета. ру : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/24/n\\_16426340.shtml?updated](https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/24/n_16426340.shtml?updated) (дата обращения: 11.11.2021).

380. Религиозность в период пандемии // Левада - центр. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.levada.ru/2021/04/14/> (дата обращения: 25.05.2021).

381. Ренан, Э. Что такое нация? / Э. Ренан // Хронос. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: [http://www.hrono.info/statii/2006/renan\\_naci.php](http://www.hrono.info/statii/2006/renan_naci.php) (дата обращения: 10.02.2021).

382. Родина – это звучит гордо! // ВЦИОМ. – Текст : электронный. – URL: <https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=414> (дата обращения: 15.09.2021).

383. Российская идентичность и вызовы времени // РИА Новости : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://ria.ru/20130819/957220962.html> (дата обращения: 27.08.2021).

384. Россия сегодня живёт в безвременье // Левада-центр. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:

<https://www.levada.ru/2014/07/07/rossiya-segodnya-zhivet-v-bezvremene/> (дата обращения: 30.08.2021).

385. Россия через 20 лет и личные планы на будущее // ФОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://fom.ru/Obraz-zhizni/14241>(дата обращения: 17.09.2021).

386. Россия-2030: образ будущего из пяти пунктов. Комментарий Георгия Бовта // Бизнес FM : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:<https://www.bfm.ru/news/448877> (дата обращения: 26.11.2021).

387. Символ новой России. Как и зачем появился День народного единства. // aif.ru : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:[https://kuban.aif.ru/society/simvol\\_novoy\\_rossii\\_](https://kuban.aif.ru/society/simvol_novoy_rossii_) (дата обращения: 21.10.2021).

388. Сколько процентов россиян знают о Дне России? Опрос ВЦИОМ // Regnum : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://regnum.ru/news/society/3294988.html> (дата обращения: 23.09.2021).

389. Собянин решил оставить Лубянскую площадь без памятника // РБК : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.rbc.ru/society/26/02/2021/603931899a794790c5d4b68a> (дата обращения: 02.11.2021).

390. Спрос на правду. Интервью с А. Ротфельдом // Новая Польша. – 2011. – № 1. – С. 3-6. – ISSN отсутствует. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://novaupolsha-pdfs.fra1>. (дата обращения: 27.05.2021).

391. «Статус Адыгеи под вопросом» // Caucasus Times. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://caucasustimes.com/ru/status-adygei-> (дата обращения: 11.06. 2021).

392. «Там хорошо живут в коттеджах, а тут — в шалаше». Существует ли «российская мечта» и чем она отличается от американской? // Лента. ру :

сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://lenta.ru/articlefs/2021/05/06/dream/>(дата обращения: 17.09.2021).

393. Татарстан выступил против отмены поста президента республики // BBC News. Русская служба. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.bbc.com/russian/news-59033980> (дата обращения: 08.11. 2021).

394. Татарстан противостоит стоянию на реке Угре // Коммерсантъ : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3495564> (дата обращения: 30.12. 2021).

395. Шеррер, Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти / Ю. Шеррер // Перспективы : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:[http://www.perspektivy.info/book/otnosheniye\\_k\\_istorii\\_](http://www.perspektivy.info/book/otnosheniye_k_istorii_) (дата обращения: 23.04.2017).

396. Ценности: религиозность // ФОМ. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://fom.ru/obshchestvo/10953/> (дата обращения: 25.05.2021).

397. Эмиграционные настроения // Левада - центр. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL:<https://www.levada.ru/2019/11/26/> (дата обращения: 18.05.2021).

398. «Это может привести к расколу»: Стояние на Угре разводит страну по разным берегам? // Бизнес Онлайн : сетевое издание. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://m.business-gazeta.ru/article/435491> (дата обращения: 30.12.2021).

399. Many Central and Eastern Europeans see link between religion and national identity // Pew Research Center. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/03/many-central-and-eastern-europeans-see-link-between-religion-and-national-identity/> (дата обращения: 25.05.2021).



**Приложение А**  
(информационное)

**Политико-психологические механизмы формирования  
национально-государственной идентичности в современной России. Гайд интервью**

- 1) Кем вы себя считаете в первую очередь? Принадлежность к каким группам для вас наиболее значима? Почему?
- 2) Какое место вы считаете своей родиной? Почему?
- 3) Ощущаете ли вы себя гражданином России? Если да, то в чем это проявляется лично для вас? Кто в вашем понимании – граждане России?
- 4) К какой этнической группе вы себя относите? Часто ли вы задумываетесь, о том, что вы... (указать этнический статус)? С чем это связано?
- 5) Что для вас более важно: то, что вы (указать этнический статус), гражданин России, житель (указать место)? Почему?
- 6) Различаются ли в вашем понимании слова «русский» и «россиянин»? Если да, то в чем состоит это различие? Если нет, то почему?
- 7) Как бы вы охарактеризовали русских? Какую роль они играют в истории России? Какое место они занимают в современной России?
- 8) Какую роль в истории России сыграли другие этносы? Можно ли рассматривать этническое разнообразие как преимущество или, скорее, как источник напряженности? Почему вы так считаете?
- 9) Есть ли в России этносы или социальные группы, к которым вы лично испытываете недоверие или антипатию? Чем это вызвано? По вашему мнению: какие этносы или регионы России наиболее отличаются от остальных в социально-экономическом, культурном плане? В чем выражается это различие? Насколько глубоким оно является? Существуют ли этносы, территории, социальные общности, которые в вашем представлении явно не вписываются в понятие «Россия», являются «чужими» для основной массы граждан?
- 10) Интересуетесь ли вы историей России? Какие исторические события вызывают у вас чувство гордости? А какие – негативные эмоции? Почему? Какие исторические личности, на ваш взгляд, внесли наибольший вклад в развитие страны?
- 11) Что бы вы назвали символами России? Что эти символы означают лично для вас? Для страны в целом? Какие эмоции вызывает у Вас официальная государственная символика?

12) Какую роль, на ваш взгляд, Россия играет на международной арене? Устраивает ли эта роль лично вас? Почему? Есть ли у России «друзья» в мире? Кто именно? Есть ли у современной России враги? Кто именно? Какие из них представляют наибольшую угрозу нашей стране?

13) Где, по вашему мнению, пролегают культурные, духовные границы России? Какие территории могут войти в состав нашей страны в будущем? Реальна ли угроза утери части нынешних российских территорий? Каких именно? По каким причинам это может произойти?

14) Что вы понимаете под словом «государство»? Какие эмоции и ассоциации оно у вас вызывает? Почему? Чем для вас лично различаются российские «государство», «страна» и «народ»?

**Приложение Б**  
(информационное)

**Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы.**

**Экспертный опрос**

Добрый день, уважаемые коллеги!

В рамках изучения российской национально-государственной идентичности мы проводим дистантный экспертный опрос *«Государственная политика идентичности в России: состояние и перспективы»*. Опрос включает в себя 10 открытых вопросов и состоит из двух блоков. Первый посвящен общим тенденциям и особенностям становления и трансформации политики идентичности в России (1991-2020 гг.). Второй блок направлен на изучение двух стратегических направлений российской политики идентичности – политики памяти и конструирования общенационального образа будущего.

*Будем признательны Вам за готовность уделить нам время и принять участие в опросе!*

*Государственная политика идентичности: трансформация в постсоветский период*

1) Пожалуйста, охарактеризуйте общее состояние политики по формированию национально-государственной идентичности (государственной политики идентичности) в России? Как бы вы оценили уровень её эффективности? Почему Вы так считаете?

2) Какие приоритеты и направления прослеживались в рамках государственной политики идентичности в постсоветский период (с 1992 г.)? Как менялись приоритеты и цели проводимой политики за прошедшие тридцать лет? С чем были связаны такие изменения?

3) Изменились ли смыслы и установки, транслируемые государством в рамках политики идентичности по сравнению с 1990-ми годами? 2000-ми годами? Если изменились, то в какую сторону? С чем, на Ваш взгляд, связаны такие изменения?

4) Какие механизмы и/или политические технологии использовались в рамках государственной политики идентичности на различных этапах её реализации (1990-е, 2000-е, начиная с 2010-х годов)? Какие из этих технологий показали свою наибольшую эффективность, а какие оказались слабо эффективными?

5) Какие внешние и внутренние факторы, на Ваш взгляд, в наибольшей степени влияют на формирование и эволюцию российской национально-государственной идентичности? Какие влияли в 1990-е годы? В 2000-е годы?

*Политика памяти и образ будущего в России*

6) .Какое место занимает политика памяти в процессе формирования общероссийской идентичности? Как менялись её приоритеты, начиная с 1990-х годов? В 2000-е годы? в 2010-е годы ?

7) Назовите сильные и слабые стороны российской политики памяти на современном этапе её реализации?

8) Назовите механизмы, использование которых способствовало бы оптимизации государственной политики памяти в России в будущем (например, в перспективе до 2030 года)?

9) Как Вы считаете, какие основные символы (личности, события и т.д.) использует государство для выстраивания официального исторического нарратива сегодня? Имеет ли смысл расширять символическое пространство памяти в российском обществе? Если да, то за счет чего?

10) Как бы Вы оценили ситуацию с формированием коллективного образа будущего в современной России? Что препятствуют его формированию? Какие механизмы государство должно использовать для оптимизации политики конструирования коллективного образа будущего российских граждан?

**Благодарим Вас за участие в опросе!**